РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА БОЛЬШИЕ КНИГИ

Григорий Федосеев

ТРОПОЮ ИСПЫТАНИЙ

СМЕРТЬ МЕНЯ ПОДОЖДЕТ

«АЗБУКА»

Русская литература. Большие книги

Григорий Федосеев

Тропою испытаний. Смерть меня подождет

«Азбука-Аттикус»

1967

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Федосеев Г. А.

Тропою испытаний. Смерть меня подождет / Г. А. Федосеев — «Азбука-Аттикус», 1967 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-24411-5

Григорий Анисимович Федосеев (1899–1968) писал о дальневосточных краях, прилегающих к Охотскому морю, с полным знанием дела: он сам много лет работал там в геодезических экспедициях, постепенно заполнявших белые пятна на карте Советского Союза. Среди опасностей и испытаний, которыми богата судьба путешественника-исследователя, особенно ярко проявляются характеры людей. В тайге или заболоченной тундре нельзя работать и жить вполсилы – суровая природа не прощает ошибок и слабостей. Одним из наиболее обаятельных персонажей Федосеева стал Улукиткан («бельчонок» в переводе с эвенкийского) – Семен Григорьевич Трифонов. Старик не раз сопровождал геодезистов в качестве проводника, учил понимать и чувствовать природу, ведь «мать дает жизнь, годы – мудрость». Писатель на страницах своих книг щедро делится этой вековой, выстраданной мудростью северян. В книгу вошли самые известные произведения писателя: «Тропою испытаний», «Смерть меня подождет», «Злой дух Ямбуя» и «Последний костер».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-24411-5

© Федосеев Г. А., 1967
© Азбука-Аттикус, 1967

Содержание

Тропою испытаний 6
Часть первая 6
Часть вторая 61
Часть третья 101
Часть четвертая 143
Часть пятая 191
Конец ознакомительного фрагмента. 205

Григорий Федосеев
Тропою испытаний. Смерть меня подождет

© Г. А. Федосеев (наследник), 2023
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®

Тропою испытаний

Часть первая

I

Наш путь идет к холодным берегам Охотского моря. Над Становым. Шантарские острова – с высоты птичьего полета. Заглянем в биографию Кучума

Поезд, монотонно постукивая колесами, уходит все дальше и дальше на восток. Мелькают сибирские села, заснеженные полотна пашен и лугов, березовые рощи. То вдруг из-за глубоких оврагов выползет бугристая степь, исписанная стежками заячьих и козьих следов, то подступит к дороге могучая тайга, убранная гирляндами пушистого снега, и паровоз, разбрасывая клочья дыма, с веселым посвистом пронесется, перекликаясь с голосистым эхом.

В окно купе, разрисованное узорами февральского мороза, заглядывает тощий месяц. Все мои спутники, утомленные сборами последних дней, спят. А я продолжаю бодрствовать. Мысли блуждают где-то далеко. Воображению рисуются неприступные вершины, возвышающиеся над глубокими цирками[1], бурные реки, проложившие себе путь по дну мрачных ущелий, дремучая тайга, бесконечные походы, ночевки у костра…

Достаю тетрадь, втиснутую в брезентовую корочку и предназначенную для дневниковых записей. На чистые страницы не легла еще ни одна строка, на них не сделано ни одного рисунка. Я и сам еще не могу предугадать, какими событиями заполнятся листы дневника. Открываю тетрадь и посредине страницы пишу:

«Сбылась мечта, мы едем к берегам Охотского моря.
2 февраля 1949 года».

Обширный край, прилегающий к Охотскому морю и пересеченный громадами хребтов Джугджура и Джугдыра, а также восточной оконечностью Станового, давно привлекал внимание исследователей. Туда редко заглядывал пытливый глаз разведчика недр. Отдаленные времена не оставили там после себя ни насыпных курганов, ни других памятников древней или более поздней культуры. Людские потоки обходили стороною это неведомое, дикое пространство, оно никогда не было ареной человеческой деятельности. Но тем сильнее было наше желание проникнуть туда. Ведь центральная часть этого края и в топографическом отношении является почти белым пятном. Имеющиеся карты весьма бедны подробностями, не отображают действительной картины местности и содержат следы явной незаконченности.

Весть о переезде экспедиции застала нас в Тувинской области, где мы вели геодезические работы. Новое задание обрадовало всех, в ком жила неугомонная натура путешественника.

И вот мы на Дальнем Востоке. Штаб экспедиции расположился в старинном городе Зее. В конце XIX века этот город прославился золотой горячкой. Он был расположен на пути из богатых приисков в жилуху[2]. Тогда золото добывали первобытным способом, ценою огромных усилий, а зачастую и жизни. Если старатель не умирал от голода или цинги и ему случалось намыть золотой песок – это было только началом его несчастий. По пути к населенным пунк-

---

[1] *Цирк* – горная котловина, замкнутая с трех сторон скалами. *(Здесь и далее примечания автора.)*

[2] *Жилухой* таежники называют обжитые территории страны.

там его не щадили глухая тайга и бурные реки, а на тропах подстерегали бродяги. Не каждому смельчаку удавалось добраться до города. Здесь старателя встречали на тройках с бубенцами, купали в спирте, выстилали перед ним улицу кумачовыми дорожками. Вокруг вились женщины, авантюристы. Устраивались оргии. Когда же золото переходило в толстую мошну купцов, кабатчиков, содержателей притонов, – старателя, еще не отрезвевшего после буйного разгула, нередко убивали, вывозили за город и сбрасывали на свалку.

Время стерло с города следы позорного прошлого. Он посвежел, вырос и живет, как вся страна, созидательной, трудовой жизнью.

В начале февраля экспедиция была почти в полном сборе. В состав ее входили геодезисты, топографы, астрономы, аэросъемщики и географы. Они должны были создать карту огромной территории, прилегающей к Охотскому морю. Отрядам предстояло осуществить геодезические работы, сделать аэросъемку всего района, определить высоты хребтов, возвышенностей и равнин, распутать истоки рек, проследить тропы, уточнить растительный покров, дать характеристику почвам и собрать разные сведения об этом крае.

Мы понимали, что выполнение этой задачи потребует от участников экспедиции напряжения всех сил.

У нас есть мощные самолеты, новейшие высокоточные инструменты и приборы, хорошее снаряжение, но все это не избавит от неожиданных опасностей при столкновении с дикой природой.

В этом крае большинство из нас новички. Мы не знаем его климатических особенностей, не знаем, где лежат проходы через хребты и броды через реки; не представляем себе границ тайги, расположения болот и марей. Мы знаем по опыту, что действительность внесет изменения в наши предположения и расчеты, поставит нас перед многими неожиданностями. Кое-что придется решать на месте, в зависимости от обстановки, и рассчитывать только на свои силы. Дикая природа всегда пытается убедить человека в его беспомощности, но она бессильна противостоять человеческому разуму, смелости и упорству.

В штабе экспедиции день и ночь кипит работа, упаковываются продукты, снаряжение, подбирается спецодежда. Стук молотков, звон посуды, несмолкаемый людской говор сливаются в нестройный гул. Царящая на дворе суета, кажется, может растормошить самого большого лентяя, возбудить зависть у бывалого путешественника.

У входа в склад толчется группа парней. Сквозь смех слышится чей-то бас:

– Ты что гутаришь, не выпускают таких номеров? Брюки же нашел на мой рост, значит есть и сапоги. Ищи давай!

– Зря ты, Саша, ко мне пристаешь. Иди с жалобой к начальнику, он рассудит. Да и сам уразумей: сорок пятый размер не лезет на твою ножку, – язвит кладовщик и тут же добавляет: – Говорю, бери резиновые, они растянутся.

У ворот – Петя Дунин. Юноша кончил техникум и впервые едет в тайгу. Он мечтает стать путешественником, прославиться охотой и уже истратил свой первый аванс на покупку ружья. В воображении своем он, вероятно, пережил уже не одну схватку с медведем.

Петя подпирает плечом столб, мнет в руках варежку и украдкой посматривает на стоящую рядом девушку со светлыми глазами, с длинными косами, перекинутыми на грудь, одетую в легкое темно-коричневое пальто. Она старается держать себя с Петей независимо, даже равнодушно, зная, что за ней следит много любопытных глаз. Они оба молчат, а ведь через час Петя должен уехать далеко и надолго. Наконец он незаметно ловит ее руку и прячет за спину. Лицо девушки стыдливо румянится, она смотрит на юношу преданными глазами и нехотя вырывается. К ним подходят две ее подружки, и светлоглазая, посмелев, бочком льнет к Пете, да так и остаются они стоять, словно две сросшиеся березки.

Вдруг слева, где толпились топографы, коротко пропела гармонь. Все насторожились, двинулись на звук. Гармонист, кудрявый парень, присев на ящик, пустил на нижних рядах пля-

совую. Все раздвинулись, кто-то вырвался в круг, пошел вприсядку, отбивая ногами частую дробь и в такт шлепая ладонями по голенищам. А гармонь заливается, зовет. Подошли девушки, и в кругу мелькнула голубая косынка. Плясун, встряхнув ухарски головой, ударил каблуками в мерзлую землю и как бы замер в мелком переборе чечетки.

В маленькой комнате главного инженера Николая Иосифовича Хетагурова душно, хотя никто не курит. Зажатый посетителями в дальний угол, Николай Иосифович целый день не покидает своего места. Стол завален схемами, проектами, фоторепродукциями. Идет распределение участков, о которых никто из присутствующих еще не имеет сколько-нибудь ясного представления.

Тут же прорабы знакомятся с техническими предписаниями, договариваются о встречах в тайге.

– Возьмите от меня реку Маю. Никто же не знает, можно ли попасть туда с Алданского нагорья. А если через Становой не пройти? – убеждает Хетагурова начальник партии Владимир Афанасьевич Сипотенко.

Главный инженер поднимает взгляд от карты, лежащей перед ним, устало смотрит на Сипотенко.

– Удивляюсь, Владимир Афанасьевич! С каких это пор геодезисты стали ставить непременным условием, чтобы у них в районе работ были проторенные тропы?

Так день за днем проходило время подготовки полевых подразделений в далекий путь.

За широкой Зеей багровела тайга, опаленная стужей. С юга уже прорывались немые признаки тепла, но ветер еще перевеивал поземкой сухой бродячий снег и по ночам с неба падал иглистый иней. Подразделения будут заброшены в районы на самолетах. Но прежде нужно подыскать посадочные площадки. Десятого февраля мы и отправились в рекогносцировочный полет. Со мною на борту самолета главный инженер Хетагуров, начальники партий Сипотенко, Нагорных, Лемеш и два прораба – Пугачев и Лебедев. Попутно нам хотелось взглянуть с высоты на тайгу, хребты, на границу суши и моря, на острова, чтобы составить общее представление о территории, где предстояло работать.

Самолет стремительно несся вперед, но нам казалось, будто мы застыли неподвижно в воздухе, а земля лениво проплывает мимо. Под нами лежала Зейская низина, оттененная по холмам яркой зеленью хвойных лесов.

Крылатая тень самолета то скользила по лиственничной тайге, то ныряла в овраг, то, отступая, путалась в глубоких кривунах Зеи. А вдали, у края голубого неба, легким облаком маячили заснеженные горы. Они как бы надвигались на нас, росли, ширились, становились все более величественными. Это был восточный край Станового хребта.

– Трофим Васильевич, начинается наша вотчина! – крикнул Хетагуров Пугачеву. – Посмотрите-ка, что за причуды, какая красота!

– Смотрю и дивлюсь. Тут, кажется, сам черт ногу сломит, – ответил тот, не отрываясь от бокового окошка.

– Есть где разгуляться молодцу, – пошутил Лебедев.

С высоты трех с половиной тысяч метров был хорошо виден Становой. Слева, справа и впереди лежали угрюмые цепи гор, уходившие в необозримое пространство. Хребет разворачивался перед нами грандиозной панорамой.

Машина набирала высоту. Но надвигавшиеся горы все еще заслоняли дальний горизонт. Становой хребет там, где он кончается, достигает наибольшей высоты и имеет совершенно дикие очертания. Нас встречали остроглавые вершины, то появляющиеся, то исчезающие за крылом самолета. Всюду виднелись пропасти, нагромождения скал, отвесные стены, окружавшие цирки.

– Тропа!.. – закричал кто-то, припадая к окну.

Внизу показалась узкая полоска взбитого снега – это действительно тропа. Она шла по каменистому гребню наверх, вилась по крутым откосам и терялась среди отвесных скал. Затем снова появлялась на вершине остроглавого утеса. Мы были озадачены. Кто проложил ее среди каменных громад?

Самолет плыл низко над хребтом, отчего гул моторов становился сильнее. Вдруг на снежной полоске, окаймляющей сверху обрыв, появилось вспугнутое стадо крупных зверей светло-желтой масти. Животные бросились к откосу, но почему-то круто повернули обратно и, рассыпавшись, исчезли среди скал. Я успел лишь приметить, что все они были с толстыми рогами. Это, вероятно, снежные бараны, они и проторили тропы по горам.

Становой хребет оборвался так неожиданно, что мы не успели рассмотреть его северные склоны. Самолет стал разворачиваться, изменяя направление. Из-под правого крыла показалась всхолмленная низина – Алданское нагорье. Оно простиралось далеко на север и терялось где-то в мягкой дымке солнечного утра.

Летели долго, кружились над большими озерами и широкими руслами заледеневших рек. Скучно смотреть с высоты на однообразную снежную равнину, то залесенную, то покрытую большими пятнами марей. Ни струйки дыма, ни дорог, ни следов человека. Даже Становой, видневшийся над горизонтом, не освежал пейзажа.

Через час показалось широкое русло Учура, сдавленное с боков черной тайгой. Машина забирает вправо и идет к стыку трех хребтов: Джугджура, Джугдыра и Станового.

Воздух прозрачен, даль становится доступна глазу. Мы видим, как на широкую заснеженную марь выскакивают два лося. Они не могут понять, откуда шум, бегут навстречу самолету, затем бросаются в разные стороны и исчезают в перелесках.

Машина все ближе подбирается к грозным нагромождениям, заполняющим впереди широкий горизонт. Становой возвышается от нас справа. Продолжая его, тянется дальше, к Охотскому морю, широкая лента Джугджура.

Пролетая приблизительно над границей хребтов, мы увидели истоки реки Маи (Половинная).

К югу от Станового – Джугдырский хребет. Глядишь на его вершины сверху, и кажется, что лежат груды камней, давно приготовленных для какой-то грандиозной стройки. Да и стройка уже началась, но произошло землетрясение. Часть территории осела и заросла лесом, другая же, наоборот, поднялась высоко вместе со стенами начатых сооружений, развалинами башен, глубокими выемками, заваленными обломками.

А вот и река Мая. Глубокой щелью она прорезала горы. Высокие гольцы склонили над ней свои вершины. Каким-то чудом над ущельем удерживаются каменные громады скал. Кажется, дотронься до них, и всей тяжестью своей сорвутся они в бездну.

Тесно Мае в крутых берегах. В бешеной злобе силится она раздвинуть выступы скал, разметать стремительным потоком каменистые перекаты, срезать кривуны. Но пока что река не разработала себе сколько-нибудь спокойного русла. Почти треть своего пути Мая течет в тисках высоких гор.

Нас это открытие встревожило. Хаотические нагромождения гор вблизи реки вряд ли позволят нашим подразделениям беспрепятственно передвигаться в этом районе. А миновать его мы не можем и, значит, будем вынуждены столкнуться с препятствиями, преграждающими проходы к этой своенравной реке и ее многочисленным притокам.

Самолет, миновав Джугдыр, повернул на восток к заливу, к Удской губе, где мы должны приземлиться, чтобы заправить машину. Летим над широкой долиной. Местность резко изменилась. Под нами лежали волнистые мари, рассеченные многочисленными речушками и обмеженные жалкими перелесками. Летом здесь путешественника поджидают гнус, топи и непроходимые болота. Тут все однообразно и, как в пустыне, почти нет ориентиров.

На ледяном «аэродроме» нас встретил заместитель начальника экспедиции Рафаил Маркович Плоткин, прибывший сюда несколько дней назад для организации оленьего транспорта и заброски продовольствия в глубину приохотской тайги. О нашем прибытии ему сообщили из штаба.

– Пошли, пошли, – торопил он нас, – ко мне в палатку, угощу строганиной – пальчики оближете!

Возле палатки стоял готовый в путь олений обоз в пятьдесят нарт, нагруженных мукой, ящиками, тюками. Груз пойдет в горы, в местоположение базы нашей топографической партии.

Рафаил Маркович отдал каюрам последние распоряжения, те покурили, вполголоса поговорили между собой, и обоз цепочкой двинулся на запад.

С моря тянула холодная поземка. Ветер, роясь в снежных сугробах, срывал искристую пыль, уносил куда-то вглубь материка. На берег со скрежетом выпирал лед, сдавленный разыгравшимся морем. Огромные льдины вздымались, глухо падали, потрясая землю.

Морской холодный ветер звонко трепал борта палатки, но внутри было тепло. Нас действительно тут поджидали: на свежей еловой хвое, устилавшей пол, стояли сковородка жареной наваги и огромная эмалированная чашка кетовой икры, пересыпанной завитушками тонко нарезанного лука. На раскаленной печке доваривалось мясо, распространяя аппетитный запах какой-то острой приправы. Мы стали размещаться.

– Посмотрите, на что способно Охотское море, – похвалился Плоткин, показывая крупную кету величиной с хорошую семгу. – Редкий экземпляр, к тому же свежий.

– Кирилл Родионович имеет возможность блеснуть своим талантом, – сказал Хетагуров, усаживаясь на пол и по-кавказски подбирая под себя ноги.

– Это вы насчет строганины? Можно. Но оговариваюсь: если не получится – не обижайтесь. Я ведь знать не знаю, с головы стружат рыбу или с хвоста. – Кирилл Родионович Лебедев, лукаво улыбаясь, достал из-за пояса увесистый нож уродливой формы и добавил: – Не пугайтесь, нож собственной конструкции.

Он ловко отрубил у кеты голову, хвост, содрал со спины кожу, и в чашку полетели тонкие, словно хрустальные, стружки розовой мякоти. Они на лету свертывались в трубки. Их обрызгивали уксусом и посыпали черным перцем.

– Настоящая строганина должна быть с хрустом, что хворост. Мы ее сейчас выставим на мороз, пусть крепнет… – Лебедев, приподняв борт палатки, высунул чашку со стружками на холод.

– Опять ждать? Я больше не согласен. Да и к чему такая жертва? Начнем с наваги! – послышался из дальнего угла голос начальника партии Нагорных.

– Правильно! – поддержал его Хетагуров. – Ну-ка, наберите мне в ложку икры. Смелость города берет…

– Товарищи! – взмолился Кирилл Родионович. – Минуту терпения, сейчас стружки поспеют!

И как бы в доказательство за палаткой что-то аппетитно хрустнуло.

– Слышите, лопаются, значит правда спеют… – торжествовал «повар».

Хруст повторился еще и еще, затем кто-то подозрительно чавкнул, зарычал. Хетагуров приподнял борт палатки. О ужас! Две лохматые собаки в жестокой схватке оспаривали свое право на строганину в чашке.

– Ишь вы, проклятые! – взревел не своим голосом Кирилл Родионович, выскакивая наружу.

Собаки огрызнулись на него и рысцой потрусили в поселок.

– После такого экзотического блюда, как строганина с хрустом, давайте перейдем к чему-нибудь более обыденному. Это надежнее. Предлагаю начинать с мяса, – сказал Пугачев.

За палаткой еще долго чертыхался Кирилл Родионович. Плоткин с грустью смотрел на обрезанный скелет кеты.

Пока завтракали, машину заправили, и вскоре мы снова в воздухе. Летим на восток. Под нами море. Огромные сжатые ветром поля льдов застыли, упираясь в берег. За ними в лучах солнца блестит вода. И где-то уже совсем недалеко видны расплывчатые силуэты островов. Вот они точно ожили, двинулись навстречу, обходя со всех сторон самолет. Машина забирает влево и идет над Феклистовым и Большим Шантарским островами. У восточных берегов их властвует шторм. Какая величественная картина – буря на море в солнечный день! От далекого горизонта и до крайних островов все кипит расплавленным серебром. Нельзя смотреть. Разыгравшиеся волны одна за другой разбиваются о выступы скал, дробятся о камни. Постоянная битва двух могучих сил: с одной стороны, упорство скал, с другой – ярость ненасытного моря. Словно рать, оберегающая рубеж материка, многочисленные острова уперлись в море неровными крутыми берегами да рифами. Волны лижут их, захлестывают, отступают и снова бешено бросаются на штурм. Куда ни взглянешь, всюду следы разрушений – груды свалившихся камней.

На островах нам не удалось наметить подходящую площадку для посадки самолета, и мы повернули обратно.

Возвращаясь, летели над мелкими островами, расположенными близ материка. Они представляют собой остатки высоких гор, размытых морем, некогда вторгшимся на территорию суши. Среди них есть небольшие островки, сложенные из одних скал, без растительного покрова. Это излюбленные места морской птицы. На них, видимо, и располагаются птичьи базары. Граница суши обозначалась на большом расстоянии резкой чертой скал, местами высоко поднимающихся над заледеневшим морем.

В шесть часов вечера машина приземлилась.

Ночь провели в штабе. Теперь мы имели некоторое представление о территории предстоящих работ и могли более правильно распределить силы. Пришлось изменить намеченный ранее план, произвести перегруппировку в партиях, усилить более стойкими людьми подразделения, отправляющиеся на Становой и Джугдырский хребты. В район со сложным лабиринтом озер, марями, затяжными болотами и предательскими зыбунами был назначен топограф Виктор Харьков, один из опытных наших техников. Работы на реке Мае решено было не развертывать до подробного обследования проходов по ней.

Часть подразделений уже была готова к выходу. Но переброска их задерживалась, пока площадки, намеченные нами при вчерашнем полете, не будут подготовлены к приему тяжелых машин. Эту работу выполнят маленькие самолеты, уже вылетевшие к месту будущих «аэродромов».

Одиннадцатого февраля на железнодорожную станцию Тыгда прибыл наш груз из Тувы. Его сопровождал Василий Николаевич Мищенко, один из старейших работников экспедиции. С ним прибыли и наши собаки Бойка и Кучум. Встречать Мищенко со мною поехал Пугачев.

Когда мы вышли на перрон, у семафора уже появился поезд. Громыхая колесами, паровоз прополз мимо толпы встречающих и остановился за багажной будкой. В тамбуре второго вагона стояли собаки. «Узнают ли они меня?» – мелькнуло в голове. Бойку и Кучума я не видел восемь месяцев.

Я задержался на перроне. Пока выгружали из вагона ящики, тюки, собак привязали к частоколу. Обе они – черные, похожие друг на друга, с белыми пушистыми бровями, светлыми грудками и крапчато-серыми чулками на ногах; согнутые крючком хвосты одинаково лежали на полношерстных спинах. Только Кучум был рослее Бойки. Его длинное, гибкое тело держалось на сильных ногах; морда нахальная, с хитрым прищуром глаз. В схватках с собаками ему достаточно было показать свои острые клыки, как у тех мигом поднималась на загривках шерсть и они заискивающе начинали обнюхивать Кучума, проявляя при этом и уважение и

любопытство. Он отличался особой привязанностью к людям. Бойка же была более замкнутой, всегда озабоченной, покорной. В лагере ее не заметно, но возле зверя – не узнать! Работает она напористо, четко, откуда только ловкость берется! В этот момент все собаки подчиняются ей. Но как только минует опасность, она снова уходит в себя, становится тихой, ласковой и незаметной.

Возле собак, словно из-под земли, появилась шумная ватага мальчишек. Они показывали на Бойку и Кучума, боязливо приседали возле них, заглядывая в глаза, жестикулировали и о чем-то азартно спорили.

Через частокол к ним перелез еще один парнишка, несколько постарше, лет одиннадцати, с коньками под мышкой. Увидев его, мальчики притихли, а тот с достоинством судьи осмотрел Кучума и Бойку, а затем, порывшись в кармане полушубка, достал что-то съедобное и бросил собакам. Что он сказал товарищам, я не слышал, но те замахали руками, зашумели, как вспугнутая стая воробьев, и стали все разом что-то доказывать ему.

Я стоял поодаль, не зная, как напомнить о себе собакам. Но вот по перрону пролетел легкий, едва уловимый ветерок. Собаки встревожились, мгновенно повернули морды в мою сторону и настороженно замерли. Ветерок набрасывал на них запах мазута, дыма, сосновых досок, краски, сухой травы и сотен людей, находившихся возле поезда.

Что же встревожило Бойку и Кучума?

Несомненно, они обнаружили мое присутствие. Каким чутьем надо обладать, чтобы среди стольких разнообразных запахов уловить один, да еще после такой длительной разлуки!

Я не выдержал и медленно зашагал к ним. Бойка и Кучум всполошились. Они тянулись к каждому прохожему, обнюхивали, виляли хвостами. Наконец, увидев меня, подняли визг и лай.

Я обнимал их, что-то говорил, они лизали мне руки, прыгали, лаяли. Только люди, которых собаки не раз выручали из беды, могут до конца понять, как дорога была мне эта встреча с четвероногими друзьями.

Затем я подошел к Василию Николаевичу, которого тоже не видел давно. Это была первая длительная разлука за годы совместных скитаний по тайге. Мы обнялись, долго трясли друг друга.

Мальчишки отступили от собак, прижались к решетке и недоуменно смотрели на меня.

– Дядя, а дядя, это ваши собаки? – вдруг спросил самый бойкий и, пожалуй, самый маленький из них, сдвигая на затылок ушанку и поправляя висевшую на ремне чернильницу.

Известно, что от ребят не так просто отделаться, если возник у них важный вопрос.

– Алешка спорит, что эти собаки – овчарки, а мы говорим: у тех уши длинные, а эти – ездовые. Правда?..

– Чего ты мелешь – «ездовые, ездовые»! – перебил его мальчик с коньками. – Посмотрите, у них над глазами белые брови. Говорю – овчарки! Только не немецкие, а те, что овец караулят. Я видел на картине.

– У тех овчарок и морда на тебя, Алеха, похожа! Только под носом у них суше, – заметил кто-то, и все рассмеялись.

– Не спорьте, это обыкновенные сибирские лайки, – сказал я, желая помирить ребят.

– Я же говорил – охотничьи! – опять вмешался в разговор самый маленький. – У тяти была такая собака, Балетка. Она хорошо утят ловила. А ваши, дядя, на кого охотятся?

– Они утят не ловят и вообще птиц не трогают, их дело – медведи, сохатые. Случается, что мы их и запрягаем.

– А куда вы их везете? – спросил Алешка.

– В экспедицию.

– А-а-а… – вдруг пропели все в один голос.

Это слово совершенно неожиданно произвело на мальчиков магическое действие. Очевидно, экспедиция, по их мнению, – это беспрерывная охота на диких зверей, ночевки у костра, необыкновенные приключения, где можно проявить героизм или найти неслыханные сокровища. Ребята переглянулись и с любопытством принялись рассматривать нас, забыв о споре.

Когда мы начали перетаскивать багаж с перрона к машине, опять подошел тот же малыш, что первый спросил о собаках, и умоляюще посмотрел мне в лицо.

– Дяденька, дайте я до машины доведу одну собаку, – сказал он почти шепотом и пугливо взглянул на ребят.

– Как тебя зовут?

– Андреем.

– Какая же из собак тебе больше нравится?

– Этот, лохматый. – И он кивнул головой на Кучума.

– Ладно, бери, только не упусти.

– Нет, вы дайте сами, а то отнимут.

Не успел я передать ему Кучума, как возле Бойки завязалась чуть ли не драка. Человек пять, толкая друг друга, хватались за поводок, кричали. Кто-то сильно толкнул веснушчатого парнишку, тот упал на решетку, но поводок из рук не выпустил. Послышались угрозы, однако уступить собаку никто не хотел. Бойка же, не понимая, что случилось, рвалась к выходу. Пришлось вмешаться.

Ребята помогли нам грузить вещи. Когда мы уже были готовы тронуться в путь, меня кто-то потянул за рукав. Я оглянулся. Опять Андрей. Он прижался ко мне, прячась от остальных.

– Дядя, а со скольких лет берете в экспедицию? – спросил он и покраснел.

– Тебе еще рано об этом думать.

– Ну и что ж, что рано? У меня есть старший братишка, может, он поедет. Это все равно…

– Ребята, Андрюшка в экспедицию записывается, собак будет на медведя травить! – закричал Алешка, подслушавший наш разговор.

– Слабо, мать одежду не даст! – крикнул кто-то из толпы.

– А я и так уеду, – ответил Андрей и опять шепнул мне: – Дядя, довезите до поворота!..

На глазах у всех ребят я помог ему влезть в кузов.

– Прощайте! – пропищал тоненьким голоском Андрей. – А ты, Алешка, бери одежду и приезжай ко мне в экспедицию.

Машина тронулась. Мальчишки так и остались стоять на привокзальной площадке, ошеломленные отъездом Андрея; никто из них не вымолвил ни слова, хотя у всех от удивления раскрылись рты.

За поворотом наш герой выскочил из машины, побежал к перекрестку и стал выглядывать из-за угла, радуясь, что ему удалось так ловко подшутить над товарищами.

Со мною в кабине сидел Кучум. Я не мог налюбоваться им. За восемь месяцев разлуки он здорово вырос, оделся в лохматую шубу. Ему всего два года. Он еще не был по-настоящему в схватках с медведем, не участвовал в драках с собаками. У него все впереди. Но в его собачьей фигуре, походке, даже во взгляде видна была взрослая зверовая лайка уже сейчас.

Пока машина пересекала стокилометровое лесное пространство между станцией Тыгда и рекой Зея, я вспоминал необычную историю рождения Кучума.

Летом 1947 года наша экспедиция работала в горах Большого Саяна, в северо-восточной части Тувинской автономной области. Мы составляли карту этого малоисследованного района. Нам пришлось посетить места, куда редко заходил человек, где среди первобытной природы живут никем не пуганные звери.

Караван шел медленно, проделывая замысловатые петли среди горных нагромождений. Мы то карабкались по россыпям, взбираясь на хребты, то пересекали альпийские луга или бесшумно шагали по молчаливому кедровому лесу, устланному зеленым мхом. Пожалуй, нигде

нет таких больших, бесконечных кедровых лесов, как именно там, на юге Сибири. Погружаясь в эту молчаливую лесную чащу, мы невольно испытывали чувство подавленности при виде могучих великанов, сомкнувших над нами свои жесткие кроны.

Мы двигались по реке Систиг-Хем, надолго задерживаясь в местах сложного рельефа, требовавшего подробного геодезического обследования. Вместе с нами шла Бойка. Она готовилась стать матерью, и мы не знали, что будем делать со щенками: возить их с собою не могли, выбросить – жаль было Бойку: она отличалась необычайной привязанностью к своим детям.

И вот однажды утром, когда, свернув лагерь, должны были двинуться дальше, мы не обнаружили Бойки.

– Куда она делась? Хотел покормить – не нашел. Не иначе щениться ушла, – беспокоился наш проводник Василий Николаевич, больше всех любивший эту собаку.

Мы кричали, обыскали лес возле лагеря, стреляли, и все напрасно – собака не появлялась.

– Проголодается – придет, никуда не денется. Напрасно ты так уж беспокоишься, – уговаривал я не на шутку расстроенного Василия Николаевича.

– Нет, не придет, зря так думаете. Бойка прячет щенят от нас, она понимает, что мы их оставим… Искать надо, иначе потеряем собаку, – говорил он, все поглядывая на лес: не появится ли оттуда Бойка?

– Нашли о чем горевать – о собаке! Да зверь ее задери! – сердито сказал конюх Прохор, нервно посапывая трубкой.

– Нет у тебя, дедка, и капельки жалости! Что плохого сделала Бойка? – с укором спросил его Василий Николаевич.

– Собака, так она собака и есть, непутевая тварь. Ехать надо, а ей, вишь, приспичило! – ворчал Прохор, как скрипучая лесина в непогоду.

Дед Прохор конюшил у нас первый год. Он был на загляденье дородный старик, лет шестидесяти пяти. В облике этого человека было что-то первобытное. Матушка тайга вскормила его тяжелым трудом – в погоне за соболем, на валке леса, на сплаве по порожистым рекам, – и к старости он сам стал похож на огромный сутулый пень. И как ни странно, этот человек, проживший свой век в тайге, не любил собак. Кости обглоданной не бросит им, так и норовит дать пинка. Недолюбливали его и собаки. На что у Бойки ласковый характер – она, бывало, и близко к нему не подойдет, все косится, как на чужого.

Так мы в тот день и не уехали – решили обшарить всю местность по обе стороны Систиг-Хема.

Тайга, окружавшая лагерь, была завалена валежником, обросла папоротником, дикой смородиной. Что ни дерево – то убежище: тут и чаща и бурелом. Разве можно найти в таком лесу намеренно спрятавшуюся собаку? Мы искали весь день. Бойка, безусловно, слышала наши голоса и шаги, но ничем не выдавала себя.

Что же делать? Задерживаться дальше нельзя – стоит хорошая для работы солнечная погода, – но и бросить собаку в таком положении жестоко. После долгих размышлений все же решили ехать. А Василий Николаевич остался.

– Без пищи Бойка проживет несколько дней, она ведь собака, а вот без воды не может, тем более со щенками. Непременно выскочит к реке. Я ее тут и подкараулю. Или увижу след… – рассуждал Василий Николаевич.

Утром рано мы покинули стоянку.

Мы должны были организовать свой лагерь километров двадцать ниже устья Чапши, на берегу Систиг-Хема, в углу небольшой поляны, возвышающейся над руслом реки. Здесь нам необходимо было задержаться на несколько дней, чтобы обследовать ближайшие вершины гор. Погода как нельзя лучше благоприятствовала работе, и мы на второй день утром, не дождавшись Василия Николаевича, ушли на хребет.

Нас не покидали мысли о Бойке. Мы втайне считали собаку потерянной: она не бросит щенят, да и не найти ей нас в этой горной тайге, где нет ни конца ни края! Еще можно допустить, что Бойка вернется своим следом на Казыр к рыбакам, но при мысли, что с ней щенки, и эта надежда пропадала.

Случай был необычный, вызвавший у нас много споров и размышлений. Мы считаем собаку, как и других животных, неразумным существом и многое в ее поведении относим за счет врожденного инстинкта, то есть бессознательного действия. Однако кому, скажем, не приходилось удивляться смышлености собак в момент поиска зверя, в схватке с медведем, при распутывании ими следов! И тогда невольно хочется верить, что собакой руководят не только инстинкт или рефлекс, – вероятно, в природе животных есть что-то еще, не разгаданное человеком.

Вернувшись через три дня в свой лагерь, мы не нашли там Бойки. Нас встретил Василий Николаевич. Достаточно было взглянуть на его лицо, чтобы угадать, чем кончились поиски собаки.

– Как вы уехали, Бойка действительно вышла к реке на водопой, – рассказывал он. – И нужно же было мне окликнуть ее! Даже не взглянув, исчезла. Одичала, что ли? Я ведь еще на день задержался там, весь кедровник обшарил – как провалилась! И откуда это несчастье взялось?

– Не печалься, Василий. Придется другую собаку заводить, – успокаивал я его.

– Да вы что? Неужто бросим ее, да еще со щенками, на голодную смерть? Ведь она же мать! Надо задержаться. Бойка в долгу не останется. Ей-богу, не останется!

Он окинул всех нас беспокойным взглядом и, не получив ответа, прошептал тихо, как бы сам себе:

– Ну что ж, не хотите дожидаться, я останусь один…

Через два дня мы закончили работу на Систиг-Хеме и собирались уйти боковым ущельем на запад, к реке Ут. Теперь уже никто не надеялся, что Бойка придет к нам. Но Василий Николаевич твердо решил идти искать ее и догнать нас на реке Ут.

Помню как сейчас последний вечер в лагере. Догорали костры. Шумел ворчливый Систиг-Хем. Люди уже спали. Я вышел из палатки, чтобы перед сном взглянуть на небо: не грозит ли оно непогодой? На утро был назначен поход.

Молчаливо надвигалась ночь. Теплыми огнями переливалось небо. Засыпал огромный край, не преодолев истомы жаркого дня. Различная ночная живность заполняла сумрак таинственным оживлением. А там, где только что погас румянец зари, народилось темное облако. Оно росло, расползалось, затягивая небо. По лесу вдруг пробежал сдержанный шепоток, пугливо пронеслась неизвестная птица, бесшумно взмахивая в воздухе крыльями.

Вернувшись в палатку, я долго читал, не переставая прислушиваться к неясным звукам надвигающейся непогоды. А ветер нет-нет да и прорвется, хлестнет по вершинам притихших деревьев. Далеко сквозь тьму затяжно поблескивала молния, бросая на палатку мигающий свет.

Но вот из тайги дохнуло сыростью, перестали кормиться кони, все на минуту замерло. Одинокий комар пропел последний раз свою песню и упал на разгоревшееся пламя свечи. Я хотел подняться, чтобы застегнуть палатку, как вдруг темный свод неба над лагерем разорвался и молния, разгребая мрак ночи, осветила грозные контуры туч. Гроза чесанула по краю скалы, ухнул, словно в испуге, лес, и холодные капли дождя забарабанили по брезенту. Разразился ливень. Удары грома потрясали горы. Ветер загасил свечу.

До слуха донесся странный звук, будто кто-то стряхнул с себя влагу. Затем я услышал, как в темноте раздвинулись борта палатки, и этот кто-то медленно приблизился ко мне. Я ощутил на себе теплое дыхание, и какой-то маленький комочек, холодный и липкий, упал мне на руку.

– Бойка, – шепнул я неуверенно.

По брезенту скользнула молния, на миг осветив собаку.

– Василий, Бойка пришла! Слышишь, Василий? – крикнул я, ища вокруг себя спички.

Удары грома глушили мой голос. Я зажег свечу, разбудил Василия Николаевича. Собака дрожала от холода и беспрерывно встряхивалась, обдавая нас холодной водяной пылью.

– Мать пришла… На кого же ты, бедняжка, похожа!.. – протянул нараспев Василий Николаевич.

Он повернул к себе Бойку и долго смотрел в ее умные глаза, потускневшие от голода и, вероятно, от физических мучений. Не было в них и капельки радости, словно собака забежала на минутку к чужим спастись от дождя. Она была страшно худая и измученная. На ее впалых боках торчала клочьями старая шерсть. И даже хвост, прежде лежавший упругим крючком на крестце, теперь выпрямился и свалился набок обрубком, а спина, как бы отяжелев, осела.

Бойка вырывалась из рук Василия Николаевича и беспокойно косила глаза на мою постель. Я вспомнил о холодном комочке и стал шарить руками у изголовья.

– Василий, да ведь она и щенка принесла! Посмотри, живой! – сказал я, показывая ему крошечного заморыша, мокрого и дрожащего от холода.

У того вдруг сомкнулись брови, глаза скользнули по соскам собаки. Он повернул голову Бойки к себе и испытующе посмотрел ей в глаза.

– А куда же ты остальных девала? Что сделала с ними? – строго спросил он.

– Ладно, Василий, ничего она тебе не скажет. Вероятно, пропали от истощения. Скорее корми ее, да надо спасать щенка.

Из палаток прибежали люди. Все были удивлены. Они ласкали Бойку и с любопытством рассматривали щенка, подававшего слабые признаки жизни. Он изредка издавал глухой, еле уловимый хрип. Тогда Бойка настораживала уши и смотрела на черный беспомощный комочек, лежавший на постели. Сколько материнского чувства было в ее внимательном взгляде! Как много она могла бы рассказать о том, что оставалось для нас загадочным в ее поступках! По каким признакам отобрала этого черного, с белыми бровями, белой грудкой и в крапчатых носках на передних ножках?.. Куда действительно она девала остальных щенят?.. Одно мы знали наверняка: ее преданность людям заставила бросить остальных детенышей и искать нас.

Утром я проснулся рано. В палатке был полумрак. На войлочной подстилке крепко спали Бойка с сыном, раздувая бока спокойным дыханием. А рядом с ними, подпирая сгорбленной спиной стул, сидел дед Прохор.

«Не ошибся ли он палаткой?» – подумал я.

Нет, старик сидел за работой, обложив себя шорными инструментами. Он чинил сыромятное путо[3], пронизывая его толстым шилом, и, сощурив глаза, долго тыкал в дыру обмусоленным концом ушивальника. Его самодельная трубка лениво дымилась, наполняя палатку едким дымом крепкого самосада. Малейший шорох на подстилке заставлял деда Прохора отрываться от работы. Он медленно поворачивал голову и заботливо смотрел на отдыхавшее семейство. Его усы, бережно свисавшие на губы, начинали шевелиться, выдавая добродушную улыбку. «Подменил нам кто-то деда Прохора», – удивился я, не веря своим глазам. Он услышал шорох и, погрозив мне пальцем, прошептал:

– Тсс! Спят…

Но щенок проснулся. Он жалобно заскулил и, приподняв голову, начал вертеть ею. А Бойка, увидев возле себя нелюбимого старика, вдруг подвинулась к нему и пронизала его предупреждающим материнским взглядом: дескать, не тронь! Дед же Прохор чубуком трубки перевернул щенка вверх брюшком и, качая неодобрительно головой, долго смотрел, как тот беспомощно махал крошечными лапками, тоскливо взывая о помощи.

---

[3] *Путо* – кусок ремня или веревки, которым связывают передние ноги лошади.

– Василь, спишь? Встань-ка, голубчик, – говорил дед шепотом, теребя Василия Николаевича за ноги. – У щенка понос, пропасть может, ему бы лекарства, что ли…

– Где же я возьму ему лекарство?

– Буди ребят: может, у кого порошок какой есть или капли.

– Жалко стало, дед Прохор? А ведь ты вроде не любишь собак!

Прохор отбросил в сторону путо, посмотрел в раздумье на Василия Николаевича:

– Тут, брат, камень растает, а сердце разве выдержит? Ведь к нам она притащила его, из-за нас, понимаешь, из-за людей, кинула собака остальных щенят!

– Значит, помирились?

– Куда денешься в этаком случае? Да ты глянь, Василь, как его корежит! – вдруг вскрикнул дед Прохор, быстро поднимаясь на ноги. – Видно, тебя не дождаться, сбегаю-ка сам.

Вскоре дед вернулся с большой охапкой черемуховых веток. Он подошел к костру, сбросил ношу, взглянул удивленно на нас и улыбнулся.

– Наверно, лишку притащил? – сказал он. – Ничего, зато черемуховая кора куда с добром желудок закрепляет.

Все рассмеялись.

– Тут, дед, хватит не только щенку, но и на всех нас, да и на лошадей, пожалуй, – заметил Василий Николаевич.

Часов в двенадцать дня наш караван покинул Систиг-Хем. Продвигались по узкому ущелью к перевалу. Далеко позади шел дед Прохор, ведя на поводу приземистого мерина с объемистым вьюком. Следом за конем бежала Бойка.

Старик не торопился. На его лице видна была озабоченность. Он изредка останавливался, заглядывая в корзину, сплетенную из прутьев и притороченную поверх вьюка. Тогда к нему подходила Бойка. Вытягивая голову, она прислушивалась.

– Живой, мать, живой, – говорил ей ласково дед Прохор. – На перевал заберемся, там, значит, кормить будем нашего зверя. Поняла?

Так начал свою жизнь Кучум. Тайга, ветры и дожди выходили его, а мать научила разбираться в следах, в звуках, привила ему упорство, с каким сама умеет преследовать зверя.

Пока я все это вспоминал, машина вырвалась из леса и уже приближалась к Зее.

Может, будет не лишним сказать несколько слов о современной карте, которую мы собираемся делать в Приохотском крае.

Создание карты – сложный и многообразный технологический процесс. Изобретение советскими учеными высокочастотных приборов и разработка новых методов картографирования позволяют в кратчайший срок на больших площадях составлять карты высокого качества.

Самый совершенный метод создания карт – аэрофотосъемка, когда местность фотографируется с самолета специальным аэрофотосъемочным аппаратом. Фотосъемка производится обычно с высоты от шестисот до пяти тысяч и более метров, в зависимости от масштаба карты. Аэрофотосъемка дает многократно уменьшенное изображение территории.

Для того чтобы все снимки привести к одному общему и заранее заданному масштабу карты, привести их в подобие с местностью, расшифровать изображения различных элементов – леса, кустарника, болота, камня, – нужно проделать большие и трудоемкие полевые работы. По тем местам, над которыми летал самолет – будь то непроходимая тайга, недоступные вершины хребтов, бурнопорожистые реки или безводные пустыни, – везде должны пройти отряды геодезистов. Они сделают точнейшие измерения расстояний углов, чтобы определить положения наиболее характерных точек местности. Этими точками обычно служат господствующие вершины гор, наиболее высокие сопки, возвышенности. Для удобства на выбранных точках строятся деревянные пирамиды, или сигналы, которые видны на большом расстоянии. Геодезисты называют эти точки пунктами.

Следом за геодезистами идут отряды топографов. Пользуясь пунктами и аэрофотоснимками, они детально измеряют местность, собирают все необходимые сведения для будущей карты: названия хребтов, ключей, озер, низин, скорость и глубину рек, характер лесного покрова, проходимость болот, прослеживают тропы, пересекающие местность, и многое другое.

После окончания полевых работ весь материал геодезистов и топографов сосредоточивается в специальных лабораториях и цехах, где при помощи точных оптических приборов на аэрофотоснимках производятся необходимые измерения и построения. Так получается оригинал карты. Затем его вычерчивают во всех необходимых деталях и направляют на картографическую фабрику.

Всю территорию работ мы разделили на три района. В каждом из них будут действовать самостоятельные партии, состоящие из геодезистов, топографов, астрономов, географов. Шесть площадок для самолетов в отдаленных уголках тайги должны в ближайшие дни принять полевые подразделения с оборудованием, снаряжением и годовым запасом продовольствия. Из эвенкийских колхозов к местам работ уже вышло более пятисот оленей в сопровождении пятидесяти проводников-каюров. На территории, подлежащей обработке, предстоит организовать около десяти лабазов с запасами продуктов и снаряжения, расположив их на главных маршрутах прорабов.

Двадцать второго февраля была закончена подготовка таежных посадочных площадок и стала возможна переброска людей и грузов. Погода благоприятствовала нам.

В штабе остается все меньше и меньше участников экспедиции. Николай Иосифович Хетагуров, который весною будет инспектировать работы на южном участке, уже находится на озере Лилимун и на днях с группой геодезистов и астрономов уйдет к главной вершине Чагарского хребта. А я хочу ехать к технику Лебедеву на реку Маю, чтобы помочь обследовать район стыка трех хребтов: Станового, Джугджура и Джугдыра. Затем, посетив истоки реки Зеи, самую дикую часть Станового, попробую перевалить через горы к озеру Токо.

Пока что нам не удалось найти проводников, знающих проходы в этой части Станового. Эвенки, оказывается, туда вовсе не заходят, переваливая через хребет западнее нашего участка. А нам проход нужен именно в восточной оконечности хребта.

Несколько позже мы получили благоприятное сообщение председателя эвенкийского колхоза «Ударник» Колесова. Он писал: «У нас есть восьмидесятилетний старик Улукиткан, который когда-то переваливал Становой в верховьях Зеи. И хотя он не помнит, где находится перевал, но берется провести вас». Мы, конечно, обрадовались известию, но кандидатура проводника вызвала сомнение: ведь в таком возрасте ему будет трудно путешествовать по тайге. Однако не оставалось ничего другого, как только дать согласие. В письме Колесову я просил выделить в помощь проводнику молодого здорового парня и направить вместе с оленями на одну из кос на реке Зее.

Пора и нам собираться в далекий путь. Мы добровольно согласились инспектировать работы в еще не исследованном и труднодоступном районе стыка трех хребтов: Станового, Джугджурского и Джугдырского – и побываем на южном крае безлюдного Алданского нагорья. Нас влечет туда жажда увидеть что-то еще не виденное, пережить еще не пережитое, желание встретиться с опасностью.

Удивительно устроен человек! С каким волнением каждый год возвращаешься из экспедиции к родному очагу, к друзьям, театрам, спокойной жизни. И всегда окружающая тебя городская обстановка кажется обновленной, все воспринимается остро, с наслаждением работаешь над дневниками, перелистывая страницы былых походов. Но пройдут первые дни радости, и где-то в глубине души пробуждается тоска по просторам, по бродяжнической жизни. Все чаще мечта уносит тебя в далекую глушь. То вдруг сказочным видением встанет в памяти

могучий и грозный Кизир, то яростно взревет пурга, как бы вызывая на поединок, то ласково прошумит высокоствольная тайга, и сердце сожмется от боли. Тесным становится город, стены квартиры сковывают мысли, нигде не находишь успокоения, пока не начинаешь готовиться к очередной экспедиции.

Все мы считали дни и часы, оставшиеся до вылета. Где-то далеко в тайге, на зейской косе, нас дожидаются проводники с оленями, чтобы отправиться к истокам реки Маи, в подразделение Кирилла Лебедева. Со мною полетят: мой постоянный спутник Василий Николаевич Мищенко и радист Геннадий Чернышев, замкнутый и скупой на разговор, но дельный и упрямый в работе.

Войну Геннадий провел в танке. Постоянная напряженность, тяжелые бои приучили его к строгому равновесию в жизни. Он редко смеется, в лучшем случае улыбается. Промокнет ли под проливным дождем или устанет, измотавшись с тяжелой ношей, он всегда бодр. Ни слова жалоб. Он был достойным товарищем в походах.

С нами отправлялись и наши лайки Бойка и Кучум.

Снаряжение состояло из двух легких палаток (для нас и для проводников), железных печей, спальных меховых мешков, небольших брезентов, пологов, алюминиевой и эмалированной посуды и различного хозяйственного инвентаря: пил, топоров, мешков, веревок, подпильников… Мы брали с собою также трехмесячный запас продовольствия: муки, сахара, масла, сгущенного молока, макарон, круп, чая. Мясных консервов в свои запасы не включали, предпочитая свежую рыбу и мясо, добытые в тайге.

Личные вещи были упакованы в потки – вьючные оленьи сумы. Чего только в них не было! Как обычно, я взял с собою два фотоаппарата – широкопленочный и «Киев» – с полным комплектом светофильтров и объективов; запас цветной и черной пленки; спиннинговую катушку, железные коробки с блеснами, шнурами и всякой мелочью, необходимой рыболову; патроны, кожаную сумочку с варом, шилом, иголками, нитками; пикульки, манки для приманивания птиц и многое другое, нужное в походной жизни путешественника. Предметы, которые боялись сырости (пленки, спички, химикаты), мы упаковывали в непромокаемые резиновые пузыри. Белье, одежда, бумага укладывались в сумки из плащ-палатки.

Хозяйством нашего маленького отряда, включая и общее продовольствие, ведал Василий Николаевич Мищенко, человек расчетливый и предусмотрительный.

Одиннадцатый год он ездит со мною в тайгу, и всегда перед отъездом у нас происходят легкие размолвки по поводу закупок. Он выпрашивает у меня деньги.

– Надо бы кисленьких конфеток купить. Ну и банку томату, – говорит он, и на лице его полное безразличие, будто все это нужно только мне.

– Вот, бери двести рублей и кончай с покупками, завтра вылетаем.

– Погляжу, должно бы хватить…

– Лишнего только не набирай.

– Сами же после скажете: вот бы фрукту сладкую съел, чего, дескать, не купил? А где я ее там возьму? Или еще хуже: не хватит, скажем, перцу или спирту, – бросает он, скрываясь за дверью.

Часа через два он снова возле меня.

– Опять за деньгами?

– Табачок нашел «Золотое руно», взять бы хоть пачку. В тайге после чая приятно им побаловаться. И опять же сливы пришли в магазин, как не купить?

Я знаю, что у него давно закуплены и кислые конфеты, и «Золотое руно», и сливы и что деньги ему нужны на другие покупки, о которых он ни за что не проговорится. Любит Василий Николаевич чем-нибудь неожиданно порадовать в тайге, вот и прячет по своим поткам, как крот, банки, свертки.

Последний перед отъездом день прошел в необыкновенной суматохе. Нужно было написать письма, послать телеграммы. Главный бухгалтер Малиновский положил на стол три толстые пачки финансовых отчетов и не отходит, боясь, что я уеду и документы останутся неподписанными. Наконец все готово к вылету.

Прощай, город! Прощайте, друзья, уют, застольные беседы! За незримою чертой, перейти которую мы так стремимся, нас ждет иная жизнь. Там нет телефонов, справочных бюро, зонтиков, калош, гриппа, сквозняков; обед будет без скатерти, а вместо вилки – пальцы. Там нам никто не укажет путь и все придется делать самим: чинить штаны, ботинки, печь лепешки, чистить кастрюли, стирать белье. Нас ждут суровые испытания. И плохо тому, кто ослаб в борьбе или не верит в свои силы. Природа к таким беспощадна!

Рано утром мы прибыли на аэродром.

Самолет загружен. Бойка и Кучум уже заняли место и с нетерпением ждут отлета. На лицах провожающих – нескрываемая зависть, а в мыслях – тревога за нашу судьбу. Мы жмем протянутые руки, выслушиваем добрые пожелания и наконец расстаемся.

Самолет летит со скоростью трехсот километров в час. Под нами проплывает Зейская долина. Постепенно надвигается, делаясь все более величественным, Становой.

Вскоре в пустынной дали предгорья показалась одинокая струйка дыма на берегу широкой реки. Самолет, теряя скорость, снизился, обошел ледяную площадку кругом, смело приземлился.

На косе стояла палатка проводников, лениво догорал костер, но ни хозяев, ни оленей не было. Мы разгрузили машину, распрощались с экипажем и стали устраивать себе жилье.

II

Встреча с проводником. Нарты уходят в глубь гор. Улукиткан вспоминает былое. «У, проклятый, кушай больше не хочешь?» С наледью не шути! Худое место

Палатка готова, а проводников все нет. Неожиданно из тайги на косу выскочила белая собачонка. Увидев нас, она в недоуменье остановилась. К ней тотчас бросился Кучум. Ощетинившись, собаки стали обнюхивать друг друга, видимо пытаясь угадать, кто откуда и куда идет, сытый или голодный, у зверя был или бродячий. Заглядывали друг другу в глаза, определяя силу противника и характер. При таких встречах, несомненно, собаки что-то узнают друг о друге, в случае необходимости затевают драку. У Кучума с белой собачкой, по-видимому, не возникло спорных вопросов, они мирно разошлись.

Следом за собачонкой появился и человек. Он молча прошел мимо нас к своей палатке, снял с плеча длинную бердану, стряхнул с дохи снег. Затем достал из-за пазухи лепешку, разломил ее на несколько кусков и бросил белой собаке.

– Она из оленьего стада Ироканского колхоза, – видно, зверя гоняла, далеко ушла, торопится обратно, – сказал он и, откашлявшись, уверенной походкой направился к нам. – Здравствуйте… Я думал, напрасно мы тут живем – так долго вы не приезжали.

Это был Улукиткан, наш проводник из эвенкийского колхоза «Ударник».

Он стоял перед нами, старый, маленький, какой-то весь открытый, готовый к услугам. Его темно-серые глаза, прятавшиеся за узкими разрезами век и, вероятно, видевшие много за долгие годы жизни, теплились добротой.

Что-то подкупающее было в его манере держаться перед незнакомыми людьми и в том невозмутимом спокойствии, с каким он нас встретил. От него веяло мудростью долгой и нелегко прожитой жизни, глубокой стариной, темными таежными лесами.

Улукиткан был одет в старенькую, изрядно поношенную доху, задубевшую от ветра, снега и костров. На голове у него копной лежала шапка-ушанка, сшитая из кабарожьих лап. На ногах – старенькие, полуизношенные унты со свежими заплатками. Поверх дошки через плечо

висела на тонком ремешке кожаная сумочка с патронами и привязанным к ней старинным кресалом.

В глухих таежных местах есть еще старики, которые в прошлом, до революции, испытали немало бедствий, голод и нищету и научились безропотно переносить невзгоды. В своей памяти они хранят многое, что не записано ни в какой истории. В них живет необыкновенно чистая, доверчивая любовь к людям, к животным, к природе.

Именно таким и был Улукиткан.

Старость много потрудилась над ним. Она сгорбила ему спину, затянула лицо сеткой морщин, пальцы на руках изувечила подагрой. На его голове оставил следы и медведь, исполосовав когтями затылок. Говорил Улукиткан медленно, надтреснутым голосом, плохо выговаривая русские слова.

С первой встречи этот необыкновенный старик подкупил нас своей простотой и доброй улыбкой. Все как-то сразу прониклись к нему уважением.

Мы пригласили его выпить с нами чаю. Войдя в палатку, старик снял дошку, бережно сложил ее вдвое и, усевшись на нее возле печки, стал отогревать руки.

– Пошто так задержались? – спросил он с явным беспокойством.

– Погоды долго не было летной, да и хлопот много… Раньше не могли никак.

– Плохо. Снег размяк, вода пойдет поверх льда, как ехать будем?

– А ты один? – спросил я его, пока Василий Николаевич разливал по кружкам чай.

– Товарищ есть. Николай Лиханов. Он оленей пошел смотреть, скоро придет. Тоже старик. Мы с ним постоянно вместе тайга ходим.

– Как старик? – удивился я. – Мы же просили Колесова, вашего председателя, выделить тебе в помощь молодого парня. Не нашлось, что ли?

– Колхоз люди много, однако молодой теперь все ученый стал, по книге тайгу учит, а оленью узду не умеет сделать, след зверя теряет… Зато клуб дорога хорошо знает! – ответил сердито Улукиткан.

– Вам, старикам, ведь тяжело будет работать, – возразил я.

– Ничего, нам привычно, да я и не хвораю никогда. Когда время придет – сразу эскери[4] заберет. А Николай в тайге лучше молодого.

– Ну хорошо, увидим. А почему у тебя эвенкийское имя, а у Лиханова русское? – продолжал я разговор.

– У него мать была русская, она ему свое имя давала.

За палаткой послышались шаги, кто-то постучал, сбивая с ног снег, кашлянул и ввалился внутрь.

– Шибко много людей стало у нас на косе… Здравствуйте! – сказал он, снимая шапку.

– Проходите, садитесь, – предложил Василий Николаевич, освобождая место.

Это был высокий, крепкий старик, на вид лет пятидесяти, с плоским, скуластым, почти круглым лицом, одетый по-эвенкийски: в дошку, лосевые штаны и лапчатые унты. Тугая и дочерна смуглая кожа только на лбу у него была пересечена морщинами. Толстые, вывернутые наружу губы были опушены мелкой седой порослью. Жиденькая бороденка из считаных волос в беспорядке торчала по краешку подбородка. Лицо простое, добродушное, на нем, как в зеркале, отражался покладистый характер старика.

Это и был Николай Федорович Лиханов, наш второй проводник. Его черные глаза, подвижные, как ртуть, в одно мгновение осмотрели нас всех. Он поздоровался со всеми за руку и тоже уселся возле печки.

– Куда кочевать будем? – спросил Лиханов.

– В верховье Маи.

---

[4] *Эскери* – бог или злой дух.

– Не поздно, как думаешь? Худой время: наледь скоро должна пойти. Оленям худо будет тащить груженые нарты по воде. Шибко запоздал, боязно трогаться – как бы не пропал где.

– Мы должны ехать, – твердо сказал я. – Если не пробьемся на нартах, бросим часть груза в лабазе и уйдем вьючно. Если вообще на оленях уже не пройти, уйдем с котомками на лыжах. Знаем, что не время сейчас путешествовать, но что делать… Надо.

– Ничего, помаленьку доедем, – вмешался в разговор Улукиткан. – Олени свежие, люди мало-мало здоровые. Если наледей бояться, то от пурги помирать надо…

Гости засиделись до полуночи. Нас интересовало все в этом загадочном крае: какой лес, доступны ли летом реки для брода, есть ли в горах звери, где лежат проходы? Старики отвечали охотно. Выяснилось, что март у местных жителей считается месяцем больших снегопадов, частых буранов и затяжных наледей, покрывающих в это время русла рек. Но проводников больше всего беспокоил Джугдырский хребет: трудно будет с гружеными нартами подняться на него из-за глубокого снега.

Кое-что мы узнали от них о Становом хребте, который нам придется посетить после обследования верховьев Маи. Оказывается, в восточной части этого хребта местные эвенки не бывают, и только иногда у подножия гор ненадолго останавливаются пастухи с кочующими стадами колхозных оленей. Скалы, густые стланики сделали горы недоступными для каравана. Охотники при необходимости переваливают через хребет далеко западнее, пользуясь другими проходами. Сам же Улукиткан пересекал восточную часть хребта очень давно, примерно в восьмидесятых годах прошлого столетия, еще будучи мальчиком, и не помнит, где именно.

– Человек мало живет, но постоянно меняется: то маленький, то большой, то молодой, то старый, а скалы и горы долго живут и всегда одинаковые. Когда Становой пойдем, я буду кругом ходить, хорошо смотреть, примета искать, потом вспомню, где лежит проход, – говорит Улукиткан монотонно, но так убедительно, что мы невольно проникаемся уверенностью: проход будет найден.

Из разговора с проводниками мы уже примерно представляем себе район стыка трех хребтов, куда так нетерпеливо стремимся попасть. Нас ждет большой безлюдный край, густо изрезанный дикими ущельями, заросший непроходимым стлаником, с бурными речками. Там нет ни троп, ни дорог и мало проходов. А мы действительно запоздали. Теперь придется встретиться со множеством препятствий на пути. Будут наледи, пурга, лютый мороз… Словом, нам предстоит принять «боевое крещение», испытать на себе все прелести путешествия по Приохотскому краю в весеннее ненастье.

– Если сил хватит добраться до верховья Маи, тогда хорошо, там хуже не будет, – сказал Улукиткан подбадривающим тоном, выходя из палатки.

Была уже глубокая ночь. На землю падали пушистые хлопья снега. Порывы холодного ветра подхватывали их, кружили и снова бросали на землю. В палатке наш радист Геннадий монотонно стучал ключом, заканчивая передачу радиограмм.

Я лег, но долго не мог уснуть. Тревожно слушать, как злится вьюга, как стонет тайга и воет ветер по старым дуплам. И что-то чарующее есть в этих грозных звуках. Трудно представить себе горы, тайгу без бури, грозы, грохота обвалов, без шума водопадов, без звериного рева и гусиного крика в небе. Именно эти звуки подчеркивают мощь, красоту и дикость окружающей природы.

«Что нас ждет впереди?» – думал я, вслушиваясь в завывания ветра.

Утром Василий Николаевич проснулся раньше всех и взялся за приготовление завтрака.

Встали и мы с Геннадием.

Погода продолжала бесноваться. Гнулись ели, цепляясь кронами за корявые сучья тополей. Свистел ветер, унося в пространство потоки снежной пыли. Ничего вокруг не было видно.

Что делать? Ехать или дожидаться хорошей погоды?

В палатку просунулась голова Улукиткана:

– Худой погода, холодно.

– Как же быть?

– Николай ушел за оленями. Собирайтесь. Лучше в пургу ехать, чем по наледи. Так говорили еще наши старики. – И он, не заходя в палатку, исчез.

Мы быстро расправились с завтраком, упаковали постели, вещи и, как только пригнали оленей, сняли палатку. Все было готово, чтобы тронуться в путь.

Улукиткан вывел ездовую упряжку вперед, привязал к ней свою связку оленей и еще раз опытным взглядом окинул нарты.

С этого дня по молчаливому сговору мы признали его старшим среди нас.

…Мы пересекли неширокую полосу берегового леса, вышли на марь – безлесную, заболоченную низину, покрытую кочками, – и взяли направление на северо-восток. Впереди на лыжах Улукиткан. Он ведет оленей. Его сгорбленная фигура часто теряется за мутной завесой бурана.

Я позади всех. К моим нартам привязаны Бойка и Кучум. Они еще не привыкли к оленям, и нам приходилось держать их на привязи.

Уныло скрипели полозья, оставляя на затвердевшем снегу глубокий след тяжелых нарт. Горбились от натуги спины оленей.

Как хорошо, что человек приручил оленей. Без этого невозможна была бы жизнь людей в этом суровом и диком крае. Олень не только возит, он кормит, одевает, обувает северянина. Можно наверняка сказать, что нет вкуснее оленьего мяса и нет ничего легче и теплее одежды, сшитой из шкуры этого животного.

В отличие от собрата – благородного оленя – северный олень некрасив, приземист. У него слишком вытянутое туловище, короткие ноги, голова почти всегда опущена. Хотя рога и достигают иногда огромных размеров, они отнюдь не украшают его. Северный олень рожден суровой тундрой, и когда глядишь на него, то невольно перед глазами встают необозримые снежные равнины с низкорослой растительностью, блюдцами стылых озер, полярные ночи и затяжные бураны с их смертоносной стужей.

Северный олень отлично приспособлен к условиям скупой и холодной природы. Пищей ему служат едва заметные растения: ягель, чихрица и другие лишайники, мхи. Своим тонким чутьем он улавливает запах ягеля даже под глубоким снегом. Но в первой половине лета олень охотно питается зеленью: листьями кустарников, березок, ерников.

Мы медленно продвигаемся вперед, пробиваясь сквозь непогодь. Проводники изредка перебрасываются короткими фразами, после чего обычно караван сворачивает вправо или влево.

Удивительно, как старики угадывают направление! Ведь едем мы без всякой дороги, вокруг в белесой мгле ничего не видно. Но это, пожалуй, вовсе не волновало проводников. Они все чаще покрикивали на оленей и, казалось, все увереннее прокладывали путь.

Только к концу дня метель наконец стихла и сквозь поредевшие облака показались кусочки голубого неба.

Ночевать спустились к реке. Это была первая наша остановка, и мы с удовольствием принялись за устройство лагеря: утаптывали снег, выстилали «пол» хвоей, ставили палатки. Через час в нашем полотняном домике уже дымилась печь, и, готовя ужин, возле нее суетился Мищенко.

Олени разбрелись по краю мари. Одни из них, добираясь до корма, стали разгребать сильными ногами снег, другие передвигались по кромке леса, срывая лишайники, космами свисающие с еловых веток. Ну как не удивляться приспособленности этих животных! Посмотрите, как легко они бродят по глубокому снегу. Этому способствуют необыкновенно широкие копыта. Они у северного оленя почти вдвое больше, чем у любого другого вида оленей. Во

время бега копыта могут широко раздвигаться, увеличивая площадь опоры, и животное не проваливается глубоко даже в сухом, сыпучем снегу.

Вот один из крупных быков Улукиткана уже наелся ягеля и там же, в выбитой им яме, улегся отдыхать. Он не замерзнет: длинная шерсть с очень густым подшерстком служит ему надежной защитой от низкой температуры и холодных ветров.

Мои размышления неожиданно прервали собаки. Отпущенные на прогулку Бойка с Кучумом ворвались в стадо. Одно мгновенье – и я стал свидетелем, как мирно пасущиеся животные вдруг в панике бросились от них прочь. Какое незабываемое зрелище! Словно ветер, летели олени, закинув рога на спину и вытянув вперед свои длинные головы. Ноги едва касались земли, только снег вздымался брызгами во все стороны из-под копыт да густой пар, легким облаком вылетая из ноздрей, окутывал морды. Трудно представить себе более быстрое животное, нежели олень.

Из палаток выскочили люди, мы стали кричать на собак, грозиться, кто-то два раза выстрелил, и только после этого Бойка и Кучум остановились. Они вернулись в лагерь, не понимая, почему им не разрешили резвиться. Скоро успокоились и олени.

– Однако, мороз будет: много звезд на небе, все играют, – сказал Улукиткан, пролезая в нашу палатку.

За ним показался и Лиханов. Проводники уселись в дальнем углу, и Василий Николаевич стал угощать их чаем.

Старики обрадовались. Они, видно, любили побаловаться чайком. Пили медленно, громко втягивая через сжатые губы обжигающий, почти черный напиток.

– Спасибо, напился! – сказал наконец Улукиткан. – От крепкого чая, что от доброго слова, сердце мякнет.

Он стряхнул в чашку хлебные крошки, туда же вылил из блюдца недопитый чай, все перемешал и выпил.

Улукиткан интересовал меня все больше и больше. Да разве только меня! В облике этого старого эвенка было что-то неотразимо привлекательное. Особенно поражали его глаза. Серые, задумчивые, они смотрели на мир и людей удивительно ласково. И мне захотелось узнать, какой путь остался у него позади, какие удачи, разочарования шли по пятам этого восьмидесятилетнего старика и что помогло ему сохранить жизнерадостность.

Улукиткана не пришлось упрашивать. Вероятно, ему самому хотелось вспомнить далекое, очень далекое детство, годы скитаний по тайге, тропы, кочевья, родные речки, хребты, где прошла его жизнь. Он поправил под собою дошку, уселся поудобнее, и его густые брови сомкнулись в раздумье.

– Хорошо, – сказал он, поднимая голову. – Я расскажу вам, где родился, какой тропою шел, что видел в жизни, и вы догадаетесь, почему у Улукиткана стали кривые пальцы, плохо разгибается спина, много меток на голове…

С тех пор как я увидел первое солнце, много раз приходила и уходила зима, прилетали и отлетали птицы, зеленел и оголялся лес! За это время изменилась и жизнь эвенков. Плохой закон был раньше в тайге. Старики так думали: эскери дает человеку оленей, чтобы они его возили, кормили мясом, одевали в шкуры. Эскери посылает в его ловушку зверя, указывает, куда надо кочевать. Если эвенку удача была – считали, что ее послал эскери, а если горе в чум приходило – виноват хозяин. Худо тогда жили эвенки: ни чумов добрых у них не было, ни продуктов, ни снастей. Все хозяйство вела баба. Она и оленей пасла, и аргишила[5], и шкуры выделывала, дошки, штаны, унты шила, дрова припасала, обед варила, за детьми смотрела – кругом все баба. А мужик что? Только охоту знал да ругал жену, что плохо хозяйство ведет, – не торопясь рассказывал Улукиткан.

---

[5] *Аргишить* – кочевать (аргиш – кочевье).

– Когда бабе приходило время рожать, она делала себе в стороне от становища маленький чум, люди не должны были слышать, как ревет баба в маленьком чуме. Такой дурной обычай был. Трудно было тогда эвенку достать кусок материи. Мать вытирала ребенка сухой мелкой трухой от старого пня, обкладывала мхом, заворачивала в кабарожью шкурку и приносила в большой чум. Если на пупке долго не сохла кровь, прикладывали серу или присыпали золой из трубки. Крикливого ребенка купали в снегу, чтобы он лучше спал. В такое время родился и я. Это было после зимы, у белки уже появились щенки, и мать назвала меня Улукиткан – значит «бельчонок».

Жили на Альгоме, по ту сторону Станового. Лето, зиму – все время кочевали по тайге.

Ворон, где труп найдет, там и живет. Мы тоже раньше так: где отец зверя убьет, там и ставили свой чум. Только не всегда нам удача была. Другой раз долго не клали мяса в котел, лепешки не было, а масло и сахар совсем не знали. Даже удачливому охотнику жить было нелегко.

Отец слышал, что у лючи[6] есть белый камень: когда положишь его в рот, он тает, как снег, язык к губам липнет, как еловая сера, а слюна делается слаще березового сока. Отец видел у купца холодный огонь и рассказывал, что его можно долго в кармане носить, а когда он станет горячим, от него зажигается трубка, береста, дрова – так о спичках тогда говорили. Один раз он возил меня далеко в соседнее становище, чтобы показать зеркальце. Чудно было: всего с ладонь, а вмещает больше чума. Смотришь в него, а видишь все, что сзади тебя делается. Сосед шибко радовался: обманул купца – за два соболя выменял зеркальце! Так было, это правда, – вздохнул Улукиткан.

– Когда я научился сгонять ножом тонкую стружку с палки и сидеть на олене не привязанным к седлу, это было время ледохода[7], мы стали кочевать к Учурской часовне[8]. Хорошо аргишить на ярмарку, когда в турсуках – сумках много соболиных и беличьих шкурок! Радовались, все думали, какой покупка делать будем, – и то надо, и другое. Не было припаса, ружья доброго, муки, котла. Все хотели купить. Пушнины хватит, два года собирали! Приехали на ярмарку. Купцы-якуты добрыми кажутся – по короткому лаю собаку от лисы сразу не отличишь. Вином угощают, хорошо разговаривают, пушнину даром не берут – все меняют: за иголку – белку, за крест – колонка, за топор – соболя, за икону – доброго оленя. Им доход, эвенку диво. И оленям хорошо, возить в тайгу нечего!

Поп ходил по всем чумам, проверял: у кого нет креста – в прорубь таскал крестить, в холодную воду толкал. Эвенки ему стали выкуп носить: кто соболя, кто лису. От хороших подарков размяк поп, как снег от майского солнца. Не таскал в воду, крестил в чуме. Мне сказал: «Тебе имя Семен». Но мать говорила: «Какой ты Семен? Ты Улукиткан!»

Разошлась пушнина за вино, за зеркальца, за бисер. Ясак[9] уплатили, богу дали маленько – он тоже любил соболей – и в тайгу ушли, когда лиственница зеленеет[10]. Ушли легко. Только обидно было. Как так получилось? Будто все купец считал правильно, белки даром не брал, а турсуки наши остались пустыми. Мать шибко ругала отца, почему ни муки, ни котла, ни куска материи не брал. Он говорил: «Ничего, бог лючи нынче обещает хороший промысел, опять приедем ярмарка, купим». Да только не так случилось. Если кремня нет, сколько ни бей кресалом по языку, огня не добудешь. Обманул бог, тайга сильнее его…

---

[6] *Лючи* – русский.

[7] *Время ледохода* — май.

[8] Учурская часовня была выстроена еще в прошлом столетии на реке Учур. Среди эвенков насаждали православие. Близ часовни ежегодно открывалась ярмарка. Из далеких и глухих мест приезжали эвенки, чтобы продать купцам пушнину, свои изделия и купить припасы.

[9] *Ясак* – натуральный налог (пушниной).

[10] Лиственница зеленеет в июне.

У старика оборвался голос низкой, печальной нотой. Наступила тишина. Кто-то поправил свечу. Василий Николаевич подбросил в печку дров. Из-за ближнего леса палатку осветила луна.

Рассказчик смочил горло холодным чаем, поправил под собой дошку и заговорил еще медленнее и раздумчивей. Он рассказал, что в тот год по тайге прошел страшный мор. У чумов валялись трупы оленей, погибли звери и птицы. Леса на огромном пространстве оказались опустошенными. Чтобы спастись от гибели, эвенки бежали в дальние районы. Но в пути падали последние олени, умирали люди, жирело воронье.

Родители Улукиткана со всей семьей уходили за Становой. От стариков они слышали, что за хребтом есть река Эникан[11], богатая рыбой и зверем. Нужно было перевалить через большие горы. Но как найти перевал? Все проходы завалены россыпями, сдавлены скалами и крепко заплетены стлаником. Шли наугад, питались травой, корнями.

И тогда наступило самое страшное. Отец заболел и остался на реке Мулам, где пал последний олень. Семья ушла, не дождавшись развязки. Старику дали небольшой кусок самула[12], половину сыромятной узды от павшего оленя да на три дня дров для костра. С отцом была старая собака. Что сталось с ними, никто не узнал. На второй день на поляне, где оставили больного отца, уже не дымился костер. Не догнала семью и собака. А Улукиткан с матерью и сестрой после долгих поисков все же нашли перевал.

– Тогда только я и переходил Становой, это было шибко давно, – продолжал рассказывать Улукиткан, напрягая свою память. – Когда мы вышли на хребет, сохатый терял жир[13]. Там мы нашли много мангесун[14], хорошо кушали. Только это и помню, а где лежал перевал, совсем забыл. Не думал остаться живым, смерть так держала меня. – И он, растопырив руки, словно коршун крылья, впился костлявыми пальцами в свои сухие бока. – Так крепко! Она хотела меня кончать, а я не хотел, ходил дальше. Спустились мы к Эникану – увидели след кабарги, сделали там балаган и начали опять жить…

Старик заметно уставал. Голос его все чаще обрывался, и тогда он погружался в глубокое раздумье. Но, передохнув, он вел свой рассказ дальше.

Горе, перенесенное эвенкийской семьей через Становой, еще долго продолжало жить рядом с нею. Не было оленей, одежды, припасов, даже куска ремня, из которого можно было бы сделать тетиву для лука-самострела. Это была трудная борьба за жизнь, за кусок мяса и шкуру. В лесу появились кабарожьи ловушки, плашки и пасти[15] на зайцев. В реке семья добывала рыбу. Но Улукиткан был еще слишком молод, чтобы противостоять нужде. Он не выдержал и ушел с семьей в батраки к кулаку Сафронову. А стадо оленей Сафронова занимало тогда все верховье Маи с ее притоками Чайдах, Кукур и Кунь-Маньё.

– Однажды на Большом Чайдахе, – продолжал старик после очередной паузы, – я нашел след, долго смотрел и думал: «Это какой люди тут ходи? Раньше такой след не видел». Мать сказала: «Тут лючи был, его носит такой большой олочи[16], тяжелый, как зимняя котомка». Через день лючи пришел в наш чум с проводником. «Ты что так смотришь на меня?» – спросил он. «Моя раньше лючи не видел». – «Понравился?» – «Нет, – говорю. – Твое лицо совсем другое, узкое, все равно что у лисы, нос острый, однако, шибко мерзнет зимой, а глаза круглые, как у филина. Ты, должно, плохо днем видишь. Твоя люди некрасивый».

---

[11] *Эникан* – мать, так называлась у эвенков тогда Зея.

[12] *Самул* – сухая кровь.

[13] Сохатый теряет жир во второй половине сентября.

[14] *Мангесун* – лук.

[15] *Пасть* – ловушка из бревен.

[16] *Олочи* – легкая летняя обувь из лосины.

Лючи смеялся. Он хороший был человек. Его палатка долго стояла рядом с нашим чумом. Я водил его к зеленой скале за Чайдах, там он смотрел всякий разный камень, потом сказал, что там колчедан. Лючи говорил мне, что далеко внизу есть большой стойбище, там люди золото копают, шибко звал меня туда. Да как ходить без своих оленей? Бедняку и хорошая тропа – хуже болота.

Три года пасли мы оленей. Стадо разрослось, работы было много. Но умерла мать. Тогда говорили, что пропадает только тело, а душа кочует в другой мир и там ждет: когда тела не станет, она вернется на землю и вселится в бальдымакту[17]. В те времена покойника клали в долбленое корыто и поднимали высоко на дерево. Люди не должны были оставаться жить в таких местах – нельзя беспокоить покойника. Мы с сестрой собрали оленей и ушли с ними к хозяину Сафронову. «Я больше работать не могу. Нас осталось двое… Стадо большое, силы не хватает, давай расчет», – сказал я. «Какой тебе расчет? Будем стадо считать, потом посмотрим, кто кому должен». Считали. Он говорит: «Тебе за работу надо отдать тридцать оленей. Верно?» – «Верно». – «Ты потерял моих пятьдесят; верни двадцать или отработай». – «Как так? Стадо наполовину больше стало, почему обманываешь?» – «Мы, – сказал Сафронов, – не договаривались платить в счет молодой олень».

Долго спорили, напрасно пальмой[18] воду рубили. Волк от голоду воет, а кулак – от жадности. Я говорил ему: «Твой жирный брюхо много чужой олень лежит, клади и мои». На двадцать олень давал ему расписку и ушел…

– Какую же ты мог дать расписку, если был неграмотный? – перебил его Мищенко.

– Эвенкийский расписка была другая, деревянная. Так делали ее. – И, вынув нож, Улукиткан стал выстругивать четырехгранную палочку.

Долговой документ – эвенкийская расписка – выстругивался из крепко прямослойного дерева квадратной формы, длиной примерно в десять – двадцать сантиметров, в зависимости от величины долга. На одной стороне палочки делалось столько зазубрин, сколько, скажем, оленей давалось в долг. На нижней стороне грани, под зубцами, вырезались с одного конца олень, с другого – клеймо должника: крестик, веточка, рог или след. Затем палочку раскалывали так, чтобы зубцы, клеймо и олень разделились примерно пополам. Одна половина оставалась у заимодавца, другая – у должника. Когда же происходили расчеты, половинки соединялись и срезалось столько зазубрин, сколько возвращалось оленей или за сколько оленей уплачивалось.

Эта деревянная расписка кажется наивной, но она лишний раз подтверждает житейскую честность лесных кочевников.

Улукиткан унес от Сафронова половину расписки с двадцатью зубцами. Долго скитался он с сестрой по чужим, незнакомым горам. Ветер показывал путь, роса смывала их след. Лишь на реке Джегорма они встретили первую семью кочующих эвенков. Им отвели место в чуме, в общий котел положили на их долю мяса, дали шкуру, чтобы починить олочи, – кажется, о большем тогда и не мечтал эвенк. Сестра вышла замуж и осталась в этой семье. Улукиткан же решил вернуться за хребет к родным местам, на реку Альгама, где провел детство и где, казалось ему, природа щедрее, чем на Зее.

– Да только и там не нашел тогда счастья, – заключил Улукиткан.

В палатке стало тихо. В печке слегка потрескивали дрова, да над лесом изредка ухал филин. В темном углу сидел старик, сгорбленный, совсем маленький, погруженный в свои думы. Видно, не забыть ему этого далекого прошлого: обид, унижений, неудач.

– Однако, довольно, еще много ночей впереди, – сказал Улукиткан, поднося к губам кружку с холодным чаем.

---

[17] *Бальдымакта* – новорожденный.

[18] *Пальма* – длинный нож с метровой деревянной рукояткой, заменяющий топор.

Пожалуй, тревога наших проводников относительно наледей напрасна. Речной лед, по которому мы едем, слегка запорошен сухим снегом, нарты скользят легко, и лучшей дороги не придумаешь. Да и погода нам благоприятствует: тихая, солнечная.

К концу третьего дня мы достигли устья Лучи – левобережного притока Купури. Дорогой, кроме береговых возвышенностей, мы ничего не видели и не имели представления о местности, которую пересекали. Продолжать путь вслепую не хотелось, поэтому вечером, как только все хлопоты по устройству лагеря были закончены, я поднялся на ближнюю сопку, чтобы осмотреться. До темноты оставалось часа полтора.

На юг от меня, за реками Купури и Лучи, раскинулась гористая местность с широкими падями и пологими, однообразными сопками, перемежающимися с низкими седловинами. Склоны покрыты редким лиственничным лесом, и только далеко, километров за двадцать от нашего лагеря, на Аргинской водораздельной гриве, виден хвойный лес, вероятно сосновый. Горизонт же на северо-западе заполнен высокими гольцами, прочесанными последними лучами заходящего солнца. То, видимо, Окононский голец, им заканчивается один из мощных южных отрогов Станового хребта.

Как хорошо здесь! Как далеко все видно и привольно дышится! Затухает бледная заря. Одинокое облачко, словно волшебный корабль, медленно плывет по небу…

Неохота уходить отсюда!

И вдруг какой-то протяжный звук, напоминающий флейту, доносится из голубого лога. Я прислушиваюсь и неожиданно улавливаю такой же звук уже с противоположной стороны. Но это не запоздалое эхо и не крик филина, предупреждающий о наступлении ночи. В звуках что-то тоскливое, отягощенное безнадежностью. Так и не разгадав, что это, я вернулся в лагерь.

Вечерами мы обычно собирались в нашей палатке и подолгу пили чай. Едва я разделся и присел, как послышалось повизгивание собак, привязанных к нартам. Коротко тявкнул Кучум. Проводники встревожились.

– Кто-то чужой близко ходит, – сказал Улукиткан, поспешно натягивая на себя дошку.

Мы вышли из палатки. С нагретых мест соскочили собаки. Они стояли во весь рост, всматриваясь в темноту и настороженно шевеля ушами.

– Отвязать надо, – сказал я.

Улукиткан схватил меня за руку:

– Пускать нельзя, подожди. Надо узнать, кто ходит…

Вдруг из темноты послышался отвратительный вой волка. Он разросся в целую гамму какого-то бессильного отчаяния и замер в морозной тишине высокой, жалобной нотой. Эхо внизу повторило голодную песню. Не успело оно смолкнуть, как до слуха донесся шум. Он ураганом несся на нас из леса. Вот мелькнул один олень, второй… Мимо бежало обезумевшее от страха стадо.

Василий Николаевич и Геннадий бросились наперерез, пытаясь задержать оленей; следом за ними, спотыкаясь, бежал с поднятым кулаком Николай Федорович. А шум все удалялся и вскоре заглох далеко за лесом.

– Эко беда, – говорит Улукиткан, неодобрительно покачивая головой. – Какой худой место остановились ночевать…

И тут я вспомнил о странном звуке:

– Я, кажется, слышал на сопке, как выли волки, я не догадался…

– Почему не сказал? Надо иметь привычка: что не понимаешь, спрашивай. Мы бы олень караулили, – упрекнул меня старик, всматриваясь в темноту.

Я стал разжигать костер. Бойка и Кучум все еще тянули нас в ту сторону, откуда донесся вой. Они визжали и оглядывались на нас, как бы говоря: неужели вы не слышите, что там делается?

– Давай отпустим собак, – настаивал я.

– Нельзя, – забеспокоился старик. – Они уйдут за стадо, а пуганые олени собаку от волка не отличают, далеко убегут.

Из-за макушек елей выглянула луна, и тотчас заметно посветлело. Бойка и Кучум, видимо, доверились тишине, улеглись спать.

Наши вернулись без оленей.

– Что делать будем? – спросил я Улукиткана.

– Немножко спать, потом стадо догонять пойдем. Олень быстрый, далеко уйдет, но след от него не отстанет.

Пока ходили, в палатке потухла печь. Мищенко подбросил стружек, сушника, и огонь ожил.

Мы долго не спали. Улукиткан и Лиханов сильно встревожились. Шутка ли – убежало все стадо! Удастся ли собрать его? И сколько оленей зарезали волки?.. А может быть, они еще продолжают преследовать стадо? Тогда не миновать большой беды.

– У-у-у, проклятый, шибко хитрый хищник! Они, однако, идут нашим следом… – И старик долго рассказывал нам про жизнь волков, которые не раз приносили жителям тайги большие несчастья.

Плохо волку зимой – нечем поживиться, а голод мучает. Жизнь серого бродяги с самого рождения безрадостна – словом, волчья жизнь! Волчица не балует детей лаской. Как только у щенков прорезаются глаза, она начинает приучать их к жестокой борьбе за существование. Горе волчонку, если он в драке завизжит от боли или проявит слабость! Мать безжалостна к нему. Она будто понимает, что только сильный и жестокий в своих стремлениях зверь способен выжить зимой в тайге. Может, потому волк с самого детства и бывает бешеным в злобе, доброе же чувство никогда не проявляется у него даже к собратьям. Достаточно одному из них пораниться или заболеть, как его свои же прикончат и съедят.

Ляжет на землю зима, заиграют метели, и с ними наступит голодная пора. Зимой волку невозможно питаться в одиночку. Не взять ему сохатого, да и зайца трудно загонять одному. Звери стаями рыщут по тайге, наводя страх на все живое.

В волке постоянно борются жадность и осторожность. Посмотрите, как осторожно идут волки вдоль опушки леса. Стаю ведет матерый волчище против ветра – так он дальше чует добычу или скорее разгадает опасность. Все идут строго одним следом, и трудно угадать, сколько же их прошло – три или пятнадцать: так аккуратно каждый ступает в след впереди идущего собрата. Поступь у всех бесшумная, глаза жадно шарят вокруг, задерживаясь на подозрительных предметах, а уши подаются вперед, выворачиваются, настороженно замирают, улавливая малейшие звуки. Останавливаясь, зверь пружинит ноги, готовые при малейшей опасности отбросить его в сторону или нести вдогонку за жертвой.

Копытного зверя волки гоняют сообща, не торопясь. Пугнут – и рысцой бегут следом. Снова пугнут. И так сутки, двое не дают жертве отдохнуть и покормиться. Чем сильнее животное поддается страху, тем быстрее изматывается и напрасно ищет спасения в бегстве.

Я наблюдал случай, когда стая волков зарезала крупного сохатого – быка.

Это было в марте. В тайге лежал снег. Девять волков бежали большим полукругом, тесня сохатого к реке. Они хорошо знали: на гладком речном льду копытное животное не способно сопротивляться. Это понимал и сам лось, все время старавшийся прорваться к отрогам. Но он уже отяжелел, сузились его прыжки, все чаще стал он задевать ногами за колодник[19]. Препятствия, которые он час назад легко преодолевал одним прыжком, стали недоступными. Завилял след лося между валежником – признак полного упадка сил. Несколько волков уже прорвалось вперед, и лось внезапно оборвал свой бег, засадив глубоко в снегу все четыре ноги.

---

[19] *Колодник* – обломки упавших деревьев.

Замкнутый, осторожный и трусливый, волк в минуту решающей схватки дает полную волю своему бешенству и злобе, делается яростным и дерзким.

У лося еще сохранился какой-то скрытый запас сил для сопротивления. Огромным прыжком он рванулся к отрогу, и в это мгновение повисла на его груди тяжелая туша волка, брызнула кровь. Удар передней ноги – и хищник полетел мертвым комом через колоду. Меж тем второй уже сидел на крестце, а третий впился клыками в брюхо. Сохатый упал, но мгновенно вскочил, стряхнул с себя одного волка. Удар задней ногой – и второй волк упал в чащу с перебитым хребтом.

Стая, предчувствуя близость развязки, свирепела. Сгустки крови на снегу еще больше ожесточили ее.

Лесной великан окончательно выбился из сил, затуманились его глаза. Поблизости не было ни толстого дерева, ни вывернутого корня, чтобы прижать уязвимый зад, чаще всего подвергавшийся нападению, и лось, сам того не замечая, стал отступать к реке.

Но как только его задние ноги коснулись скользкого льда, лось, словно ужаленный, бросился вперед, на волков. Теперь уже всюду смерть. Завязалась последняя схватка. Взбитые ямы, сломанные деревья, разбросанная галька свидетельствовали о страшной борьбе, которую выдержал лось, прежде чем отступить на предательский лед…

Волки могут длительное время следовать за кочующим стадом домашних оленей. Осторожность никогда не покидает их. В ожидании удобного момента для нападения они способны проявлять удивительное равнодушие к голоду. Задремлет пастух, не дождавшись рассвета, и волки близко подберутся к отдыхающим оленям. Взметнется стадо, да поздно. Падают олени, обливая снег кровью, и тогда нет предела жадности хищника.

Иногда, убив несколько десятков животных, стая уходит, не тронув ни одного трупа, будто все это делалось ради какой-то скрытой мести человеку…

Рано утром от палатки проводников в тайгу убежал лыжный след. Он отсек полукругом лог, где вечером паслись олени, прихватил километра два реки Купури ниже лагеря и вернулся к палатке. Мы уже встали и были готовы идти на розыски.

– Проклятый волки, два оленя кончал! – гневно сказал Улукиткан, сбрасывая лыжи и стирая варежкой с лица пот. – Они, однако, идут нашим следом давно: надо хорошо пугать их, иначе не отстанут, еще зарежут олень.

Старик торопил всех и сам спешил. Я с ним пошел к убитым оленям, а остальные отправились следом за убежавшим стадом.

Мы пробирались к вершине лога.

Олени лежали рядом, друг возле друга, недалеко от промоины. У рваных ран ноздреватой пеной застыла кровь. Оба трупа оказались не тронутыми волками – видимо, что-то помешало их пиру.

– А нельзя ли устроить ночную засаду? – спросил я.

– Волки голодный, однако, далеко не ушли. Может, придут, надо караулить, – согласился старик.

Только к вечеру собрали стадо. Но и это было удачей. Пожалуй, ни одно животное так не боится волков, как олени. Страх делает их совершенно неспособными к сопротивлению, и они ищут спасения лишь в бегстве.

В пятнадцатиградусный мороз трудно просидеть ночь на открытом воздухе, да еще без движения. Отправляясь в засаду, старик заботливо завернул ноги в теплую хаикту[20], надел меховые чулки и унты, а поверх натянул мягкие кабарожьи наколенники. О ногах позаботился, а грудь оставил открытой, даже рубашку не вобрал в штаны.

– Куда же ты идешь так? Замерзнешь! – запротестовал я.

---

[20] *Хаикта* – волокна жимолости.

Улукиткан вскинул на меня удивленные глаза:

– В мороз ноги надо хорошо кутать, а грудь сердце греет.

Он перехватил живот вязками дошки, затолкал за пазуху варежки, спички, трубку, бересту, и мы покинули палатку.

Промоина оказалась хорошим укрытием для засады. Наше присутствие скрадывали заиндевевшие кусты, нам же в просветы между ветками были хорошо видны трупы животных и вершина широкого лога.

– Ты будешь дежурить с вечера или под утро? – спросил я старика, зная, что одному высидеть ночь тяжело.

– Нет, моя плохо видит, стрелять ночью не могу.

– Зачем же шел?

– Тебе скучно не будет.

Улукиткан уселся на шкуру, подобрал под себя ноги и, воткнув нос в варежку, задремал. Я дежурил, прильнув к просвету.

Время тянется медленно. Гаснет закат. Уплывают в темень нерасчесанные вершины лиственниц и мутные валы далеких гор. В ушах звон от морозной тишины. Мысли рвутся, расплываются… А волки не идут. Да и придут ли? Хочется размять уставшие ноги, а нельзя: зверь далеко учует шорох.

«Ху-ху-ху!» – упал сверху звук.

Я вздрогнул. Над логом пролетела сова, лениво разгребая крыльями воздух. Следом прошумел ветерок.

Пробудившийся старик, откинув голову, долго смотрит на звездное небо. Затем он бесшумно снимает рукавицы, прижимает к губам большие пальцы… И вдруг тишину прорезал протяжный вой. Его печально повторила тайга, и где-то далеко в ущелье, словно негодуя, пробормотали скалы. Улукиткан повторил волчью песню и настороженно прислушался к наступившей тишине.

Я был поражен, с каким искусством он копировал вой голодного волка.

Прошло минуты три томительного ожидания. И вот издалека случайный ветерок принес ответный протяжный вой.

– Хорошо смотри, обязательно придут, – шепчет мне старик. – Они думают, чужой волк пришел кушать их добычу: слышишь, как поет, шибко серчает!

Мой слух слишком неопытен, чтобы определить по вою настроение волка, но Улукиткан, видимо, обладает тонким восприятием, и тут, в тайге, нет для него тайн.

Ждем долго. Запоздалая луна осветила окрестность холодными лучами. Сон наваливается свинцовой тяжестью, голова падает…

Снова волчий вой разорвал тишину и расползся по морозной дали. Острый озноб пробежал по телу. Не поворачиваясь, я покосился на срез бугра, откуда донесся этот отвратительный звук. Там никого не видно.

Опять томительное ожидание. Наконец справа над логом появилась точка, но исчезла раньше, чем можно было рассмотреть ее.

Такая же точка появилась и исчезла слева, на голом склоне бугра. Видимо, звери разведывали местность. У падали они очень осторожны, даже голод бессилен заставить их торопиться.

Но вот до слуха донесся осторожный шорох. Из тени лиственницы выступил волк.

Освещенный луною, зверь долго стоит один вполоборота ко мне. Его морда обращена в глубину ущелья, где расположен наш лагерь. Затем волк медленно повернул голову в противоположную сторону и, не взглянув на трупы, посмотрел через меня куда-то дальше. Бросив последний взгляд в пространство, он вдруг вытянулся и, слегка приподняв морду, завыл злобно и тоскливо.

Что это, тревога?.. Нет, он, кажется, зовет на пир свою стаю.

Еще минута – и из листвягов выступили, как тени, один за другим пять волков. Они выстроились по следу переднего и, поворачивая головы, осматривали лог…

Ничто не выдает наше присутствие.

Убедившись, что им не угрожает опасность, волки двинулись вперед, бесшумно ступая след в след. Остановятся и, поворачивая головы то в одну, то в другую сторону, обнюхивают воздух, прислушиваются. Они ничему не доверяют: ни ночи, ни кустам, ни даже трупам оленей. Все чаще смотрят вниз, где лагерь. Несколько бесшумных шагов – и снова остановка. Какая дьявольская осторожность!

А голод уже не в силах таиться, берет верх над зверем.

Вижу, матерый волк несколькими прыжками подскочил к трупу, но вдруг пугливо замер, повернув лобастую морду в мою сторону.

Заметил! Пора…

Вспыхнул огонек. Хлестнул раскатистый выстрел и эхом пронесся по логу.

Волк высоко подпрыгнул и в бессильной злобе схватил окровавленной пастью снег. Остальные бросились к листвягам. Я послал им вслед еще два патрона.

– Хорошо, шибко хорошо стреляй! – закричал старик и полез на борт промоины. – У, проклятый, кушай больше не хочешь?

Выстрел поднял на ноги жителей лагеря, там вспыхнул костер. Мы утащили волка к палаткам. Больше всех были удивлены собаки. Они впервые видели убитого волка, морщили носы, проявляя сдержанное пренебрежение.

Рано утром мы покинули негостеприимную стоянку. На утоптанном снегу остались брошенные нарты от погибших оленей и туша ободранного волка.

Наш маршрут теперь пойдет на север, по ущелью Купури.

Дни стояли солнечные, теплые. Ехали быстро. Весело перекликались бубенцы на передних оленях.

Ущелье все больше сужалось. Все ближе подступали к нему высокие горы, сбрасывая на дно лощин потоки камней и перегораживая ими реку. Мы пробирались, как в лабиринте, меж высоких стен. Хотя солнце и поднялось, но ущелье заполнял сумрак, кое-где прорезаемый полосами яркого света, прорвавшегося сверху. От россыпей, вечно холодных и угрюмых, веяло промозглой сыростью. Неприветливо в этой каменной щели. Хорошо еще, что попадался лес и немного скрашивал мрачный пейзаж.

– Мо-од!.. Мо-од!.. – часто слышался подбадривающий окрик Улукиткана.

Олени, стуча копытами, легко бежали по льду, запорошенному снегом.

На второй день, когда солнце подкрадывалось к полдню, за очередным поворотом показался темный, как вечернее небо, лед, перехвативший бугром ущелье. Олени Улукиткана попытались выскочить наверх, но не удержались на крутом склоне и стали сползать. Они путались в упряжках, падали, вскакивали, бились головами об лед. Следом за ними скатывался и сам старик. Он быстро перебирал ногами, что-то кричал и беспомощно махал руками.

Мы бросились на помощь.

Темный лед тянется и дальше за поворотом. Он почти прозрачный и такой гладкий, будто его поверхности коснулась рука полировщика. Это наледь, но уже замерзшая. Ее выпучило буграми, порвало. Местами образовались глубокие трещины. Оленям по ней не пробраться, а обойти негде: справа – россыпь, слева – густой ельник, сбегающий к наледи по крутому склону.

Мищенко отправился вперед искать проход, а мы общими силами поднимаем нарты на ледяную террасу и волоком вытаскиваем туда же оленей. Они совершенно беспомощны на льду.

– Нужно торопиться: вода идет, может затопить! – издали кричит Мищенко.

– Плохо, если вода. Очень плохо! – забеспокоился старик. – Как пойдем?

У всех на лицах растерянность.

«Кажется, начинается то самое, чего мы ожидали и боялись», – подумал я.

Перебираемся к ельнику и решаем прорубить в нем проход. Дружно стучат топоры. Узкая просека, обходя валежник, камни, петляет по темной чаще леса. На просеке лежит метровый снег, сыпучий, как песок. Почти три часа потратили на прокладку дороги.

Вернувшись к оленям, наскоро пьем чай, увязываем покрепче груз и трогаемся. Впереди на лыжах идет Улукиткан, ведя на длинном ремне пару лучших оленей, запряженных в порожнюю нарту, затем – нарты с легким грузом, потом и остальные.

– Ую-ю… ую-ю… – беспрерывно слышится крик Улукиткана.

Вся тяжесть прокладки дороги ложится на переднюю пару оленей. Они по брюхо грузнут в снегу, продвигаются прыжками, сбивают друг друга, падают.

Беспрерывно слышится крик людей:

– Стой!.. Стой!..

То одни, то другие нарты переворачиваются на косогоре, цепляются за колодник, пни. Часто рвутся ремни. Идем все медленнее. Олени дышат тяжело. Падая, они уже не встают без понуканий.

Вечереет. Мороз сушит слегка размякший за день снег. Из щелей несет застойной сыростью. Стайки синиц торопливо летят в боковое ущелье – видно, на ночевку.

Мы на краю просеки. Впереди по льду ползет кисельной гущей снежница. Улукиткан устало опирается на посох, его глаза пытливо обшаривают ущелье.

– Сколько ни стой, наледь назад не пойдет, – говорит он и начинает тормошить оленей, которые вповалку лежат на снегу.

При взгляде на животных сжимается сердце: не верится, что они еще способны продолжать путь. Устали и люди, но задерживаться нельзя. Мы покидаем ельник.

«Что ждет нас за следующим поворотом? Где кончается наледь? Будет ли у нас сегодня ночевка?» – эти мысли беспокоят меня. Мы должны идти вперед, навстречу препятствиям – и с каждым днем их будет все больше и больше. Любой ценой нам нужно добраться до верховья Маи и разыскать там подразделение Лебедева, уехавшее на месяц раньше.

Олени, низко опустив головы, осторожно шлепают ногами по холодной воде. Скрипят размокшие лямки, шуршат полозья, прорезая снежницу. Нарты кренятся, исчезают в ямах, как лодка в волнах. Вода захлестывает груз, затягивает ледяной коркой ящики, тюки.

Идем очень медленно и тяжело. Луна запаздывает, в ущелье темно – ни гор, ни берегов не видно, будто все провалилось и осталась только почерневшая наледь.

Олени все чаще останавливаются передохнуть, но проводники энергичным криком заставляют уставших животных тянуть нарты дальше. У меня промокли унты, ноги мерзнут, встречный ветер обжигает лицо, нет сил терпеть, а конца пути так и не видно.

Но вот впереди посветлело. Между расступившимися отрогами обозначилась долина, заросшая лесом. Тут-то и закончилась наледь, вытекавшая из боковой лощины.

Мы выезжаем на сухой лед, радуемся – теперь, кажется, можно отдохнуть и погреться. Обоз останавливается на краю леса, в русле реки.

Распряженные олени не идут кормиться, они ложатся на лед. Улукиткан ласковым голосом поднимает их и угоняет в темноту.

Мы разжигаем костер, утаптываем снег, ставим палатки. Хочется скорее напиться чаю, забраться в спальный мешок и уснуть. Каким сладостным бывает сон после такого физического напряжения!

Василий Николаевич Мищенко еще долго хлопочет. Он сделал подстилку собакам, настругал щепок, чтобы утром разжечь огонь, нарубил на завтрак мяса.

Какие-то неясные звуки доносятся из палатки проводников. Но скоро все стихает. Крепко спит тайга. Сонно мигают звезды.

Меня разбудил вой Бойки. И тотчас раздался голос Василия Николаевича:

– Поднимайтесь, вода!..

Вскакиваем. Геннадий зажигает свечку. Видим – снег в палатке потемнел, под печкой течет ручей. Быстро одеваемся, свертываем постели, собираем вещи. Василий Николаевич уже рубит лес.

– Нарты пропадай! – кричит Улукиткан, и слышно, как он чавкает ногами по размокшему снегу, кого-то ругает на своем языке.

За горами сочится рассвет. Густая наледь, прорвавшаяся по Купуринскому ущелью, грозной лавиной ползет через лагерь, прикрывая правым крылом боковое ущелье и отрезая нам путь к береговым возвышенностям. Олени остались где-то на противоположном берегу. Привязанные к кустам собаки визжат, взывая о помощи. Геннадий держит в руках батареи от рации, не зная, куда их положить, – кругом вода.

Мы с Лихановым бросаемся на помощь Василию Николаевичу. Нужно немедленно спасать груз, иначе образовавшийся возле нас затор прорвется и унесет его вместе с нартами. Но вода уже так поднялась, что заливает за голенища сапог. Ноги коченеют. Делаем настил на четырех пнях и сообща перетаскиваем на него палатки, постели, собак.

…Уже день. Всех нас приютил настил. На веревке, протянутой над нами, висят мокрые постели, портянки, одежда. Груз свален горой. Василий Николаевич помешивает варево в котле, отбрасывая в воду накипь. Геннадий сушится. Он сидит в теплом белье, вытянув к печке руки с мокрыми штанами. Его голова беспомощно клонится на грудь, штаны горят, но руки, словно закоченевшие, продолжают держать их возле печки.

– Горишь! – кричит Мищенко.

Геннадий пробуждается, тычет штанину в воду меж бревен и засыпает.

Старики пьют чай. У каждого из них эмалированный чайник. Заваривают крепко, дочерна, и пьют только свежий.

Ко мне подошла Бойка.

– Что, собака, жаловаться пришла? Или непогоду чуешь?

Умное животное ластится и печальными глазами смотрит на меня.

Наледь пухнет и жидким тестом расползается по ущелью.

На крутом правобережном склоне пасутся олени. Куда-то на кормежку летят стайки мелких птиц.

– Я думаю, наше дело хорошо, – говорит Улукиткан, – вода близко, мясо варим, чай пьем, работа нет, все равно что бурундук в норе, – громко смеется.

Он за свою долгую жизнь, вероятно, не раз отсиживался в наледи, боролся с пургой и попадал в более сложную обстановку. Жизнь приучила его ничему не удивляться.

…День проходит удивительно скучно.

Наконец солнце падает за высокий хребет. Пламень в печке перебирает сушник. Каждый погружен в свои думы. Тоскливо, оттого что ограничены движения, мысли прикованы к этой проклятой наледи, преградившей нам путь.

По ущелью разливается густой сумрак, окутывая осыпающиеся скалы седой дымкой. Одиноким огоньком загорелась на юге звезда. Потянула холодная низовка. Ночь прикрыла ущелье. Мы сидим вокруг накалившейся докрасна печки.

Улукиткан затянул жалобную эвенкийскую песню. Ему, видно, невмоготу томительное молчание, и он тянет свою песню долго, однообразно, на одной ноте, перебирая высохшими губами непонятные нам слова.

– О чем ты поешь, Улукиткан? – спрашиваю его.

– Эко не знаешь! Эвенкийской песни постоянный слова нету, каждый раз новый. Что сердце чувствует, что глаз видит, что ухо слышит, о том поет.

Укладываемся спать. Проводники располагаются возле печки, Мищенко и Геннадий зарываются между тюками, а я забираюсь в спальный мешок и, скорчившись между собаками и крайними бревнами настила, пытаюсь, но не могу уснуть.

На голову текут бледные лучи звезд. Звезд становится все больше, они горят все ярче, словно торопятся воспользоваться темнотой до появления луны. Черные силуэты скал, похожие на древних старцев, склонились над нашей стоянкой. Все сковано холодным дыханием северной ночи. Тихо. Только наледь бурчит, лениво переваливаясь по колоднику, да в лесу рождаются глухие стоны, и тогда кажется, что кто-то бесшумно бродит возле настила.

Утром всех нас будит Улукиткан:

– Наледь кончилась, олень сам сюда идет.

Я пока ничего не вижу, но слух улавливает мелодичные звуки, просачивающиеся сквозь лес. Это бубенцы на оленях мирно перекликаются в утренней тишине.

Вода где-то выше нашей стоянки промыла проход и ушла в русло, оставив после себя нетолстую корку ноздреватого льда.

Один за другим появляются олени. Улукиткан достает из потки замшевую сумочку величиной с варежку, с прикрепленными по краям когтями медведя, рыси и белохвостого орлана. Он трясет ею в воздухе, и когти, ударяясь друг о дружку, издают дребезжащий звук. Услышав его, животные бросаются к настилу, лезут наверх, вытягивают черноглазые морды. Старик щепотками достает из сумочки соль, кладет под губу каждому оленю и, улыбаясь, что-то шепотом рассказывает им на своем языке.

Василий Николаевич возится у печки – готовит завтрак. Остальные берутся за топоры, вырубают из-подо льда нарты, очищают полозья и укладывают груз. У всех одно желание: скорее бы вырваться из этой западни!

Через два часа мы готовы продолжать путь. Улукиткан по-хозяйски проверяет упряжки на оленях и грустным взглядом осматривает ущелье, словно впереди, за крутым поворотом, нас ожидает еще большая неприятность.

– Однако, надо скоро ходи, сколько сила олень хватит: близко корма нет, – говорит старик, выводя пару оленей.

За ними выстраиваются остальные. На месте стоянки, среди заиндевевших елей и скал, остаются настил да надпись на свежем пне о нашей вынужденной стоянке.

Олени дружно бегут вперед, и снова мы слышим подбадривающий голос Улукиткана:

– Мод… мод… мод…

Наш путь, как и два дня назад, идет по дну Купуринского ущелья, сдавленного цепью полуразрушенных гор. Уж очень мертво и тесно в этой щели! Но скоро нагрянут потоки горных вод, взревут пробудившиеся пороги, обдавая густой пеной валуны и черные скалы, еще неприветливей станет в ущелье от несмолкаемого рева разбушевавшейся реки. Но сейчас здесь спокойно. Весело заливаются бубенцы на передних упряжках. Дружно стучат копытами олени. Поют полозья. Кажется, ничто не омрачает сегодняшний день.

Улукиткан, однако, с беспокойством поглядывает на горы и все настойчивее поторапливает оленей. Когда животные, устав, замедляют ход, он соскакивает с нарт и бежит рядом с ними, мелко перебирая ногами по льду. «Надо скоро ходи, сколько сила олень хватит», – вспоминаю я его слова.

А погода неожиданно изменилась. Вихрем врывается в ущелье ветер, мешает движению оленей.

Теперь едем по замерзшей наледи шагом. Чем выше поднимаемся, тем тоньше становится лед, прикрывающий пустоту, образовавшуюся после исчезновения воды. Олени и нарты начинают проваливаться. Караван разорвался, участились остановки. Ноги передних оленей стали кровоточить.

– До корма далеко? – спрашиваю я Улукиткана на одной из остановок.

– Далеко… Эко худой дорога! Однако, не дойдем.

Он устало присаживается на корточки возле нарт. Олени топчутся на месте, намереваясь лечь, но под ногами дробный лед.

– Может, передохнем часа два?

– Отдыхай не могу, сегодня тут ходи худо, а завтра совсем не пройдем, – отвечает Улукиткан, вскакивая, словно пробуждаясь от дремоты.

Он лучше нас знает цену времени и, наверно, не раз за час промедления расплачивался сутками. Только этим и можно объяснить пренебрежение старика к своей усталости.

Подтягиваем отставшие нарты, просматриваем груз и трогаемся дальше. Проводники ведут оленей, а мы на лыжах проламываем лед. Уже скоро и день на исходе, а вокруг все одна и та же картина: за поворотом – поворот, за россыпью – россыпь, под ногами – хрупкий лед.

След обоза залит кровью из ран на ногах оленей. Нужно бы остановиться, дать им передышку, но место неудобное: справа и слева россыпь. Бедные животные! Только преданность человеку может заставить их идти дальше.

Впереди, километрах в полутора, виден черный лоскут низкорослого ельника, растущего по карнизам невысокой скалы. Решаем любой ценой пробиться до него.

Сумрак быстро окутывает ущелье. В темноте теряется ельник. Над нами медленно ползет туман, цепляясь за уступы и камни. Путь кажется невероятно тяжелым. Одежда на нас промокла и обледенела. Голод мучает всех. Жаль и людей и оленей, но нужно идти. Там, возле ельника, мы рассчитываем обсушиться и дать передышку животным. Из каких-то неведомых источников вливается в уставший организм крохотными долями сила. И мы идем.

Последний отрезок сегодняшнего пути проходим в полной темноте. Цепочка разорвалась. Василий Николаевич подрубает лед, ломает и крушит его лыжами. Мы с Геннадием помогаем оленям протаскивать нарты. Сзади слышится крик и ругань обычно очень спокойного Улукиткана. Лиханов где-то отстал.

И вот давно уже ночь. С черных уступов гор валится густой туман, закрывая беловатыми глыбами проход. Дует ледяной ветер. Я подставляю ветру то плечо, то спину и чувствую, как он впивается в меня, запуская холодное жало под самое сердце.

В памяти уже не осталось ни времени, ни места. Кажется, все умерло, не будет ельника, не появится больше солнце, никогда не кончится этот мучительный путь и мы все вместе с оленями обречены вечно тащить нарты.

– Ого-го… – прорвался из темноты голос Улукиткана.

«Какая еще беда стряслась?» – подумал я.

Караван задержался. Усилием воли заставляю себя вернуться к старику. Бреду по обломкам льда, спотыкаюсь. Ничего не видно, ноги застыли и плохо повинуются.

Улукиткан, услышав шаги, говорит чужим, уставшим голосом:

– Олень дальше ходить не могут, все упал, надо нарты бросать…

Зажигаю спичку. Животные лежат на промятой борозде, в лужицах крови. С трудом ставим их на ноги, развязываем упряжные ремни и уводим в темноту.

И снова слышатся хруст льда под ногами оленей, крик, понуканье, угрозы.

Наконец-то нам удается добраться до ельника.

На небольшой площадке под скалой разводим костер. Вспыхнувшее пламя освещает безрадостную картину: на кромке льда вповалку лежат олени, сложив как-то по-детски друг на друга ноги, головы; там же виднеется трое заледеневших нарт – лишь их нам удалось дотащить до ельника.

Костер окружают усталые, осунувшиеся люди. Близко прижавшись к костру, крепко спят старики. Василий Николаевич и Геннадий беспрерывно ворочаются, отбиваются от наседающего с внешней стороны холода. Мокрая одежда у всех парится.

Я дежурю. На моей обязанности – поддерживать огонь и следить, чтобы у спящих не загорелась одежда. Сон наваливается непосильной тяжестью, глаза смыкаются. В глубине кармана нахожу давно забытый сухарь, очищаю его от мелкого мусора и ем крошечными кусочками. Как это вкусно! И пока грызу сухарь, сон щадит меня.

Кажется странным, что где-то далеко-далеко, за пределами мрачного ущелья, люди живут в спокойствии, страдают бессонницей, едят строго по расписанию, не преодолевают усталости, наледей, не боятся бурь…

Что же заставляет нас отказаться от удобств, что толкает в этот холодный, неустроенный край, где еще властвует над человеком дикая природа, где почти каждый шаг требует упорства, борьбы? Жажда исследования?

Да! Исследователю не приходится задумываться над тем, какой ценой ему придется заплатить даже за первые крохи открытий. Но зато какое счастье видеть с вершины горы побежденное пространство с обнаженными долинами, с ясным контуром лесов, со сложным рисунком изорванных отрогов! Как радостно, стоя на покоренной вершине неизвестного хребта, дышать холодным воздухом, навеянным из цирков, лежащих далеко внизу, любоваться необозримой далью!

…Проснулись на другой день поздно.

Ветер рвет в клочья край черной тучи, поднимает с земли столбы снежной пыли. Мышцы, спина болят, словно после кулачного боя, но достаточно нескольких движений, куска отваренного мяса и чая с горячей лепешкой, чтобы мы забыли об этом.

Только Улукиткан ест плохо. Он осунулся, почернел, однако и теперь не теряет бодрости духа.

– Ленивому человеку – сон, оленю – ягель, нам бы – сухую тропу, – шепчет он, заворачивая ногу в портянку.

Мы подтаскиваем к стоянке брошенные ночью нарты, чиним их, укладываем груз, поднимаем изнуренных оленей. На них жалко смотреть! Они с трудом передвигают израненные ноги, безропотно подчиняясь проводникам. Два оленя не могут встать совсем, их ляжки в крови. Я понял, что вести этих оленей дальше уже нет смысла.

Улукиткан осмотрел обессилевших животных, ощупал их бока, заглянул в глаза и снял уздечки. Он заботливо приставил освободившуюся нарту к скале.

– Другой люди когда-нибудь тут ходи – возьмут ее. Человек не должен свой труд зря бросать, – ответил он на мой недоумевающий взгляд.

В десять часов обоз тронулся дальше.

Брошенные олени вдруг встали, повернули головы и долго смотрели нам вслед. В моей памяти навсегда запечатлелась эта картина: край скалы с низкорослым ельником, дым догорающего костра и два обреченных оленя, наблюдающих за удаляющимся караваном.

Ломкой бороздой по льду Купури тянется след груженых нарт. Скорбно поют полозья, им уныло вторят бубенцы на передней упряжке. Сгорбились костлявые спины оленей. Вот уже сутки, как животные ничего не ели. Одни из них окончательно ослабели, еле тащатся на поводных ремнях, на других легла двойная тяжесть нарт. Из открытых ртов свисают красными лоскутами языки. Уши обвисли. В глазах безнадежность. Малейший подъем теперь кажется горой. Никто не кричит на оленей, чуть остановка – мы все разом впрягаемся в нарты и тащим их сами.

Уже давно рассеялся туман. В лучах поднявшегося солнца купаются вершины плоских гор, а мы все еще не можем добраться до первого поворота.

– Ходить надо, еще ходить, дальше корм есть, там будем остановку делать, – говорит Улукиткан, хмуро поглядывая на оленей.

Идем… А день в разгаре. С неба сочится теплынь. В легкую дымку кутаются утесы нависших отрогов.

За поворотом справа виден широкий распадок. Впереди что-то смутно чернеет по руслу, надвигаясь на нас.

– Опять большой наледь ползет, как пойдем? – восклицает Улукиткан.

С распадка налетел ветерок. Он, вероятно, принес запах мха, ягеля, и олени, не ожидая команды, поворачивают навстречу ветру. Мы без сговора следуем за ними.

Стоянкой расположились на высоком берегу. Освобожденные олени тычут мордой по уши в снег, ищут корм и, пожевав немного, ложатся отдыхать. А наледь уже накрыла наш след и со зловещим шипеньем ползет густым тестом дальше по реке.

Людской говор, стук топоров да жаркий костер пробудили распадок. Улукиткан печальными глазами смотрит на оленей и мнет бороденку.

Над тайгой, каркая, летит ворон. Старик оглядывается и сосредоточенно следит за птицей.

– У-у, проклятый, каркаешь! – бросает он вслед.

– Чего сердишься? Чем ворон виноват? – спрашивает Мищенко.

– Разве не знаешь? Она худой птица, шибко худой! Чужому горю радуется.

На обветренном лице старика застыла тревога. Он прислушивается к шелесту наледи, поднимает голову и, щуря глаза от солнца, всматривается в зубчатый горизонт. Потом долго говорит шепотом с Лихановым, вторым проводником, и что-то чертит концом палки на снегу. За обедом старик вдруг объявляет:

– Однако, наледь может долго не пустить нас, надо стараться искать другой дорога.

– Куда же пойдем? – спрашиваю я. – Кругом снег, горы, тайга.

– Вот и я думаю, как попадать будем на Маю? Хребет должен близко, да никто не знает, есть-нет перевал на ту сторону. Ходить туда надо, хорошо смотреть. Ты как думаешь?

– Ты проводник, тебе и аргал[21] в руки. Завтра можно разведать. Кто пойдет?

– Однако, я, – говорит Улукиткан. – Лиханов тут останется: надо узды, лямки починить, нарты просмотреть, лепешек напечь. Ты пойдешь со мной?

– Пойду, если возьмешь.

– Хорошо, рано утром будить буду.

Мы разгрузили нарты, собрали упряжь, развесили на солнце одежду, постели. Млела тайга, овеянная теплым ветром, вылуплялись из таявшего снега грани черных скал. Казалось, вот сейчас защелкает глухарь, выползет из берлоги батюшка медведь, полетят на север угловатые стрелы быстрокрылых птиц. Но природа не раз обманывала нас мартовским ветерком, и мы сейчас недоверчиво прислушиваемся к шелесту крон многоярусных елей, к стуку дятла, шороху оседающего снега. Тут еще зима.

Олени, поднявшись с лежбищ, лениво потягиваются и один за другим уходят в тайгу. День кончился. Через час погас костер, и на лагерь легла темная ночь.

С вечера я подготовил продукты, лыжи, карабин.

Улукиткан хочет взять с собой трех оленей.

– Тепло стало, лес потемнел, – говорит он, – снег будет, а то и пурга. Боюсь, задержимся, надо постели брать.

– Разве надолго пойдем?

– Кто знает. Может, не скоро перевал найдем или зверь попадется, далеко уведет, – ответил он, не отрываясь от работы.

Вспугнутой птицей пролетела ночь. Обжигая лицо, тянет предрассветный ветерок. Нас провожают недоуменным взглядом привязанные Бойка и Кучум. Мы идем вверх по распадку, навстречу утренней заре. Впереди Улукиткан в старенькой латаной дошке, с пальмой в руке, с берданой на левом плече. Он ведет на длинном поводке трех оленей с легкими вьюками и,

---

[21] *Аргал* – длинная палка, которой управляют упряжными оленями.

горбя спину, месит широкими лыжами снег, а легким взмахом пальмы рассекает запушенную изморозью чащу.

Светлеет холодная просинь неба. На ослепительной белизне зимнего покрова ночные хищники оставили следы разбойничьих набегов. Вот вдоль колоды, едва касаясь снега, прошмыгнул ловкий соболь. У края он приподнялся на пень, выглянул, затем вернулся, обошел колоду, прополз на животе до сугроба… Два-три прыжка – и у кровавой лунки осталась куча куропачьих перьев. Позже следом соболя сюда прибежал голодный колонок. Зверек порылся в перьях, слизал со снега кровавую накипь и, вспугнутый рассветом, ушел в свое скрытое убежище. Но, уходя, он не забыл зарыть под валежину несъедобное крыло.

Солнце, поднявшись высоко, греет тайгу. У горизонта копятся тучи. Олени дышат тяжело, идут рывками.

Лес редеет. Наплывает крутизна ближних отрогов.

Наш путь пересекло небольшое стадо сокжоев[22]. Улукиткан голой рукой ощупал след старого быка, дважды проткнул его пальцем и, склонив тощую грудь на рукоятку пальмы, смотрит прищуренными глазами в сторону ушедшего стада.

– Недавно прошли – след не пристыл. Голодные, где-то близко жируют.

– Почему ты думаешь, что они голодные? – спросил я.

Старик удивленно посмотрел на меня:

– Глаза есть, а слепой! Смотри хорошо: зверь мордами тыкал снег – корм искал; значит, правда голодный.

Распадок сузился, завернул влево, и мы стали подниматься по крутому бесснежному гребешку. Неожиданно поднялась в воздух стая куропаток и белыми хлопьями пронеслась над перешейком.

– Однако, тут перевал в другую речку, – сказал старик, наблюдая за удаляющейся стаей птиц.

– Если это перевал, хорошо: тут можно на нартах подняться, – говорю я.

Улукиткан повел плечами.

– Выйдем наверх, смотреть будем, – может, правда хорошо попали. Только почему эвенки тут раньше не ходили? – раздумчиво говорит он и смотрит на небо, уже затянутое взлохмаченными тучами.

Берем последний подъем по надувному снегу. Горячий пар окутывает морды оленей, на скулах старика размякла загорелая кожа, распахнулась дошка, и грязный, липкий пот слепит ему глаза. Но вот переломилась крутизна – и мы на перешейке. За ним скалистый склон и глубокая падь, убегающая на юг. А дальше белеют купола гор и ремни плоских хребтов. Беглым взглядом Улукиткан окинул простор и вдруг помрачнел:

– Тут не пройти, перевал там, за падью, – и замахал рукой в сторону хребта.

Улукиткан присел на корточки и стал торопливо затягивать ремешками свою дошку на груди.

– Что же делать будем? Непогода идет. Может, спустимся в падь и там заночуем? – спрашиваю я, вздрагивая от озноба.

– Что ты! Ходить туда нельзя, худое место.

– Почему?

Улукиткан смотрит вниз на выкрои стылых болот, на сутулые отроги, прикрытые темными пятнами лиственничной тайги. О чем-то печальном напомнила ему падь.

– Место узнаю, – сказал он, помолчав немного. – Видишь, возле сопки ельник? На краю его сын младший похоронен. Медведя в берлоге добывал с товарищем. Ружьишко плохое было – кремневка. Собаки подняли зверя, а ружье не вспалило, обсеклось. Насел медведь на парня,

---

[22] *Сокжой* – дикий северный олень.

а он понадеялся на товарища, да напрасно. Оробел тот, сбежал, как пакостливая росомаха, а собаки молодые были – не отстояли. Очнулся сын: один, глаз нет, ноги помяты, зима. Полез по снегу, все думал – товарищ вернется, да так и не дождался… Худой люди есть!.. – гневно добавил старик. – Бросать товарища в беде – все равно что убить его, даже хуже!.. Нашел я сына после и там, у ельника, похоронил… Не поедем тут, сердцу больно. Нехорошо и покойника беспокоить.

Улукиткан поднял конец поводного ремня и потянул след на север по отрогу. Шел не оглядываясь, торопливо, как олень от выжженных мест. Только за сопкой, когда не стало видно ни пади, ни плоских гор, он остановился, поправил вьюки на спинах оленей и в раздумье, куда идти, окинул взглядом местность.

Слева в долине чернела гарь. Впереди, сквозь непогодь, маячили далекие хребты. А справа, на широкую седловину, выткнулся малорослый осинник с черным на середине пятном, напоминающим вывернутый корень. Улукиткан насторожился и, не отрывая глаз от осинника, на ощупь отвязал бердану от вьюка. Вдруг он согнулся, стал боком пятиться назад к пригорку, таща за собою животных. Я, не понимая, в чем дело, тоже пригнулся и последовал за ним.

– Сохатый! – произнес он, весь загораясь.

Вмиг слетела с Улукиткана печаль, забыт покойник. Куда девалась старость, боль в сгорбленной спине! С ловкостью юноши он сбросил с переднего оленя вьюк, достал из кармана затвор, завернутый в тряпочку, и, зарядив бердану, повел оленя на пригорок. А мне серьезно пригрозил пальцем, как непослушному мальчишке: дескать, не выглядывай, не спугни зверя.

Но кто мог вытерпеть, чтобы не подсмотреть, зачем он взял с собой оленя и как он будет с ним скрадывать сохатого! Я достаю из потки бинокль, поднимаюсь на пригорок, осторожно выглядываю. Сохатый все там же, в чаще. Я вижу его широкую грудь. Вот он поднял неуклюжую, громадную голову и ломает толстыми губами осинник, но вдруг, словно ужаленный, встревожился, торчком поставил срезанные вкось уши.

Где же Улукиткан? Я вижу только оленя – он медленно шагает, как бы намереваясь обойти зверя слева. Сохатый пугливо выскакивает из осинника. В его позе растерянность. Два-три прыжка, и он останавливается: видимо, не может понять, кто это ходит.

Где же, действительно, старик? Почему он не стреляет? Меня начинает охватывать тревога: зверь уйдет!

А олень замедляет шаги, останавливается, и я вижу, как из-под него появляется горб старика, просовывается вперед ствол берданы. На несколько секунд все замирают: и сохатый, и Улукиткан, и олень. Кажется, даже тучи прекратили свой бег. Но вот в стылой тишине тяжело грохнул выстрел. Пугающий звук расползся по горам. Сохатый упал в снег.

Улукиткан не подошел к убитому зверю, словно и не было выстрела. Он уселся на снег, вытащил ножом из берданы пустую гильзу, завернул затвор в тряпочку и опустил его глубоко в карман. Затем не торопясь он достал из шапки иголку с ниткой и стал пришивать к дошке оторвавшуюся завязку. «Какое равнодушие!» – подумал я, наблюдая за стариком.

Но вот он встал и, горбя старчески спину, вернулся с оленем к пригорку.

– Удача нам с тобой: и зверь большой, и место хорошее таскать мясо. Нечасто так бывает. Ты кушаешь печенку? – вдруг спросил он и, не дождавшись ответа, добавил: – Сырой печенка хорошо, шибко хорошо! Сейчас обедаем и ночевку искать будем.

Мы взвалили на оленя вьючок и пошли к убитому зверю.

Но его на месте не оказалось.

– Как так – и шкура и печенка совсем ушли?! – сокрушался старик.

Мы подошли к лунке, где был свален пулей сохатый. От нее по снегу шел кровавый след. Зверь уходил по крутому склону в падь и был от нас метрах в трехстах.

Улукиткана снова не узнать. Тут уж некогда доставать из кармана затвор, искать в подсумке патрон без осечки. Второпях он даже забыл перекинуть через плечо бердану. Несколько

секунд – и из-под широких камусных лыж старика легкой пылью взвихрился снег. В левой руке у него пальма, в правой ременный аркан – маут. Пригибаясь почти до земли и подавшись вперед, он птицей понесся за зверем.

Сохатый, почуяв погоню, пугливо шарахнулся в сторону, бросая тяжелое тело вперед, разгребая грудью метровый снег. Какую-то долю минуты Улукиткан и зверь мчатся рядом. Но вот над головою сохатого кругами взметнулся аркан, и на короткой шее захлестнулась петля. Старик подтягивается на ремне ближе, и оба со страшной скоростью катятся вниз. Блеснула пальма, сохатый торчмя зарылся в снег, и в облаке поднявшейся пыли мелькнули широкие лыжи старика.

Меня не без основания охватила тревога за жизнь проводника. Много ли нужно старику? Споткнись он на бегу, упади – и не заметишь, как из его тщедушного тела выскользнет жизнь. Я сбросил с оленей вьюки и, дав волю лыжам, вихрем скатился к Улукиткану.

Он лежал в глубокой яме, выбитой в снегу при падении. Лыжи сломаны, вязки на дошке оторвались, шапка скатилась далеко вниз. Старик стонал. На его лице – нестерпимая боль.

Я бросился к нему, ощупываю ноги, руки…

– Говорил, худое место, – процедил он сквозь сжатые зубы.

У Улукиткана вывих левой ключицы. Я хватаю его руку и сильным рывком пытаюсь вправить ее на место. Пока не удается эта операция, старик неистово кричит.

Пытаюсь его поднять, но, увы, ходившие восемьдесят лет по земле ноги отказываются служить: одна сильно ушиблена, у другой, видимо, растяжение сухожилия.

Что же делать? Куда идти? По вершинам туповерхих гольцов уже завывает неумолимый буран, а по седловине колючий ветер перевеивает сыпучий снег. Мимо нас в падь торопливо проносится стая белых куропаток. Вечер грязнит и без того мрачное небо. Нет времени для раздумья. Вспоминаю, что наверху остались олени.

– Худое тут место, надо уходить, обмануть смерть. Только как пойдешь? Может, мне остаться тут? – говорит он спокойно и смотрит на меня усталыми глазами.

«Бросить товарища в беде – все равно что убить его, даже хуже», – вспомнились слова старика. Я подбадриваю его:

– Дойдем, не так уж далеко.

Кормлю Улукиткана теплой печенкой, растираю ему ушибленную ногу, потом ем немного сам, с неприятным предчувствием прислушиваюсь к разыгравшейся непогоде. Со страхом думаю, как вытащить беспомощного проводника на седловину. Там спальный мешок, две шкуры, потники, – возможно, спасемся.

Я поднимаю Улукиткана, натягиваю на его голову ушанку, перехватываю дошку маутом. Старик с трудом становится на одну ногу, второй припадает на носок. Отдаю ему свои лыжи, и мы покидаем «худое место».

Старик с трудом толкает лыжи вперед, тяжело стонет и часто приседает. Я бреду по снегу, придерживая его со спины. Резкий ветер слепит глаза, заползает под одежду и холодными щупальцами впивается в тело.

Старик явно слабеет, он виснет на моем плече. Идти становится все труднее. Я оглядываюсь – почти ничего не пройдено.

– Тебе плохо, Улукиткан?

– Плохо, нога совсем не слушает, а ходить надо; пусть смерть не подумает, что тут ей пожива есть, – говорит он и, стиснув челюсти, переставляет крошечными шажками лыжи.

Только бы не потерять способность ориентироваться в обстановке!

Иду сзади Улукиткана, меж широко раздвинутых лыж, придерживая его обессилевшее тело. Увязаю в снегу по колено и глубже.

Осинник уже близко. А вокруг по-зимнему злится пурга. Надвигается темень.

Я падаю в изнеможении, но сейчас же поднимаюсь, охваченный недобрым предчувствием, иду дальше – иду потому, что хочу жить, и слышу, как под старенькой, латаной дошкой проводника в щупленьком теле также бьется жизнь. «Еще немного, а там и верх», – проносится в голове.

Мы идем, идем долго, и все-таки ценой безмерного физического напряжения нам удается выбраться наверх.

Улукиткан прикрывает лицо накрест сложенными руками. Валится на снег. Оленей нет, они ушли, связанные друг с дружкой поводными ремнями. Да и не до них сейчас! Где и как спастись от непогоды без костра, на гладкой снежной седловине? Бегу к осиннику, нахожу колоду, разгребаю под ней снег, перетаскиваю туда вещи.

А над стариком пурга уже насыпает снежный курган…

Но жизнь не сдается. Улукиткан поднимается и, преодолевая мучительную боль, бредет к осиннику. Я стаскиваю с него унты, дошку и заталкиваю его в спальный мешок. Набрасываю поверх две шкуры, потники, брезент и тоже залезаю к нему в спальный мешок. Буран, словно потеряв жертву, злобно мечется над нами.

В спальном мешке тесно. Я слышу, как спокойно бьется сердце старика, как все еще вздрагивает его худенькое тело. Но он уже не стонет, и моя тревога утихает.

Какое блаженство – тепло! После только что пережитых минут и наше тесное ложе под колодой в снегу кажется роскошным. Верно, счастье без горя не бывает.

Улукиткан долго ворочается, что-то достает из кармана.

– Лепешку хочешь? Надо хорошо кушать, потом не пропадешь, – говорит он, просовывая ко мне руку.

Жуем молча.

В мешке душно. Хочу забыться, уснуть, но не могу – страшно при мысли, что это, может быть, последний сон. Хоть мы и укрылись от непогоды, но опасность замерзнуть еще витает над нами.

Все тяжелее становится засыпающий нас снег. Словно из подземелья, доносится протяжный гул – это мечется не в меру разыгравшаяся пурга по обледенелым вершинам Джугдыра.

– Как думаешь, Улукиткан, мы еще увидим день? – спрашиваю я осторожно, скрывая тревогу.

– Человеку даны глаза, но они не видят, что делается за горой. Зачем было мне стрелять зверя, если бы я знал, что так плохо получится! – ответил старик.

Ночь тянется как вечность. Поет, злится пурга, насыпая сугробы. А мы счастливы и оттого, что тепло, и оттого, что не нужно месить ногами снег, подставлять лицо беспощадному ветру.

Кто знает, как долго мы находились в забытьи… Наступил ли день или все еще продолжается ночь?

Буран, не ослабевая, воет над седловиной. Стужа нашла нас и под ворохом теплой одежды. Чувствую, как леденеют ступни ног, стынут коленки и холод медленно, неумолимо подбирается к сердцу. Кровь отступает внутрь и уже слабо пульсирует в конечностях.

«Неужели конец?»

Пораженный этой страшной мыслью, я почти физически ощущаю грань между жизнью и смертью. Усилием воли гоню прочь безразличие.

– Улукиткан, ты слышишь? Уходить надо, иначе пропадем.

– Обязательно ходить надо, смерть ищет нас, только нога совсем опухла, все равно что дерево стал.

– Ничего, помаленьку доберемся до тайги, разведем костер, согреемся, – подбадриваю я старика, а сам с ужасом думаю, как далеко от нас лес и огонь и как же я понесу старика…

Пытаюсь приподняться и не могу – над нами могильный сугроб.

– Кто там ходит, или мое ухо обманывает? – шепчет тревожно старик.

Прислушиваюсь. Жду. Скрипнул снег под чьими-то шагами.

– Однако, смерть наболтала, что мы умерли, – хищник пришел проверять, – снова говорит старик.

Кто может бродить по седловине в такой страшный буран? Что ему здесь нужно?..

Снова скрип снега, и невидимое нам существо начинает разгребать сугроб над нашим изголовьем.

– У, проклятый, уходи, а то встану – шкуру выверну! – грозится Улукиткан.

Тишина.

Но вот снова заработали лапы. Уже слышно прерывистое дыхание. «Неужели медведь?» – мелькнуло в голове, и стало не по себе от этой близости. А в мешке как в гробу: не повернуться, невозможно вытащить нож, да и что с ним сделаешь в этой тесноте!

– Э-э! – вдруг протянул облегченно старик. – Однако, это Бойка с Кучумом. Люди нас ищут!

Я, с трудом приподнявшись, сбрасываю с мешка одежду, высовываю из снега голову. Дневной свет слепит глаза. Собаки бросаются ко мне, лижут лицо, радуются, и вместе с ними по-детски радуюсь я.

С края седловины доносится выстрел. Пока одеваюсь, из мутной снежной завесы появляются проводник Лиханов и Василий Николаевич. На поводу у них небольшая связка оленей.

Мне хочется обнять собак, прижать их к себе, дать почувствовать свою любовь к ним, но так холодно, что даже на минуту нельзя оставаться без движения.

Я не расспрашиваю товарищей, как они догадались о нашей беде, в голове одна мысль: бежать от этого «худого места», и как можно скорее.

Мы освобождаем Улукиткана из мешка, натягиваем на его застывшее тело фуфайку и дошку. Идти он не может: нога так распухла, что не помещается в меховом чулке. Мы заматываем ее в теплое, связываем две широкие лыжи, усаживаем на них Улукиткана и уходим в буран. Лиханов задерживается, вьючит оленей и догоняет нас на спуске в распадок.

У кромки леса мы остановились, разожгли костер. Только тот, кто испытал на себе смертоносную силу северных ветров, кто боролся с пургой, стужей, может понять, каким для нас счастьем был сейчас огонь! Улукиткан, распустив вязки на дошке, полной грудью глотал теплый воздух. Он смотрел на огонь и радовался, словно ребенок, впервые увидевший нарядную игрушку.

Меж тем Василий Николаевич рассказывал:

– Утром рано в лагерь пришли связанные олени. Ну, думаем, не иначе – беда стряслась с нашими, и решили с Лихановым идти искать. А погода, как назло, не унимается, света белого не видно. Вышли на хребет – ни следа, ни примет, все замело. Мы и кричали, и стреляли… Если бы не собаки – ни за что не нашли бы.

Ко мне подошла Бойка и смотрит упрямо в лицо, как бы старается разгадать мои мысли. Я подтаскиваю ее к себе, обнимаю, и мне почему-то вдруг становится неловко перед этим существом за то, что мы часто не ценим по-настоящему его преданности и само слово «собака» произносим иногда с презрением.

…К вечеру мы были в лагере на берегу Купури. Стужа выморозила наледь на реке, и мы могли беспрепятственно продолжать свой путь.

Утром съездили за мясом, а за это время прекратилась пурга. Унеслись в неведомую даль тучи, небо сияло прозрачной голубизной. Лес, исхлестанный ветром, выпрямился и тянулся к солнцу. На склон горы вышли олени, за реку на кормежку летели крикливые кедровки. Бойка заботливо ловила блох в черной шубе Кучума.

Во второй половине дня караван тронулся дальше вверх по Купури. Улукиткан чувствовал себя лучше, но ходить еще не мог. Для него освободили нарту, и он ехал позади обоза.

III

Буран в горах. В лагерь пришли чужие олени. Поиски неизвестных людей. Вниз по Кукуру. Бойка и Кучум вызывают на поединок зверя. Лесная письменность

Потребовалось еще шесть суток, чтобы преодолеть последние двадцать пять километров расстояния до перевала.

К концу дня тридцать первого марта совершенно обессилевший караван добрался до одной из разложин реки Купури. На последнем отрезке пути пришлось бросить часть груза и трех оленей.

Наконец-то коварное ущелье осталось позади! Над нами раскинулось голубым шатром небо. Горы расступились и широкой панорамой окружили стоянку. Вокруг стало светло и просторно.

Лагерь разбили на краю леса, у подножия Джугдырского хребта. На жарком костре варили мясо.

Вечерело. Солнце краем выглянуло из-за сопки и скрылось, озарив своими лучами крутой склон перевала. В стылой дали мутнели отроги.

– Надо ужинать, – говорит Василий Николаевич и кричит проводникам: – Деды, зайдите на минуточку, есть разговор!

Неохота покидать костер. Хорошо возле него, тепло, уютно. Смотришь, как огонь съедает сушник, как в синем пламени плавятся угли, и все тело охватывает ощущение такого блаженного покоя, что не хочется даже рукой шевельнуть.

В палатке жарко. На высоком колышке горит свеча.

– Ужин остынет, – напоминает Василий Николаевич.

Пришли старики.

– Птица затишья ищет – непогоду чует. Однако, буран будет, – говорит Улукиткан, пробираясь на свое место, в дальний угол палатки.

– Одну беду миновали, другая не пройдет мимо. Тронься мы дня на три раньше, проехали бы без помех, – говорит Геннадий, разливая по чашкам горячий суп.

– Тоже правда, запоздали, – отвечает Улукиткан. – Люди часто про время забывают. Посмотри, как в тайге: зима еще не пришла, а зверь уже тепло оделся; на озере еще льда нет, а птица давно откочевала…

– Вы зачем кружки принесли? – спрашивает Василий Николаевич стариков.

– Ты звал поговорить, а без вина разговора не бывает. Пришли со своей посудой, – ответил Лиханов, откровенно взглянув на него.

– Спирта нет, – решительно заявляет Василий Николаевич.

– Есть, – говорит проводник и вкрадчиво улыбается. – Моя хорошо смотри, как твоя спирт наливал в бутылку.

– Глаза малюсенькие, а видят далеко, – смеется Мищенко.

Садимся в круг. В мисках душистое парное мясо. Запах поджаристых лепешек, сухой петрушки, лука и без вина будоражит аппетит. Из спального мешка Василий Николаевич достает бутылку со спиртом.

– Надо бы за перевалом ее распить, да разве с вами не согрешишь? Держите кружки! – говорит он.

Все улыбаются и внимательно следят, как Мищенко делит пол-литра спирта.

– За перевалом тоже положено, не скупись, лучше другой раз придержишь, – замечает Геннадий.

– У вас не бывает другого раза. Осталось-то всего с литр, поставь его сейчас – и весь выхлещете.

– Ты не грози, возьми да и поставь, вот и не тронем!

Василий Николаевич, чтобы не рассмеяться, откусывает лепешку, бросает в рот чесночину и, сохраняя спокойное лицо, долго жует.

Улукиткан, хлебнув из кружки, сузил глаза, поморщился:

– Языку горько, сердцу худо, брюху тяжело, а пьют. Эко дурнину человек сделал себе! – Старик потешно мигает, будто ему запорошило глаза, и заталкивает в рот кусок мяса.

Ужинаем молча. Голод не любит разговоров. Я наблюдаю за Улукитканом. Он сидит, отвернувшись от печки, молча жует мясо, запивая чаем. Как бережно старик держит в пригоршне хлеб! Дорожа каждой крошкой, он подбирает ее даже с пола. Маленькими кусочками он откусывает сахар, подолгу сосет его. Когда ест ложкой кашу, то держит под нею ладонь левой руки, боясь обронить крупинку. Это не скупость, а строгая бережливость, воспитанная всей многотрудной жизнью. Старик хорошо запомнил, какой ценой и какими лишениями платил раньше за фунт муки, за аршин дрянного ситца. Об этом ему всегда напоминают неразгибающаяся спина, больные ноги, распухшие в суставах пальцы, шрамы на затылке от когтей медведя.

Старики долго пили чай, затем снова принимались есть мясо, дробили ножами кости и высасывали ароматный мозг.

Утром мы с Улукитканом решили осмотреть подъем на перевал. Василий Николаевич с Лихановым отправляются за оставшимся грузом. Геннадий ищет в эфире своих, нервничает, выстукивает позывные: вероятно, нас опять потеряли и, конечно, беспокоятся.

И вот мы с Улукитканом снова на лыжах. На небе ни единого облачка. Яркие лучи солнца слепят глаза. За границей леса снег сухой, глубокий – выморожен стужей. Старик изредка погружает в него палку и, не достав дна, неодобрительно качает головой:

– Однако, олени не пройдут, дорогу топтать надо.

Взбираемся на перевальную седловину, оглядываемся и, пораженные картиной, долго стоим молча. Под нами лежат многочисленные отроги Джугдырского хребта, заснеженные, прочерченные причудливыми линиями глубоких ущелий. Кое-где на гребнях торчат одинокие скалы – останцы; на дне долины, словно заплаты, виднеются темные лоскуты ельников, а правее, за водораздельной грядой, блестит обледенелая вершина неизвестного гольца. Горы, постепенно понижаясь, убегают вдаль и теряются в синеватой дымке.

Улукиткан усаживается на лыжи и, обняв колени, смотрит вниз, как бы изучая сложный рисунок рельефа. Я достаю записную книжку, опускаюсь рядом.

Далеко внизу лежит тайга. Странное впечатление оставляет она! Обычно при этом слове невольно перед глазами встают древние могучие леса приенисейской Сибири, живописных гор Восточного Саяна, юга Забайкалья, Уссурийского края. Там тайга растянулась на сотни, а то и тысячи километров – высокоствольная, замшелая, затянутая непролазной чащей и заваленная буреломом.

Совсем недавно мне пришлось совершить короткое путешествие по тайге Кузнецкого Алатау. Огромные пихты и ели, убранные седыми прядями бородавчатого мха; лохматые кедры, великаны сосны, перемежаясь с белоствольными березами и сухостойным лесом, растут там дружно, стройно и так тесно, что старым деревьям нет места для могилы. Они умирают стоя, склонив изломанные вершины на сучья соседей. Только с топором в руках и можно провести караван через этот поистине могучий лес.

В своем дневнике я тогда записал: «В верховьях Томи деревья растут толстенные, а некоторые к тому же достигают почти сорокаметровой высоты. Зайдешь под непроницаемый свод гигантского леса, и тебя охватит мрак, сырость. Воздух насыщен винным запахом тлеющих листьев. Постоянно увлажненная почва завалена валежником да обломками отживших и сва-

ленных бурей деревьев. Нет там звериных троп. Туда не проникают порывы ветра, не заглядывает солнце. Ни цветов, ни травы. Только кое-где ютятся мелкий папоротник да жалкие кусты бесплодной смородины. Слух не потревожат песни птиц, не привлечет внимание шустрая белка или бурундук, не вспорхнет из-под ног рябчик. Даже медведь, владыка старых лесов, и тот избегает чащи, и только в осеннюю пору, когда поспеют орехи, можно увидеть его след в кедровнике. Лес и лес без конца и края. И как радуешься, если увидишь сквозь поредевшую крону деревьев кусочек неба или свет полуденного солнца, пробившего своим лучом листву!»

Человек, попавший в такую тайгу, может легко сбиться с пути, потерять счет времени, быстро измотать свои силы.

Другая тайга представилась нашему взору сейчас, с Джугдырского перевала. Кроме чувства сожаления, она ничего не может вызвать у человека. Дружные ветры разметали ее по огромному пространству, и чахнет она по вечно стылым долинам, каменистым склонам гор, кочковатым равнинам. Только берега рек да кромки озер окаймляют узкие полосы густого леса, а за ними на мерзлотной подстилке марей и болот растут жалкие, одинокие лиственницы, сучковатые, низкорослые.

И все-таки эти деревья поражают своей удивительной жизнестойкостью. Они растут на вечной мерзлоте, чудом удерживаясь на мягкой моховой подушке, на скалах, россыпях, по крутизне, присосавшись корнями к камням и уступам. Даже взбираются на вершины гор. Отдельные лиственницы встречаются и в цирках, куда никогда не заглядывает солнце. Лес очень бедный, почти без подлеска. В лучшем случае «пол» затянут ерником или багульником.

– Летом тут, на перевале, по горам густой стланик, шибко густой, даже ходить не могу. Теперь он под снегом, скоро покажется, – говорит старик, болезненно щуря глаза от яркого снега, отбеленного солнцем, и беспрерывно протирая их пальцами. – Туман, что ли? – вдруг спросил он.

– Нет, погода хорошая.

– Как хорошая? Смотри, горы не видно, куда его ушел…

– Все видно, Улукиткан, и горы, и даже дым в лагере. Что это с тобой? Покажи-ка глаза.

– Не надо, – сказал он спокойно, прикрывая лицо ладонями и опуская голову, – однако, слепой стал от снега, надо скорее палатку ходить.

Старик перевязал глаза платком, оставив снизу узкую щель, и мы, не задерживаясь, спустились вниз. Василий Николаевич и Лиханов уже вернулись с грузом и привели оставленных на последней стоянке оленей.

Улукиткан ослеп от яркой снежной белизны, и это всех нас огорчило. Мы не захватили запасных очков с затемненными стеклами, а у проводников своих не оказалось, и они в солнечные дни ходили с незащищенными глазами. Вот и результат!

Ночью снова разыгралась пурга. Завыл ветер, будто хотел рассказать нам про свою незавидную долюшку. Всколыхнулась, закачалась тайга. Зашумела прерывисто: то рядом, то ниже, то вдруг стихнет, но ненадолго.

Ветер находит щелки, выстуживает палатку, пробирается в постели. Спим долго, но чутко. Вот уже и утро наступает, а из спального мешка вылезать неохота. Холодно! Сквозь дремоту слышу, как Василий Николаевич бросает в печку стружки, дрова, чиркает спичкой.

Сразу потеплело, хочется вытянуться, свободно раскинуть руки. Палатка с трудом выдерживает напор ветра. Он задувает в трубу и выбрасывает внутрь нашего убежища из печки дым вместе с пламенем, Дышать становится трудно…

– А мы к вам! Можно? – кричит Николай Федорович, отстегивая вход и проталкивая Улукиткана. – Дрова у нас кончились, пришли погреться.

Мы встаем.

– Как твои дела, Улукиткан? – спрашиваю я старика.

– Мала-мала плохо…

– Да он всегда весной слепнет, привык, это пройдет, – говорит Лиханов, распахивая доху и подсаживаясь к печке.

– Плохая привычка, придется задержаться. Куда со слепым пойдешь?!

– Нет, – перебил меня Улукиткан, – слышишь, ветер туда-сюда ходит, пурга скоро кончится. Дорогу надо делать. Иначе не подняться с грузом на перевал.

– Это не твоя забота – дорога! – сказал я.

– Беспокойный ты человек, Улукиткан, все торопишься, спешишь, так на бегу и умрешь, – добавил Василий Николаевич.

Старик задумался, прошептал:

– Правда, смерть жадная, все бы забрала, да жизнь сильнее ее. Больная птица от стаи не хочет отстать. Так и я.

– Тебе горячий чай наливать?

– Эко спрашиваешь, Василий, кому нужен зимою чум без огня? – И он, пожевав пустым ртом, протягивает руку и ищет в воздухе кружку.

Буран ослабел. Я вышел из палатки. У лагеря собрались олени и, расположившись на снегу, пережевывают корм. Высоко проносятся прозрачные клочья туч, роняя последние остатки снега. Они жмутся к вершинам гор, прячутся по седловинам и падают на дно ущелий, но упрямый ветер срывает их, гонит дальше на запад. На горбатую вершину гольца выползло солнце, теплым лучом коснулось моей щеки. Кажется, нигде оно не бывает столь желанным и необходимым, как именно здесь, среди безжизненных откосов туполобых гор.

В этом краю извечно властвуют бури, от стужи цепенеют почва, камни и даже воздух. Зима длится около семи месяцев, морозы доходят до пятидесяти пяти градусов. Тайга как будто смирилась с суровым климатом, и все же кажется, не живет она, а мучается.

После завтрака решили прокладывать дорогу. Пригнали все стадо, отобрали пару лучших оленей и к ним привязали остальных – поодиночке, друг за другом, без нарт. Впереди идут на лыжах Василий Николаевич, Николай Федорович Лиханов, а за ними тянутся в две шеренги олени.

– Борозду делайте поглубже, дорогу положе! – кричит вслед Улукиткан.

Некоторое время олени идут дружно, оставляя позади себя широкую полосу взбитого снега, но подъем становится все круче, а снег глубже, и животные скоро начинают сдавать. Из их открытых ртов свисают языки, дыхание напряжено до предела. Они передвигаются рывками, прыгают, падают, а некоторые уже тащатся волоком. Через каждые пять минут отдыхаем.

Наконец передние олени начали заваливаться на бок. Слышатся понуканья, ругань, глухие удары, но это не помогает.

– Видно, не промять нам дороги. До перевала далеко, – говорит Василий Николаевич, сочувственно поглядывая на оленей.

– Ничего, отдохнут, потом пойдут, – упрямится Лиханов.

Он тянется к Геннадию за кисетом и скручивает длинную козью ножку. Курят молча.

Олени никак не отдышатся, но их круглые черные глаза по-прежнему теплятся покорностью. С большим трудом поднимаем их, выстраиваем и заставляем лезть на сугробы перемерзшего снега.

Прибавилось еще сто метров борозды, но тут олени валятся друг на друга, и ничем уже нельзя заставить их подняться. А ведь еще остается с километр крутого подъема! Надо бросить оленей и самим заканчивать прокладку дороги, за это время они отдохнут и легко пройдут нашим следом.

Кажется, нет утомительнее труда, чем мять дорогу по глубокому снегу, покрытому твердой коркой. Вначале мы идем на лыжах, но это очень неудобно: лыжи набегают одна на другую, ноги проваливаются по колено. Часто падаем, зарываясь в снег.

Вот уже и лыжи сняли. Подвязываем повыше унты, чтобы снег не забирался внутрь, снимаем фуфайки и пробиваемся к перевалу. Идем молча: при такой работе не до шуток и разговоров.

Сухой снег – что сыпучее зерно, мы утопаем в нем по пояс. Иногда из-под ног вырываются жесткие ветки стланика, тогда в лицо летят комья снега.

До седловины остается немного, метров четыреста, но нет силы продолжать подъем.

– К черту все! Я дальше не иду! – И Геннадий в изнеможении падает.

Лиханов возвращается к оленям. Василий Николаевич, весь мокрый от пота, устало смотрит на седловину и беспрерывно глотает снег.

– Зря – простудишься. Что за детская привычка у тебя, Василий! – говорю я ему строго, а самому страшно хочется бросить в рот хоть кусочек льда, освежить пересохшее горло.

– Не простужусь, привычный. Плохо другое: слабею от него, да и пот одолевает. Мокрый, как загнанный конь, а не могу сдержать себя.

Василий Николаевич с Геннадием покурили и, отдыхая, дремлют.

Мое внимание привлекает необычайное зрелище: по затвердевшему снегу ползет хромой паук-крестовик, волоча больную ногу. Но он не один, его обгоняют другие паучки, черные и очень шустрые. Странно, как они попали сюда и куда идут? Ведь кругом снег! Я стал присматриваться и увидел вокруг нас тысячи насекомых, передвигающихся прыжками, как блохи, в том же направлении, куда идут пауки. По величине они совсем крошечные, даже трудно рассмотреть невооруженным глазом, но их так много, что снег кажется подернутым сизой пылью. Вероятно, всю эту массу насекомых и пауков сдуло ветром с деревьев – больше им неоткуда взяться. Они двигаются на запад, спешат к солнцу, источнику тепла, будто понимая, что скоро оно погаснет.

Неужели это вестники весны, разбуженные обманчивым солнцем? Хочется верить, что и здесь, среди заснеженных гор, будет тепло, зелено, зашумят ручьи, пробудится большая жизнь и мы окажемся свидетелями великого перелома в природе.

Но пока что кругом зима.

Под перевалом нам повезло: мы вышли на твердый снег и легко добрались до седловины. Василий Николаевич спустился вниз. Через час они с Лихановым вывели наверх оленей по нашему следу.

– За ночь борозда застынет, с нартами идти будет легче, – заверил нас Лиханов.

Мимо нас бегут белые куропатки, пробираясь по снегу в соседнюю седловину.

– Птица непогоду чует, в затишье идет. Однако, опять буран будет, – говорит Лиханов, с тревогой взглянув на горизонт.

Мы еще не добрались до стоянки, как засвистел ветер, поднялась поземка и снежной мутью окутало горы. Залезаем в палатку и плотно застегиваем вход. Проводники – с нами.

– Эко дурнота прорвалась, теперь надолго, – предсказывает Улукиткан, прикладывая примочку к глазам.

Сегодня ему легче, он сидит в своем углу без повязки и, как всегда, молчаливый.

– Что задумался, старина? – спрашивает его Василий Николаевич.

– Гнилое дерево корни держат, а старика – думы. Напрасно дорогу делали, пурга занесет ее. Опять придется оленей гнать, мять снег, вот и тревожусь, – отвечает Улукиткан, прислушиваясь к вою ветра.

– Знали бы, не мяли!

– Эко не угадали. Пуля слепая – далеко хватает, люди зрячи – за полдня не видят.

В печке шалит огонь. Слышно, как старики дробят ножами кости и высасывают мозг. Василий Николаевич уже дважды кипятил чай.

Всю ночь бушевала непогода. Спали тревожно. В палатке до утра не гасла свеча.

– Эко спите долго! Поднимайтесь, беда пришла! – вдруг слышится голос Улукиткана за палаткой.

Все вскакивают. Уже утро. Старик расстегивает вход, пролезает боком внутрь и окидывает всех тревожным взглядом.

– К нашему стаду чужие олени прибились, однако, на перевале люди пропадают, – говорит он, бросая на пол куски чужих ремней, расшитых цветными лоскутками.

– Кто-нибудь пришел?

– Нет. Видишь, от лямок что осталось? Когда человек замерзает, он не может развязать на олене ремни, режет ножом. Как так ты догадаться не можешь! – упрекает он меня.

– Кто же это может быть?

– Однако, Лебедев. Другой люди тут нету. У него работают олени Ироканского колхоза. Их метки я хорошо знаю. Искать Лебедева надо. Шибко скоро искать, погода худой… Однако, вечером он был под перевалом, да не успел перевалить, иначе увидел бы промятую дорогу, сюда пришел.

Догадка Улукиткана встревожила нас. Неужели буран захватил людей на перевале? Воображение мгновенно нарисовало страшную картину пурги, что пережили мы со стариком недавно у «худого места». Ах, как трудно человеку противостоять ей, да еще на открытых горах! Упади, присядь на минутку, поддайся усталости – и буран наметет над тобою могильный сугроб. Нужна исключительная сила воли, чтобы противостоять бурану. Ведь все мы хорошо знаем, что в такую погоду, если не успеет человек устроить себе убежище, упустит момент и не добудет огня раньше, чем закоченеют руки, он погибнет. Скорее идти на помощь!..

Мы решаем с Василием Николаевичем выходить немедленно. Собираемся быстро. В котомки кладем топоры, по горсти сухарей и куску мяса, котелок, аптечку, сверток березовой коры для разжигания костра, меховые чулки. Берем с собой Бойку и Кучума.

Улукиткан, присев на корточки, молча следит за нашими сборами.

– Где же искать их? – спрашиваю я совета.

Старик смотрит на меня в упор, и я чувствую, что в нем происходит какая-то борьба.

– Пурга шибко большой, кругом ничего не видно, блудить будете, пропадете… Однако, я пойду с вами.

– Что ты, Улукиткан, не заблудимся! В крайнем случае собаки выведут, а тебе куда по такому ветру…

– Пойду, маленько дожидай, – решительно произносит он, выползая наружу.

Выходим следом за ним и пытаемся уговорить остаться.

– Ты как хошь, а моя пойду, не могу сидеть в палатке, когда люди пропадают, – твердит он, торопливо заталкивая в котомку маут.

– А его зачем берешь?

– На перевале шибко ветер, все привязываться будем.

Этого, конечно, мы не предусмотрели.

На старике латаные штаны, сшитые из тонкой лосины, опущенные поверх унтов и перевязанные внизу веревочками. Все та же старенькая дошка, теперь уже почти без шерсти, загрубевшая от постоянной стужи. Она торчит коробом на спине, не сходится спереди и завязывается длинными ремешками, как тесемочками. Грудь открыта, шею перехватывает старенький шарф.

– Ты хочешь идти так? Без телогрейки? – удивляюсь я.

– Хорошо, мороз догоняй нету, – шутит старик, набрасывая на плечи котомку.

Пурга страшная. Идем вслепую, придерживаясь подъема и полузасыпанной борозды вчерашней лыжни. Встречный ветер выворачивает из-под ног лыжи.

Улукиткан отстает. Сгорбившись, он подставляет ветру то одно, то другое плечо, прикрывает лицо рукавицами, часто отворачивается, чтобы перевести дух. И как же мерзнет он в своей убогой одежонке! Почему он не захотел одеться теплее?

«Зачем он идет? Зачем подвергает себя таким испытаниям?» – думаю я, а в душе зависть! Какую суровую школу нужно было пройти этому человеку, чтобы в восьмидесятилетнем возрасте сохранить страстную любовь к жизни! Это она заставляет его сердце биться, спасает от проклятого холода, толкает лыжи вперед, отгоняет старческую немощь…

Идем тихо, будто тащим на гору тяжелый груз. Улукиткан выбивается из сил, часто падает и не может встать без посторонней помощи. Пришлось достать маут, связаться им и цепочкой брать последний подъем.

Впереди идет Василий Николаевич, за ним я, а старик за моей спиной тащится на поводке, тяжело передвигая лыжи.

На седловине ветер гудит, как в трубе. Мы подбираемся к левому склону перевала и под защитой огромного камня останавливаемся отдохнуть.

– Проклятый холод тело царапает, будто не видит, что на мне одна парка[23], – шепчет Улукиткан посиневшими губами.

Куда идти? Где найдешь следы людей, если сквозь буран дальше пяти метров ничего не видно! Кричать бесполезно – никто не услышит…

Не знаю, чем бы кончились эти поиски, если бы сама природа не сжалилась над нами.

Совершенно неожиданно буран оборвался, передохнул и ударил с тыла. В воздухе произошло странное замешательство. Словно табун диких коней, застигнутых врасплох, тучи то поднимались, то падали на горы и исчезали. Пурга удирала на запад; ветер метался по горам, не зная, куда деться.

– Крутит – хорошо. Однако, эскери карты путает, погода будет, – подбадривает нас Улукиткан.

Выглянуло солнце. Мы осмотрели седловину, но никаких признаков пребывания людей не нашли.

За перевалом – плотный туман. Виден только склон хребта да край леса в глубине ущелья. Всматриваемся до боли в глазах. И вдруг видим, что к перевалу тянется прерывистой чертой нартовый след.

– Аргал!.. – кричит Улукиткан, показывая на палку, торчащую поверх снега. – Однако, тут есть нарты, а может, и люди замерзли.

Мы скатываемся к аргалу. Василий Николаевич достает топор, рубит заледеневший бугор, под которым действительно лежат нарты. На одной из них – палатка, печь, пила, остальные пусты. Вероятно, обоз, не добравшись до перевала всего лишь две сотни метров, был застигнут пургою. Люди успели обрезать на оленях лямки, а сами убежали в тайгу, почему-то не захватив с собой ни палатки, ни печи, без которых, кажется, совершенно немыслимо спастись в этакую стужу. Что с ними случилось дальше, страшно даже подумать.

Отпускаем собак. Бойка и Кучум уже далеко впереди несутся полным ходом навстречу ветру: они явно чуют дым или запах человека. Василий Николаевич бросает мне котомку, снимает телогрейку и мчится на лыжах за ними. С быстротой ветра он уходит от нас, оставляя позади себя длинную стежку снежной пыли, – нельзя потерять собак из виду.

Нартовый след отклоняется влево: собаки бегут напрямик. Я с Улукитканом спускаемся за лыжней Василия Николаевича.

В воздухе чувствуется запах дыма. Наконец мы слышим человеческие голоса.

Нас встречают Бойка и Кучум. Они прыгают, визжат, точно хотят сообщить что-то очень интересное.

---

[23] *Парка* – легкая оленья дошка.

Сквозь туман вырисовывается странное нагромождение из хвойных веток, защищенное от ветра беспорядочно наваленными деревьями. Подходим ближе.

– Пресников! Здравствуй! Ты как сюда попал? – узнаю я лебедевского десятника.

– У нас за перевалом оставлен груз, едем за ним, да немного замешкались – буран захватил на гольце, – отвечает он, не менее удивленный нашим появлением.

У костра, огороженного навесом из хвои, скорчившись под ватным одеялом, лежит маленький человек. Голова его перевязана красным лоскутом; в быстрых, соболиных глазах боль, губы кровоточат. Узнав Улукиткана, он с трудом приподнимается и молча протягивает ему маленькую, почти детскую руку, вспухшую от волдырей. Между ними завязывается разговор.

Это проводник Лебедева – Афанасий из Ироканского колхоза. Пресников, кивнув головою на больного, начинает рассказывать:

– За малым не пропал! Одежонка на нем была плохонькая, не по климату, а новую телогрейку и брюки не захотел надеть, пожалел, вот и прохватило на гольце. Поднимаемся это мы на перевал, вижу – мой Афанасий не встает с нарт. Я к нему – он что-то бормочет по-своему, а пошевелиться не может, застыл. Хочу оленей повернуть обратно в тайгу – они запутались в ремнях, ни туда ни сюда. А от ветра нет спасения! Конец, думаю, и тебе, Пресников. Обойдешься без похорон. Оленей все же решаюсь отпустить, пусть хоть они спасутся, да руки закоченели, не могу развязать ремни. Перерезал их ножом, но и самому пропадать неохота; схватил постель, топор – и с Афанасием вниз. Где волоком его тащу, где на себе. Кое-как притащил сюда, разжег костер, давай мужика снегом растирать, а он кричит благим матом – значит, руки, ноги зашлись.

– Чего же вас понесло в такую непогоду на хребет? Не впервые же ты в тайге? – спрашивает Мищенко.

– Моя вина. Афанасий предупреждал – пурга будет, а я понадеялся на свою силу, настоял ехать. Сам бы пропал – уж поделом, не рискуй зря, а ведь человека погубить мог!

У костра тепло. Мы отогреваемся, развязываем котомки, угощаем товарищей мясом, сухарями, пьем чай. Улукиткан и Афанасий разговаривают спокойно и даже как-то скучно, будто во всем случившемся нет для них ничего необычного. Жители этого сурового края чаще, чем в других местах, встречаются со смертью, они привыкли смотреть ей в глаза.

Пока я занимался больным – обмывал его раны, делал перевязку, – Василий Николаевич с Пресниковым успели притащить с перевала нарту с вещами. Мы поставили палатку, установили печь, напилили дров и ушли. Афанасий остался один. К ночи придет сюда Геннадий, и они дождутся нас с обозом.

Через день, захватив лебедевский груз, мы покинули верховья Купури. Промятую нами три дня назад дорогу хотя и занесла пурга, но подниматься по ней было легче, чем по целине. Да и олени за эти дни немного отдохнули, шли бодрее. На крутых местах нарты наполовину разгружали и вытаскивали их поодиночке, зачастую сами впрягаясь в лямки или помогая сзади.

Последний раз я смотрю на пройденный путь, скрытый в глубоких складках угрюмых отрогов Джугдырского хребта. Купури не видно, все заслонили набегающие друг на друга уступы снежных гор, и только торчащая далеко внизу бесформенная скала напоминает об этом суровом ущелье. Пережитое нами – тревоги, бессонные ночи – уже потеряло свою остроту. Наши мысли и желания устремлены вперед. Прощай, негостеприимное ущелье Купури!

Перед спуском в Кукурское ущелье задерживаемся, чтобы еще раз проверить нарты и упряжь. Я выхожу на боковую возвышенность. Даль свободна от дымки и тумана. На север и восток открывается обширная панорама гор, облитых снежной белизною. Слева, из-за большой сопки, вырисовываются отроги Станового, отмеченного полосами темных скал и зубчатыми рядами. Невысокие утесы, сбегая вниз, теснятся по краям извилистых ущелий. Правее же, насколько видит глаз, раскинулись волнистые отроги Джугдырского хребта. Темными пятнами

выделяются цирки, по гребням лежат руины скал. Изломанные контуры вершин исчертили край синего неба.

Между Становым и Джугдырским хребтами мы не увидели сколько-нибудь заметной глазу границы. Это один и тот же хребет, может быть, несколько пониженный к морю и разделенный только названиями. Мы впервые видим Становой так близко с земли. Он поражает нас грандиозностью, крутизною и мрачным обликом. Даже при беглом знакомстве с восточной частью хребта уже можно наверняка сказать: здесь нашим людям придется много потрудиться, чтобы разобраться в этом диком и сложном рельефе.

Когда мы заехали за своими, у них уже была свернута палатка и упакованы вещи. Афанасий чувствовал себя неплохо, хотя лицо и руки его покрылись струпьями.

Наш путь идет по реке Кукур – самому верхнему из больших правобережных притоков Маи. Едем редколесьем, по нартовой дороге, проложенной обозом Лебедева. Здесь снег мельче, олени идут веселее. Запели полозья, ожили бубенцы. Кажется, где-то близко крадется незримо весна. Никогда еще мы не ждали ее с таким нетерпением, как в этот год!

Уже начал прихорашиваться лес. Ветерок расчесывает у елей густые пряди крон; по-девичьи задорно шумят вершинами березы; лиственницы пахнут разнеженной на солнце корою, а кочки, вылупившиеся из снега, – прогретой прелью. Появились и птицы. Вот на рябине спорит стайка черноголовых синиц, где-то внизу кричит желна, и часто попадаются на глаза белоспинные дятлы. Их стук, сливающийся в дребезжащую трель, не смолкает в лесу. Сегодня впервые мы почувствовали пробуждение природы, и это будто окрылило нас.

Бойка и Кучум где-то отстали. Караван растянулся. Улукиткан тихо поет, – вероятно, про теплый день и благополучный путь. А солнце становится все щедрее. Однообразные звуки бубенцов, скрип полозьев и постукивание копыт нагоняют сон…

Ночуем на бывшей стоянке Лебедева. До лагеря остается день езды.

Вечереет. С гор струится холод. Стая белых куропаток шумливо проносится над палатками, направляясь в боковой лог. Василий Николаевич поручает поварское дело Геннадию, а сам с ружьем бежит следом за ними.

Собак все еще нет. Это озадачило меня.

– Кого-нибудь нашли – соболя или колонка. Придут. Ворон мимо трупа не пролетит, собака мимо табора не пробежит, – успокаивает меня Улукиткан.

Я усаживаюсь за дневник, но писать не могу – мысли беспрерывно возвращаются к собакам. А что, если действительно связались с соболем? Они же не отстанут от него и завтра, пока кто-нибудь из нас не подойдет к ним. Винить-то их нельзя, они делают свое дело.

Надо им помочь. Беру винтовку и ухожу на ближнюю сопку в надежде услышать их лай.

Бойка и Кучум унаследовали от своих предков, Левки и Черни (в прошлом много лет сопровождавших нашу экспедицию), все качества зверовой лайки: прекрасное чутье, неутомимость в охоте и преданность человеку. Они не раз выручали нас из беды. Мы по праву называем их своими четвероногими друзьями и не представляем, что бы делали в тайге без них. Бойка и Кучум улавливают в лесу тончайшие звуки, недосягаемые для нашего слуха. По их поведению легко догадаться о близости зверя, переломе погоды, о приближении кого-либо. По лаю собак легко определить, с кем они имеют дело: на рысь, росомаху они нападают напористо, злобно; лося берут мягко, лают прерывисто, иногда с длительной паузой; колонка, соболя, загнанных на дерево или в дупло, облаивают однотонно. Белка их интересует только в сезон промысла. Так что надо было выяснить, куда же они делись, нельзя бросать их в тайге.

С вершины, куда я поднялся, видны расположенные небольшим полукругом заснеженные хребты.

По широкой долине змеится река Кукур. С юга по ее ледяной поверхности тянется тонкой стружкой нартовый след. Солнце багряным кругом сползает к горизонту, в сизую дымку кутается тайга.

Я присаживаюсь на валежину и наблюдаю, как гаснет изумрудно-лиловая заря на потемневшем небе.

«У-гу… у-у-гу…» – бубнит протяжно филин.

«Неужели соболь мог увести собак так далеко, что даже лая не слышно?» – думал я, уже в темноте спускаясь с сопки.

В лагере пахнет паленым пером и жареной дичью.

– Не слышно? – спрашивает меня Василий Николаевич Мищенко. – Придется утром идти искать. Если с соболем возятся, я им всыплю горячих, отобью охоту связываться с мелочью! – грозится он.

– Опять из-за псов будет задержка! Пока доберемся до Кирилла Родионовича – весна настанет, – ворчит Геннадий, просовывая в печь общипанную и синюю от худобы куропатку.

После чая Василий Николаевич починил лыжи, достал из потки свисток для рябков, осмотрел его, продул и положил в боковой карман. Добавил в кисет табаку.

Морозная ночь высушила размокший за день снег, затянула сверху его хрупкой коркой – настом.

Собаки не пришли.

Рано утром идем нартовым следом обратно к перевалу искать Бойку и Кучума. Слева в полном разливе заря, справа над горами висит запоздалый месяц. Идем ходко. Вокруг тихо. Только под лыжами хрустит снег. Следа собак все еще не видно, а уже скоро перевал.

– Вы ничего не слышали? – спросил вдруг Мищенко, снимая шапку и прислушиваясь. – Вроде ухнуло что-то?..

– Наверно, лесина упала.

Мы простояли еще с минуту, и только тронулись, как до слуха ясно донесся лай собак.

– Ишь куда их черти занесли – под голец! Так и есть, соболя загнали, больше некому быть в россыпях! – рассердился мой спутник.

Он торопливо подоткнул за пояс полы однорядки, сбил с лыж бугром застывший снег и торопливо зашагал на звук. Глаза его азартно заблестели.

Поднялись на берег реки, стали забирать вправо к отрогу.

Лай доносился глухо, как отдаленный звон колокола. Торопимся на звук. А что, если собаки держат крупного зверя – сокжоя или сохатого!.. При этой мысли сердце стучит приятной тревогой…

– Непутевые они у нас, ей-богу! Нашли время зверушками заниматься! Это Бойка зачинщица и Кучума сбивает. Вот уж доберусь до нее! – говорит Мищенко строго, а в голосе звучит явная ласковость.

И хотя я знаю, что Бойку и Кучума он не обидит, но подзадориваю его:

– Следует! Как же это они, не спросившись, соболем занялись?!

Мищенко вдруг затормаживает лыжи и меряет меня строгим взглядом:

– Думаете, не всыплю? Только шерсть полетит с нее! Посмотрите…

Огибаем крутой склон отрога и выходим в широкий распадок. Кругом лес. Узкие языки ельников забегают в боковые расселины и поднимаются до курумов[24].

– Вот и след соболя, бежали прыжками! – кричит Василий Николаевич, поворачивая лыжи по их следу. – Так и есть, соболя прогнали, – добавил он.

Через километр следы привели нас к густой, развесистой ели. Под ней все было натоптано, примято, на стволе виднелись свежие борозды от когтей собаки. Но поблизости никого не было. След соболя ушел через лес к соседнему отрогу, собаки же убежали в противоположную сторону, и мы решили, что наших псов отвлекло что-то более интересное, нежели соболь. Но что именно?

---

[24] *Курумы* – потоки каменных россыпей по склонам гор.

Через полкилометра сдвоенный след собак свернул влево, выбежал на верх гряды и нырнул в соседний распадок. Теперь лай слышится ясно, но понять, кого они «обхаживают», невозможно. Голоса стали неузнаваемыми, хриплыми.

За гребнем – темный ельник, прикрывающий крутой распадок. Оттуда-то и доносится лай. Василий Николаевич мчится вперед, забираясь все глубже в лес. Он подкатывается к собакам и вдруг делает огромный прыжок вверх, поворачивается в воздухе. Я вижу его лицо, искаженное страхом. Он хочет что-то крикнуть, предупредить, но успевает только взмахнуть рукой и падает в рыхлый снег. Невероятным усилием я пытаюсь задержаться, торможу ногами, но лыжи не повинуются, ползут по инерции к невидимой опасности. Хватаюсь за дерево. Вдруг земля выскользнула из-под ног, лес перевернулся, я зарываюсь глубоко в снег. На мгновение теряю сознание.

Поднимаю голову, пытаюсь осмотреться. Василий Николаевич все еще барахтается в яме, не может подняться на ноги. Собаки неистовствуют, атакуя кого-то под выскорью[25]. Хочу встать, но одна лыжа оказалась сломанной, а вторая застряла в стланике.

Я нечаянно взглянул вперед и… обомлел. Из-под выскори высунулась лобастая морда медведя. Зверь метнул злобно глазами, рявкнул и исчез в берлоге. Собаки, отскочив на миг, вновь подступили к лазу[26]. Острое чувство беспомощности овладевает мной. Я ищу упавшую в снег винтовку, ругаю себя за неповоротливость и, как на грех, не могу высвободить ноги. В сознании с необычайной ясностью вырисовывается вся опасность нашего положения. Что, если медведь сейчас вылезет из берлоги, вздыбит и, прежде чем я найду ружье, протянет ко мне косматые лапы? Тут уж вся надежда на верных Бойку и Кучума. Набросятся они на медведя сзади, вопьются в его «шаровары» острыми зубами и примут на себя всю медвежью ярость. Да и Василий не оробеет, бросится с ножом на выручку товарищу! А тем временем я найду ружье и выстрелом свалю зверя на снег. Все это молниеносно проносится в голове. Холодный пот пронизывает тело. Нет более острых переживаний, чем встреча с медведем у берлоги.

Справляюсь с минутным смятением, беру себя в руки. Ко мне приближается Василий Николаевич и повелительным тоном требует поторапливаться.

– Зверь может сейчас появиться!.. Где винтовка? – кричит он.

Наконец-то я освободился от лыж. Встаю. Продуваю ствол ружья, забитый снегом, и мы отходим влево, чтобы осмотреться. Собаки, подбодренные нашим присутствием, поочередно врываются в лаз, однако, напуганные рычанием зверя, мгновенно отскакивают и опять бросаются к лазу. «Какая чертовская смелость!» – думаю я, наблюдая за их схваткой.

Медведь снова показывает на мгновение свою разъяренную морду, и я ловлю на себе его зеленовато-холодный взгляд.

Берлога сделана на крутом косогоре лога, под корнями давно свалившейся ели. Снег вокруг плотно утоптан, маленькие прутики, торчащие поверх снега, откусаны. Это работа собак. Они лучше нас знают, на что способен этот зверь, и постарались очистить «рабочее место» от всего, что могло бы мешать их атаке.

С какой же позиции лучше стрелять? Становиться против лаза опасно – место неудобное и крутое, зверь может наброситься даже и после удачного выстрела. Спускаюсь немного ниже и чуточку правее. Наскоро вытаптываю место под березой. Легкий озноб нервно холодит тело. Зрение, слух, мысли – все приковано к лазу, где собаки отчаянным лаем вызывают косолапого на поединок. Тот фыркает, злобно ревет, отпугивая наседающих псов.

Проходит минута, другая… Василий Николаевич, прижимаясь плечом к ели, пристальным взглядом следит за берлогой. Вдруг снег в том месте дрогнул, разломился, и на его пожел-

---

[25] *Выскорь* – вывернутые корни упавшего дерева.

[26] *Лаз* – входное отверстие в берлогу.

тевшем фоне показалась могучая фигура медведя – гордая, полная сознания своей страшной силы. На секунду он задерживается, как бы решая, с кого начинать.

Собаки быстро меняют позицию, подваливаются к заду медведя и мечутся на линии выстрела. Я выжидаю момент. Медведь торопливо осматривается, делает шаг вправо, но в следующее мгновение меняет ход, скачком бросается влево, подминает под себя обманутого Кучума… На выручку рванулась Бойка. С одного прыжка она оседлала зверя и вместе с ним катится вниз. Вырвавшийся Кучум лезет напролом.

Все смешалось со снежным вихрем, взревело, поползло на меня. Вот мелькнула разъяренная пасть медведя, хвост Бойки, глыба вывернутого снега. Медведь огромным прыжком все же смахнул с себя собак и бросился ко мне, но пуля предупредила его атаку. Зверь ухнул, воткнул в снег окровавленную морду, скатился к моим ногам. От его прикосновения у меня зашевелились под шапкой волосы.

Василий Николаевич бросается к собакам. Поднимает Бойку. У нее разорвана грудь. Кучум визжит, царапает лапой возле уха, из открытого рта тянется кровавая слюна. Мы струним ремнями морду Бойки, укладываем на снег и начинаем сшивать ее раны. У меня в шапке нашлась иголка с обыкновенной черной ниткой. Иголка с трудом прокалывает кожу, собака визжит, корчится в муках под неопытной рукой «хирурга».

Кучум отделался только прокусами.

Медведь оказался крупным, в роскошном «одеянии». Его густая темно-бурая шерсть переливалась черной остью от еле уловимого ветерка. Короткую шею с лобастой мордой перехватывал белый галстук. От длинного бездействия когти у зверя сильно отросли, загнулись внутрь.

– Добрая чесалочка, – посмеялся Василий Николаевич, взглянув на лапу.

Он не подошел к зверю и не проявлял сколько-нибудь заметного любопытства. Такое равнодушие обычно овладевает зверобоем после удачного выстрела. Именно после выстрела и обрывается вся острота и прелесть зверовой охоты.

Хотя на этот раз выстрел принадлежал мне, Василий Николаевич остался верен себе. Сколько раз я наблюдал за ним. Он давно потерял счет убитым зверям, схваткам с медведем, добытым соболям. И все же каждый раз, увидев зверя, он с новой силой воспламеняется страстью следопыта-охотника. Тогда для него не существует расстояний, пропастей, темноты, пурги. С легкостью юноши он бежит через топкие мари, карабкается по скалам, пробирается сквозь стланиковые заросли, не чувствует ушибов, царапин на лице – все подчинено этой страсти. Но вот прогремел выстрел – и все в нем заглохло. Он превращается в того самого Василия Николаевича, который поражает спокойствием и таким добродушием, словно не способен обидеть и курицу.

Уходя за нартами в табор, он сказал, кивнув головой на зверя:

– Сало снимайте пластами. Тушу не дробите, разделывайте, как сохатого.

В теплых лучах солнца млела безмолвная тайга. За горбатым отрогом в глубине долины копится грязный дым, выдавая лагерь. Откуда-то появилась кукша. Попрыгала по веткам, повертела чубатой головой, поразмыслила и пошла звонить на всю тайгу:

«Кек… кек… ке-ке…»

Череп и шкура убитого медведя должны были войти в мою коллекцию, предназначенную для Биологического института Западно-Сибирского филиала Академии наук. Поэтому первым долгом я произвожу внешнее описание и делаю необходимые измерения, а потом уже начинаю свежевать. Кладу зверя на спину, распарываю ножом кожу от нижней челюсти через грудь до хвоста, затем подрезаю ноги по внутренней стороне до продольного разреза и отделяю подошву от ступни, но так, чтобы при коже остались когти.

Медведь жирный, шкура отделяется только под ножом. Вспарываю брюшину. Вся внутренность залита жиром. В маленьком желудке и кишечнике пусто, их стенки покрыты прозрач-

ной слизью. Затем переворачиваю тушу вверх спиной и делаю глубокий разрез вдоль хребта. Толщина сала на крестце пятьдесят пять миллиметров. Это после шестимесячной спячки!

Василия Николаевича все еще нет. Собаки крепко спят. Я разжег костер и, усевшись у огня, достал записную книжку.

Удивительно, как разнообразны условия, в которых живут звери и птицы. Какой разительной приспособленностью и какими разнообразными инстинктами наградила их всех природа!

Это особенно заметно осенью, когда кончаются теплые дни, слетает с деревьев красочный наряд, умолкают уставшие за лето ручейки и жесткие холодные ветры напоминают всем о наступающей зиме. Травоядные покидают открытые места летних пастбищ, высокогорье и двигаются в тайгу, в районы мелких снегов. За ними тянутся хищники. Грызуны зароются в норы, стаи гусей, уток, болотных и лесных птиц устремятся к дальнему югу. В их полете, крике, даже в молчании, что царит в это время в природе, всегда чувствуется неизмеримая печаль.

Нет живого существа, не встревоженного приближающейся вслед за осенью стужей. К этому времени у медведя пробуждается инстинкт зарыться в землю. Ложится он в берлогу с большим запасом жира (худой зверь, а тем более больной не ляжет в берлогу. Он обычно погибает в первой половине зимы от голода и холода). Неискушенному наблюдателю кажется, что медведю надо много жира для зимовки, ведь спячка его в Сибири длится около шести месяцев. Срок большой, но, как ни странно, за это время он очень мало расходует жира: его организм почти полностью прекращает свою жизнедеятельность.

Для чего же нужен медведю такой большой запас жира? Не проявила ли природа к нему излишней щедрости? Конечно нет. Во время спячки жир служит изоляционной прослойкой между внешней температурой и температурой внутри организма.

Как только медведь покинет берлогу и организм его воспрянет от оцепенения, а это обычно бывает в апреле, сразу же восстанавливается деятельность всех его функций и появляется большая потребность в питательных веществах. Но где их взять? Кругом еще лежит снег. Взрослого зверя – сохатого, сокжоя или кабарожку – трудно поймать, а телята появляются на свет только в конце мая – начале июня, да и птиц ему не скрасть, для этого он слишком неуклюж. Растительного же корма еще нет. В желудке убитых в апреле и мае медведей обычно находишь личинок, червячков, муравьев, корешки различных многолетних растений и даже звериный помет. Но разве может он прокормиться такой пищей? Да и разоренные им норы бурундуков, где иногда удается достать две-три горстки ягод или кедровых орехов, не спасли бы медведя от голодовки без осеннего запаса жира.

Василий Николаевич приехал на трех нартах. Мы разложили на них мясо, увязали и тронулись в обратный путь. Бойку пришлось нести на руках до реки. Кучум, прихрамывая, плелся сзади. Над лесом, каркая, летели к выброшенным кишкам две вороны.

В лагере праздник. Все ожили. Даже Афанасий вышел из палатки встречать нас. Он улыбается и морщится от боли, едва растягивая губы, скованные коркой.

Вечер крадучись спускается со склона гор. Гаснет за горизонтом свет. Исподтишка ершится ветерок. На востоке одинокая туча прикрыла космами вершины. Большой костер ввинчивает в плотное небо сизую струйку дыма. На таганах, в закопченных котлах, варится свеженина, тут же на деревянных шомполах румянится шашлык. Мы все сидим возле огня, глотая сочный запах, и следим за Василием Николаевичем – «главным дирижером».

Наконец ужин готов, и все идут в палатку.

Старики едят быстро. В левой руке – мясо, в правой – острый нож. Зубами захватят край куска, чиркнут по нему ножом возле губ, глотнут. Руки еле поспевают подкладывать, отрезать. Мясо почти не пережевывают – словно зубы у них предназначены для другой, более сложной работы: нужно ли подтянуть потуже подпругу на олене, развязать узел на ремне, протащить

сквозь кожу иголку или что-нибудь оторвать, отгрызть – все это старики обычно делают зубами. В быстроте и ловкости, с какой работают у них челюсти, есть что-то первобытное.

Рядом со мной сидит Улукиткан, роясь заскорузлыми пальцами в своей чашке. Мяса много, оно жирное; глаза старика жмурятся, нежась над теплым медвежьим паром. Ест он без хлеба, поспешно отрезая и глотая куски мяса. Устанет – передохнет, хлебнет из блюдца горячего жира, и снова у губ заработает нож.

– Эко добро – медвежье сало! Сколько ни ешь – брюху не лихо, – говорит старик, слизывая с блюдца жир.

Лиханов от него не отстает. Глаза его размякли, посоловели, засаленная бороденка лезет в рот.

Афанасия разбинтовали – так свободнее. Он черпает кружкой жир из котла, пьет его несоленым, процеживая сквозь зубы.

Все они едят много; отяжелев, валятся на бок и полулежа еще оскабливают, обсасывают кости. Затем пьют чай, разговаривают.

– Уже десятый час, пора спать. Завтра рано подъем, – предупреждаю я.

– Эко спать! После жирного мяса сна не жди…

Василий Николаевич принес в палатку больную Бойку, покорную, с печальными глазами, и сейчас же в щель просунулась голова Кучума. Умное животное следило за нами, точно хотело узнать, что мы намерены делать. Но как только Бойка начала визжать, биться в руках, Кучум поспешно убрался.

Мы выстригли вокруг раны узенькую полоску шерсти, промыли рану йодом и уложили Бойку спать.

Ночью сквозь сон я слышал разговор в палатке проводников, хруст костей и почмокивание губ. Старики продолжали ужин.

Утром пришлось задержаться – проводники опять ели мясо, пили чай, затем долго искали оленей.

День выдался солнечный. Лес слабо шумел. Пахло отогретой хвоей. Над брошенной стоянкой горбилось белое облачко, присосавшись к боковому отрогу и уронив легкую тень на наш след.

Кукур – небольшая речка, образующаяся от слияния многочисленных ручейков, сбегающих с крутых склонов Станового и Джугдырского хребтов. Километрах в десяти ниже перевала она течет узким руслом, въедаясь в угрюмые отроги, преградившие ей путь к Мае. Горы не расступились, а скалами повисли над щелью, по дну которой течет Кукур.

Вот этим узким ущельем мы и ехали по льду реки. Нас встретила промозглая сырость, никогда не продуваемая ветрами. Солнце и, кажется, само небо прятались за скалами. Малейший звук, зародившийся в тишине ущелья, сразу усиливался, множился, отражаясь от ворчливых скал. Олени, подбадриваемые криком проводников, бежали дружно, отбивая копытами дробь.

Уже остались позади многие кривуны и разнообразные ансамбли скал, но край ущелья еще не виден. Пейзаж скучный. Высокие каменные стены, словно гигантские занавеси, исписаны скупым рисунком лишайников. Редко где увидишь карликовую березку или прутик багульника, поселившегося на холодных уступах.

Неожиданно мы вспугнули двух черных воронов. Их присутствие в этой глубокой щели озадачило нас. Рядом светлая долина, где много солнца и простора, но они живут здесь, предпочитая мрак, застойную сырость.

Но вот скалы раздвинулись, пропустив в ущелье свет. Вдали показались горы. А еще километров через десять мы наконец-то увидели берег Маи. Там и заночевали.

Река Мая в верхней части протекает по плоской и сравнительно широкой долине, затянутой смешанным лесом, преимущественно лиственничным. Горы здесь пологи, с хорошо разра-

ботанными лощинами. Зато дальше, отступая от реки, виднеются громады угловатых гольцов. Кругом нерушимо лежит зима, и только лес шумит не по-зимнему, напоминая о недалеком переломе.

Чуть свет мы уже были в пути.

Из-за правобережного хребта грузно поднимались взбудораженные ветром тучи. Толкая друг дружку, они расползались, затягивая небо. А следом за ними мутной завесой хлестала по вершинам гор непогода. Потянула встречная поземка, и снова захолодало. Свежие хлопья снега косо падали под ноги, засыпая следы.

В двенадцать часов мы добрались до лагеря Лебедева.

– Кажется, никого нет! – крикнул Василий Николаевич, соскочив с нарт и заглядывая в палатку.

Стоянка занесена снегом. Ни человеческих следов, ни нарт, ни оленей…

– Странно, куда же они ушли? – удивился я.

– Ты спрашиваешь про людей? Ушли сегодня далеко, не скоро вернутся, – пояснил Улукиткан.

– Откуда ты узнал? Почему так думаешь?

– Эко, не видишь! Читай, тут хорошо написано. – И старик показал рукой на ближайшую лиственницу.

На ней я увидел обыкновенный затес и воткнутую горизонтально ерниковую веточку с закрученным кольцом на конце.

– Ничего не понимаю! Обычный затес. Ты шутишь, Улукиткан.

– Как – шутишь? Поди, не слепой! – Он с досадой схватил меня за руку, потащил к лиственнице. – Хорошо смотри, я рассказывать буду. Раньше эвенки совсем писать не умели. Когда ему надо было что-нибудь передать другой люди, он делал разный метка на дереве, смотря чего ему надо сказать. Если хозяин чума или лабаза кочевал со становища совсем, то веточку клал прямо, куда ушел. А если уходил надолго, но хотел обязательно вернуться, конец веточки заворачивал назад кольцом. Понял? Твоя глаза есть, хорошо смотри: каюр Лебедева правильно писал, что обязательно вернутся сюда, но не скоро. Если же эвенк кочевал на два-три дня, то кольцо веточки пускал немного вниз. Когда он уходил на день, в другом месте ночевать не хотел, веточку клал без кольца, концом прямо вниз. Теперь твоя понимай? Раньше эвенки все так делал.

– Как не понять! Но откуда ты узнал, что они уехали сегодня?

– Все тут на веточке написано. Как не видишь? Смотри, тут ножом вырезано четыре острых зубца подряд и один тупой. Острый зубец – это по-нашему солнечный день, тупой – непогода. Значит, Лебедев кочевал отсюда после четырех подряд хороших дней на пятый, в непогоду. Теперь хорошо считай сам и скажи, когда он ушел.

– Верно, уехали сегодня, – вмешался в разговор Василий Николаевич. – Вспомните, ведь солнечные дни начались с четвертого числа, мы еще за перевалом были, и продолжались они четыре дня, а сегодня по счету пятый день – и первый день непогоды. Ты смотри, как просто и ясно! Грамотному человеку, пожалуй, и лиственницы не хватило бы все расписать, а у эвенка столько вместилось на веточке… Скажи пожалуйста! И как ты, Улукиткан, все это видишь?

А тот, все еще покачивая от удивления головою, продолжал досадовать на нашу безграмотность, на то, что мы не обладаем нужной наблюдательностью, не замечаем многого, не умеем доискиваться причин самых разнообразных явлений в природе.

– Человеку не напрасно дан ум, – заключил он. – Если нашел на снегу кучу перьев – не ходи дальше, непременно узнай, чьи они и почему лежат тут; если заметишь сломанную веточку – тоже узнай, кто и зачем ее сломал; увидишь след бежавшего сокжоя – разберись, от кого он удирал. Глаз все должен видеть. Но только видеть – это мало, нужно и понимать, что видишь. – И, махнув на нас безнадежно рукой, он стал распрягать оленей.

«Вот он, истинный следопыт, дитя природы, свидетель далекой старины! – думал я, с восхищением поглядывая на Улукиткана. – Таких, как он, остается все меньше и меньше. Они уходят из жизни, унося с собою историю и веками накопленный опыт своего народа. Трудно даже представить, какие огромные знания накопил этот бывший лесной кочевник и как все ему понятно в жизни тайги. Какое это счастье для человека – выработать в себе с молодых лет пытливость, любознательность, интерес к загадочным явлениям, научиться находить всему причины!»

…Лебедев обосновался на берегу Маи, в двух километрах выше устья левобережного притока Кунь-Маньё. Слева лагерь стеной огибал рослый лес, а справа к нему прижался наносник из серых помятых стволов, принесенных сюда водой в половодье. Палатка, приземистая, как черепаха, сиротливо стояла под огромной лиственницей. Рядом на четырех ошкуренных столбах возвышался лабаз, заваленный грузом и прикрытый брезентом. Ветер хлопал обгорелой штаниной-пугалом, подвешенной на кривой жердочке. Под лабазом висели туго набитые потки, ремни, посуда проводников, лежали ящики с гвоздями, цементом, круги веревок, тросы. Следы же пребывания людей были скрыты под снегом.

Путь окончен. Груз наш сложен под брезентом, а освободившиеся нарты, изрядно помятые жесткой дорогой, лежат перевернутые вверх полозьями. В палатке на печке бушует суп, переплескиваясь через край кастрюли. Душно от пара и перегоревшего жира.

Я сижу за дневником. Рядом со мною – Улукиткан. Он рассказывает о лесной письменности и внимательно следит, как по бумаге скользит карандаш.

Сначала я слушаю рассеянно, как говорится вполуха, но через несколько минут бросаю писать и весь превращаюсь в слух.

Как много знает этот человек! Как интересно его слушать!

Из его рассказов я узнаю, что в старину эвенки не делили год на двенадцать месяцев, как это принято всюду. Они его разбивали на множество периодов, в соответствии с различными явлениями в природе, имеющими какую-то закономерность. Даже Улукиткан, доживший до пятидесятых годов нашего столетия, все еще пользуется в личной жизни таким календарем. Если он говорит: «это было, когда крепкий мороз», то надо понимать – это случилось в январе; «много снега на ветках» – февраль; «когда медведица щенится» – март, «время наледей» – апрель; «прилетают птицы» – май; «одеваются в зелень лиственницы» – июнь; «жаркие дни» – июль; «когда олень сбрасывает кожу с рогов» – август; «когда в тайге трудно собирать оленей» – сентябрь; «белка становится выходной» – октябрь; «самое добычливое время» – ноябрь; «сохатый теряет рога» – декабрь. Эти большие периоды, в свою очередь, делились на мелкие, приуроченные к явлениям в природе, имеющим более точное время. Если Улукиткан говорит: «это было время начала паута», то он имеет в виду примерно 10 июня; «когда кукушка начала кричать» – 20 мая; «когда лебедь на север летит» – конец мая; «начало гона у сохатых» – 17 сентября…

Этот неписаный эвенкийский календарь хранит в себе много интересных, проверенных столетиями наблюдений над явлениями природы. Как ни странно, некоторые из этих дат долгое время были предметом споров в научных кругах.

Эвенки – прекрасные таежники. От их наблюдательности не ускользают малейшие изменения в окружающей обстановке, они прекрасно ориентируются, разбираются в следах зверей, в звуках. Для них в тайге нет ничего нового, неожиданного, ничем их там не удивишь. Для эвенков веточка с кольцом и надрезами, которые мы только что рассматривали, вполне заменяет письмо. Это довольно странная и необычная письменность кочевника, да и деревянная «расписка» и многое другое дошли до нас из глубокой старины вместе с ее представителями – стариками. Жаль, если с ними она и умрет.

О нашем приезде Лебедев не догадывался. Он ушел с отрядом на восток, намереваясь обследовать большой узловой голец, со склонов которого берут начало реки Кунь-Маньё, Сага, Нимни. После окончания этой работы он должен будет перебраться на Джугджурский хребет.

Сегодня вечером мы встретились в эфире со своими радиостанциями. Нам передали приятные вести: главный инженер Хетагуров с группой геодезистов третий день штурмует Чагарский голец. Топографы Яшин и Закусин ушли своими маршрутами в глубину удских марей и по кромке Охотского моря. След обоза астронома Каракулина, обогнув с севера Становой, убежал вдоль Джугджурского хребта к истокам Уяна. Наследили нарты геодезистов по рекам Гуанам, Арга, Селиткан. Обогрелась кострами разрозненных отрядов Тугурская тайга, там и тут пробежали топкие снежные тропки к вершинам крутогорбых хребтов. Оживились пустыри человеческими голосами да стуком топоров.

Часть вторая

I

Весна идет. Утро на глухарином току. Танец медведя. «Карта» Улукиткана. Снова в путь!

Затейник апрель входит в свои права. Спорят солнце, снег и вьюга. Подспудно звенят ручьи. Лес наполняется таинственным шорохом пробуждающейся природы.

Я проснулся рано. В лагере спокойно: ни суеты, ни говора людского, даже трубы над палатками не дымятся. Это, кажется, первый день за время нашего путешествия, когда не нужно думать о дороге, о наледях, когда усталым глазам не надо всматриваться вперед в поисках прохода.

К лагерю табуном подошли олени. Они лениво потягиваются, выгибая натруженные лямками спины. Затем все разом поворачивают головы в сторону убежавшей от лагеря реки.

Что их насторожило?

Нигде никого не видно, но слух улавливает шорох, будто кто-то, раздвигая почерневшие ветки, несмело идет по лесу. Стайка птиц торопливо проносится навстречу этому таинственному гостю. Вот он уже совсем близко, от его невидимого прикосновения вздрогнули сережки на ольховом кусте, зашуршали старые неопавшие листья. Я уже чувствую на лице чье-то теплое, нежное дыхание.

Это весна! Это она взбудоражила оленей и растревожила лес.

Ласковый ветерок перебирает густую ость на полношерстных боках оленей. Он шарит по вершинам старых лиственниц, пробегает по чаще и поспешно улетает дальше, к холодным вершинам заснеженных гор, оставив в воздухе какое-то смятение да бродящий запах весны, принесенной с дальнего юга.

Солнце, выпутавшись из лесной чащи, осветило пробудившийся лагерь. Олени ложатся на снег и, пережевывая корм, чутко прислушиваются к ветру. Бойка на пригреве зализывает раны.

Улукиткан дерет с жимолости волокно для мочалок. Василий Николаевич и Геннадий готовят баню. Кучум воровски высунул из палатки морду с украденным куском сахара в зубах. Он осмотрелся, подошел к костру, похрустел сахаром, облизнулся и озабоченно принялся ловить блох у себя в шубе.

Здесь, в верховье Маи, нам придется переждать распутицу. Отсутствие Лебедева в условленном месте расстраивало наши планы. Но прежде чем отправиться на розыски его под голец Сага, необходимо починить одежду и обувь, изрядно потрепанную, помыться, постирать белье. К тому же олени обессилели и нуждаются в длительном отдыхе.

Скоро будет готова баня. У края наносника большим пламенем бушует костер. Рядом с ним в береговом тальнике вырыта яма-ванна. Тут же устроен настил полуметровой высоты в виде топчана, заменяющий парной полок. Все это размещено на площадке в пять квадратных метров и так, чтобы можно было поставить палатку.

Гаснет пламя костра, разваливаются угли, обнажая под собой кучу крупных камней, сложенных горкой и побелевших от накала. Мы убираем остатки углей, выстилаем яму-ванну водонепроницаемым брезентом и наливаем горячую воду. Затем ставим палатку. Баня готова. Внутри жарко от раскаленных камней.

Купаемся по двое. Заплескалась вода, раздулась от пара палатка. Геннадий от всей души хлещет стланиковым веником по разомлевшему телу Василия Николаевича. Тот вертится вьюном, стонет, кряхтит. А каменка шипит, захлебываясь паром. Геннадий часто приседает, чтобы

охладиться, и с новой силой хлещет Мищенко. У того голос слабеет, стихает, и слышно, как он безмолвно валится в ванну.

– Эко осерчал Геннадий! – говорит Улукиткан, неодобрительно покачивая головой.

– Сейчас наша с тобой очередь, готовься, – сказал я старику.

– Оборони бог! – испугался тот. – Моя свой баня делать буду, а тут не могу, сразу пропаду.

И он опасливо отошел в сторону, не сводя недоумевающих глаз с палатки, окутанной паром.

После бани мы занялись стиркой, а наш Улукиткан, усевшись на снегу, стал мыться. Пододвинув поближе ведро с теплой водой и стараясь не замочить унты, он, не раздеваясь, начал намыливать голову. Старик фыркал от удовольствия, плескался, как утка. Затем он отжал из волос воду и натянул на мокрую голову меховую шапку-ушанку. Немного передохнув, он стащил со своего тщедушного тела рубашку, помыл костлявую грудь и, не вытираясь, надел чистую рубашку, а поверх дошку. Снова передохнул и снял унты вместе со штанами. Высохшие, тощие ноги плохо отпаривались…

– Эко зря кричал Василий, ведь так куда с добром мыться можно, – рассуждал шепотом Улукиткан.

И действительно, даже после такой своеобразной «бани» посвежел старик, посветлели его глаза.

Собрав грязную одежду, Улукиткан запихивает ее в ведро, намыливает, выжимает и, не вставая с места, бьет то рубашкой, то штанами о корявый ствол лиственницы – это и называется у него стиркой…

За почерневшим лесом в глубоком отливе неба чуть виднеются высокие хребты. На лабазном срубе с ледяных свечей сбегают капли влаги. Расползается теплынь по чаще, по снегам.

День кончился. Долину прикрыла тьма. Морозная ночь быстро сковала размякший снег.

Все собрались у меня. В палатке полумрак. В печке изредка вспыхивает пламя, обливая тусклым светом сгорбленные фигуры сидящих людей. На их лицах, выхваченных из темноты, покой и скука. В тишине слышно, как губы громко всасывают горячий чай да на зубах похрустывают сухари.

– Эко кислый фрукт! – говорит Улукиткан, обсасывая лимон и морщась, как от ушиба.

– Корку-то не ешь, она горькая, – предупреждает его Мищенко.

– Пошто «не ешь»? Горькая языку, да ему мало заботы, а брюху польза. – И по скуластому лицу старика расплывается улыбка.

– Что будем делать завтра? – спрашиваю я.

Все молчат. В углах палатки еще больше сгустился сумрак. Кто-то зажигает свечу.

– Ленивому – сон, быстроногому – охота, а усталому оленю – свежая копанина, – наконец отвечает Улукиткан, разгибая онемевшую спину.

– Чем же ты займешься?

– Сокжой искать надо. Обеднел наш табор, костей не осталось, ножу делать нечего, да и брюху скучно!

– Когда собираешься? – настораживается Мищенко. – Может, вместе пойдем? Вдвоем веселее.

– В пустой тайге и втроем веселья не жди, а на свежем следу зверя и одному хорошо. Утром глухариный ток ходить буду, потом надо искать место, где сокжой стоит, и рыба надо поймать. Хорошо, что у глаз рук нет, – все бы захватил. Тьфу, какой люди жадный!..

– Вот уж не ожидал от тебя, Улукиткан! Знаешь, где ток, и молчишь! Я, можно сказать, для тебя все: и крепкого чаю заварю, и мозговую косточку припасу, а ты вон какой!

– Эко зря серчал, Василь! Я думал, по тонкому насту тебе глухаря не скрасть – шумно больно, напрасно пули терять будешь.

– Под песню к любому подберусь, шум тут ни при чем. Говори лучше, где ток, вместе пойдем.

– Моя утром слышал – глухарь щелкал прямо на восход, думаю, там ток. Ты иди сам, моя другой знает охота, твоя так не может, – упрямится старик, хитровато усмехаясь.

Еще посидев немного, он уходит, унося с собой тайну своих замыслов.

А мы с Василием Николаевичем решаем так: на ток пойду я, а он спустится по Мае вниз и осмотрит реку – нет ли где большой полыньи, чтобы поставить сети, обойдет боковые ложки – может, нападет поблизости на след сокжоя или сохатого.

Перед сном готовим ружья, лыжи, котомки, привязываем собак. Я подготовил мелкокалиберку, а Василий Николаевич – винтовку.

Еще задолго до рассвета мы позавтракали и покинули палатку. Я задерживаюсь, чтобы по ходу Василия Николаевича определить, как далеко слышен шорох лыж. Стою долго. Тот давно скрылся, а шум хрупкого наста все еще будит тишину. Это очень плохо. Не отказаться ли от поисков тока? Повернул ухо к востоку, послушал – не щелкает. Очевидно, притаились глухари. «А может, рано?» – думаю я и решаюсь идти дальше.

В лесу темно. Бледные лучи звезд не проникают в чащу. Осторожно пробираюсь меж стволов деревьев. Почти на ощупь обхожу валежник, пни и чутьем угадываю нужное направление.

Вдруг надо мною что-то прошуршало, будто невидимая птица задела крылом вершины деревьев. Я останавливаюсь. Шум, удаляясь, затихает, но из недр старой лиственничной тайги доносится еле уловимый гул – сдержанный, тревожный.

Иду дальше. Неожиданно лес редеет, показывается заснеженная поляна, а за нею – пологая возвышенность. До слуха доносятся приглушенные звуки. Настороженно вслушиваюсь. Звук долго не повторяется. Наконец где-то далеко над горою отрывисто щелкнуло, затихло на секунду, другую, да вдруг как польется: «Тра-та-та… Тра-та-та… Тра-та-та…»

Под тяжестью моих лыж шумно крошится наст, разрывая сонную тишину. Быстро пробегаю снежную полоску, взбираюсь на возвышенность.

«Тра-та-та… Тра-та-та… Тра-та-та…» – ясно слышится справа глухариная песня. Она размеренно разрывает тишину, стихает и снова льется по лесу. Где-то впереди на «полу» нежно квохчет самка глухаря – копалуха. Я слышу шорох ее распущенных крыльев, волнующие звуки любовного призыва.

Осторожно крадусь дальше. Кажется, все идет хорошо. Но вдруг надо мною раздается треск, удары тяжелых крыльев о ветки – и черная тень, оторвавшись от лиственницы, скрывается в темноте.

– Фу, черт!.. – вырывается у меня то ли по адресу вспугнутого глухаря, то ли собственной оплошности.

Взбираюсь на гребень и невольно замираю, прислонившись к березе.

Мутно алеет восток. Робкий свет прорезает редколесье. Где-то высоко пролетает ветерок, ласково касаясь вершин деревьев. Пробуждается лес, шепчутся о чем-то между собой ели, а ветерок уже далеко впереди…

Как хорошо дышится в это первое весеннее утро! Каким юным и радостным чувствуешь себя в этот ранний час! Вот так и стоял бы без конца, наслаждаясь пробуждающейся природой…

Вдруг слева внизу тихо прощелкал глухарь, как бы настраивая свой голос, другой ответил ему с гребня, третий как-то сразу азартно запел – и лес наполнился глухариной песней.

Я спешу на ближний звук. Ищу глазами птицу, знаю, что она где-то близко. Вон, кажется, чернеет на лиственнице, шевелится, увеличивается…

«Тра-та-та… Тра-та-та… Тра-та-та…»

Напрягаюсь, готовый к прыжку. Но песня почему-то льется однозвучно, не заканчивается бурным и страстным шипением, когда глухарь на несколько секунд становится слеп и глух, позволяя охотнику сделать два-три прыжка к нему. Наконец догадываюсь, что имею дело с каменным глухарем, в песне которого нет этого колена. Значит, нужен какой-то иной подход к птице. Не зря предупредил Улукиткан, что к ней под песню не подойдешь. А как же он скрадет?..

Глухарь четко выкроился пышным силуэтом на фоне раскрасневшейся зари и, не смолкая, льет в пространство потоки безудержной песни. На «полу» квохчет копалуха. Она бесшумно перебегает от певца к певцу, как бы не зная, на ком остановить свой выбор, – до того хорошо все поют.

Делаю еще несколько шагов, но предательский наст выдает меня: глухарь внезапно смолкает, сжимается и настороженно повертывает краснобровую голову в мою сторону. Я чувствую на себе взгляд пары острых глаз, глушу дыхание, боюсь пошевелиться.

Медленно тянутся минуты. Сквозь верхние кроны деревьев проникает ласковый утренний свет. Где-то далеко-далеко, в глубине леса, рождается ветер и, точно шум прорвавшейся воды, приближается и порывисто несется мимо. Глухарь не выдерживает поединка, вытягивает черно-сизую шею, надувает зоб, веером распускает приподнятый хвост. Вот он отбросил кверху голову, щелкнул раз, другой – и вновь полились навстречу утру живые звуки весенней песни. Глухарь поет долго, величаво, сдержанно царапая сучок острыми концами крыльев.

Когда гордый певец, захлебываясь, зачастил свою трель, я осторожно поднял ствол винтовки. Но глухарь мгновенно смолк, повернулся к заре и, захлопав могучими крыльями, исчез за курчавой вершиной.

Острая горечь неудачи овладевает мною. Присаживаюсь на валежину, чтобы прийти в себя, но на вершинах лиственниц опять вижу токующих глухарей. Встаю и снова крадусь между стволами деревьев к ближнему глухарю.

Гремит под лыжами проклятый наст. Слышу удары крыльев о ветки и торопливый взлет. Неужели придется вернуться в лагерь ни с чем?

Выхожу на гриву. Яркие лучи восхода уже пронизывают лес. Всмотревшись в продолговатую полоску заледенелой мари на дне лога, окруженную редкими стволами низкорослых елей, замечаю какое-то движение – что-то черное и крупное шевелится там, на закрайке мари.

Кажется, медведь! Вот он выходит на лед, осматривается и, потоптавшись на месте, пересекает марь. Но ведет себя при этом косолапый как-то необычно: то подпрыгивает, словно спутанный, то начинает проделывать какие-то забавные движения. Возможно, он только что вылез из берлоги и разминает долго бездействовавшие лапы. У меня мгновенно созревает решение: опередить его правым распадком и на гриве подкараулить.

Расстегиваю телогрейку – так легче дышать, затягиваю потуже пояс и сваливаюсь в ложок. Брызжет из-под моих лыж снег, мимо мелькают лиственницы, приземистые ели, кусты. На ходу достаю левой рукой две запасные обоймы малокалиберных патрончиков. Вижу на «полу» расфуфыренного глухаря, парадно чертящего крыльями жесткий снег. Но сейчас не до него!

Слышу, будто где-то пролаяла собака. Сдвигаю пятки, круто скашиваю лыжи, останавливаюсь. Действительно, за гривой, где видел зверя, лает какая-то собачонка пискливым голосом. Это не Кучум и не Бойка. Откуда же она взялась? Может, Лебедев приехал? Но и у его собаки Берты не такой голос. Бегу на лай. Поднимаюсь на гриву, подкрадываюсь к толстой лиственнице и смотрю вниз. Зверь уже прошел марь, но собачонки возле него не видно, хотя лай слышится ясно. Всматриваюсь в редколесье – поблизости тоже никого нет. «Что за ерунда!» – думаю, а сам не выпускаю из поля зрения зверя. Он, все так же по-смешному подпрыгивая, подвигается ко мне. Между нами на ветке большой лиственницы сидит глухарь. В лесу совсем светло, солнце уже поднялось над тайгой. Где-то далеко забавляются криком куропатки. А

собачонка все лает и лает, но обнаружить ее мне никак не удается. Замечаю что-то странное и в фигуре медведя: морда тупая, сам короткий, а зад приподнят высоко, и масть какая-то светлая. Понять не могу, что за урод. А зверь, тем временем приблизившись к глухарю, вдруг поднимается на задние лапы, выпрямляется в полный рост… и до моего слуха долетает звук выстрела. Глухарь, ломая ветки, падает на снег.

Я не могу удержаться от хохота, узнав в поднявшемся «медведе» Улукиткана. Догадываюсь, что это он и собачонкой лаял, чтобы усыпить бдительность глухаря.

Скатываюсь к нему. Старик, заметив меня, идет навстречу, волоча убитую птицу. На нем оленья доха, вывернутая наружу шерстью и стянутая по животу веревкой.

– Хитро придумал, Улукиткан, обманул глухаря и меня! – весело встретил я его.

Старик приподнял маленькую голову, помолчал и устало раскрыл сухие губы:

– Когда маленький был, много так добывал. Ни один собака лучше меня не подлаивал глухарю. А теперь сердцу плохо, ноги не пляшут, голоса нет, насилу обманул, – ответил он, бросая под ноги птицу и отогревая дыханием закоченевшие руки. – Слабому оленю и добрая тропа хуже каменного брода. Так и мне теперь…

– А я ведь принял тебя за медведя, скрадывать начал…

Улукиткан, сузив изуродованные старостью веки, взглянул на меня.

– Эко за медведя! – усмехнулся он. – Ево походка совсем другой, как не узнал? Глаза близко не должны обманывать.

Мы тронулись к лагерю. Холодный утренник бросал в лицо жгучие занозы. Стихал ток. Торопливо отлетали копалухи, роняя на тайгу глухие прощальные звуки. Где-то на гриве вяло стрекотал одинокий петух.

Прошел и второй день в мелочах. У Василия Николаевича появились свежие латки на штанах, новая самодельная трубка; Геннадий сделал ножны; Лиханов и Пресников подстриглись. Но в лагере царит скука. Я не раз садился за дневник – не пишется. Пытаюсь убедить себя в необходимости длительной передышки, но не могу заглушить таинственный зов гор, влекущий в путь, требующий движения. Вижу, что не выдержим долго такой передышки, измучаемся, – так не лучше ли сразу отправиться на поиски Лебедева? Но на чем ехать? Если прервать отдых оленей, то они окончательно выйдут из строя и не смогут летом работать. Идти же пешком, с одними котомками, в такой далекий маршрут – безумие: ведь еще зима, без палатки и печки прожить трудно.

Вечером Геннадий по рации принял радиограмму от начальника партии Сипотенко, работающего на Алданском нагорье, с просьбой обязать Лебедева как можно скорее обследовать район стыка Станового и Джугджурского хребтов, что туда он посылает свое подразделение на соединение с Лебедевым и, если тот к их приходу не наметит вершины гольцов под пункты, это вызовет простой.

– Лебедева искать – только время терять. Кто знает, где он? – говорит Василий Николаевич, вопросительно посматривая на меня. – Неужто без него не сделаем обследования?

– Ты прав, – ответил я. – Не будем отрывать Лебедева от работы, пойдем сами на хребет. Но как идти? Оленей нужно поберечь. Да и погода, видишь, опять задурила.

– Что-нибудь придумаем, – говорит Василий Николаевич.

Вечером поговорили, посоветовались и решили послезавтра выступать. Со мной пойдут Василий Николаевич и Александр Пресников. Сделаем двое легких нарт с расчетом, чтобы можно было разместить в них двухнедельный запас продовольствия, небольшое походное снаряжение, и потащим их сами.

Ночная темнота покрыла лагерь. На отогретый дневным теплом лес падает густая изморозь. Ни один звук не нарушает покоя. Тихо и в палатке. Под свечой, установленной на высоком колышке, горбит спину Улукиткан. Он делает «карту» хребтов и ключей по нашему маршруту.

– Это Мая, – говорит он, кладя на расправленный брезент веточку, изогнутую в двух местах и с раздвоенной вершинкой. – Тут Селиткан, Кукур, тут Удюма…

И старик к веточке прикладывает с двух сторон прутики, изображающие притоки, а к ним – еще более мелкие прутики, чаще раздвоенные, обозначающие распадки. Он поднимает голову и напряженно смотрит на «карту», разбираясь в рисунке. И по мере того как в голове у него одна за другой меняются мысли и складываются решения, лицо его проясняется и веселеет.

– Эко худой голова стал, опять путал! – говорит Улукиткан, передвигая веточку. – Теперь хорошо слушай, я буду толмачить. Тут есть большой гора, много скал, ходить шибко плохо, без нужды не лезьте туда. – И он ткнул кривым пальцем в междуречье севернее Кукура. – Перевал надо искать в прямой вершине Маи, с той стороны к нему Удюм-река подходит. Если пойдете по Джугджуру утром, хорошо смотри – справа в распадках должен сокжой стоять. По туману, оборони бог, не ходите – обманет. Заблудитесь – не делайте нового следа, своим возвращайтесь. Не ленитесь котомку с собой таскать: в таком деле ее тяжесть – помога; хлеб, спички, топор должны быть у каждого. С пургой без дела не связывайтесь, ее не переспоришь. Вот и все… Не забывайте слова старика, дельно говорю. – И, отодвинувшись от свечи, он раздавил ладонью на лбу крупные капли пота.

Я снял копию «карты» на бумагу и надписал названия притоков.

Следует сказать, что эвенки обладают замечательной памятью. Увидев однажды местность, даже со сложным рельефом, они запоминают ее на долгие годы почти с точностью топографического изображения. Это они дали названия бесчисленным рекам, ключам, озерам, хребтам, урочищам на большой части территории Сибири. В недалеком прошлом по их рассказам геодезисты и топографы составляли первые листы карт многих отдаленных районов, куда исследователю трудно было проникнуть. Им, эвенкам, да и другим народам Севера, топографическая карта обязана детальной расшифровкой необжитых территорий. Кому из путешественников, даже нашего времени, в своих маршрутах не приходилось с благодарностью пользоваться копией «карты», вычерченной каким-нибудь старожилом на песке или нарисованной им на клочке бересты?

В геодезических работах, как говорится, первая скрипка принадлежит инженеру-рекогносцировщику. Он первый проникает в неисследованные районы, взбирается на главные вершины хребтов, на возвышенности, откуда обычно открывается далекий горизонт и можно зримо представить местность. Рекогносцировщику надо обладать большой выносливостью, уметь хорошо ориентироваться в любых условиях: в тайге, тундре или в горах.

В районе, куда мы добрались после месячного путешествия, рекогносцировку пунктов должен произвести Кирилл Родионович Лебедев.

Но пока он будет обследовать голец Сага, а Пугачев пройдет по южному краю Алданского нагорья, мы постараемся разобраться в довольно сложном рельефе стыка трех хребтов и наметим два пункта на господствующих вершинах, если, конечно, сможем взобраться туда по снегу. Затем вернемся в лагерь и пойдем разыскивать Лебедева. К тому времени он, вероятно, будет обследовать южные отроги Джугджурского хребта.

Следующий день, тринадцатое апреля, прошел в хлопотах и сборах. Сделали две нарты с широкими, как лыжи, полозьями, отобрали продовольствие, снаряжение, напекли дня на четыре лепешек, отварили в дорогу остатки медвежьего мяса. С собой берем маленький теодолит, винтовки, фотоаппарат, бинокль. Улукиткан с явным беспокойством следит за нашими сборами. Все ему не нравится: то, по его мнению, мы берем с собой лишнюю одежду, то сделали большие, не по нартам, тюки, то очень длинно привязали ремни. Старик видит каждую мелочь, он не раз ходил сам с нартой и хорошо знает, что такое узкие лямки, лишняя тяжесть или тесная обувь в походе. Он неустанно бродит по лагерю от одного к другому и то перепакует тюк, то усядется к костру ремонтировать лыжи или заделывать концы веревок.

Когда одна нарта была загружена и увязана, он недоверчиво осмотрел ее, перекинул через плечо лямку и протащил метров пять.

– Однако, неладно, напрасно силу терять будете, – говорит он, неодобрительно покачивая своей маленькой головой, перехваченной на лбу вместо шапки куском материи. – Если дорога по льду пойдет, надо тяжелый груз вперед класть; когда будешь идти мелким снегом, тяжесть клади на середину нарты, а по глубокому – позади. Понял? Лишний раз груз на нарте переложишь – дальше ночевать будешь, – сказал он и стал развязывать узлы веревок.

Переложив груз по-своему, Улукиткан протащил нарту вокруг палатки.

– Видно, старик неплохо сделал, легче стало тащить. Зачем мозолить пятки, если можно перемотать портянки, ноге будет хорошо… – тихо говорит Улукиткан.

И мы снова придирчиво проверяем обувь.

Заканчивается теплый весенний день. На вершинах туполобых гор догорает отблеск заката. По небу плывут легкие редеющие облака. Стихают последние порывы ветра. Быстро вечереет. В стылой синеве неба одна за другой загораются звезды.

Вечером нам из штаба сообщили прогноз погоды на ближайшие пять дней.

– Синоптик грозится похолоданием, – сказал Геннадий, передавая мне радиограмму. – В нашем районе завтра и в последующие два дня ожидается снегопад и ветер. Не лучше ли вам отложить поход? Намучаетесь по такой погоде, да и не сделаете ничего.

– Ую-юй, это как синоптик далеко видит? – удивился Улукиткан, стоящий рядом со мною.

Он смотрит на горизонт, вычерченный потемневшим контуром гор, бросает озабоченный взгляд на тайгу, прислушивается. Все безмятежно, спокойно. Старик поднимает голову к небу, но и на небе, видимо, не находит предзнаменований непогоды. На его лице появляется явное сомнение.

– Что, не будет снегопада?

– Часто ворон кричит, еще не видя добычи, а кукша верит ему и летит за ним понапрасну. Однако, завтра снега не будет.

Лагерь пробудился еще до рассвета. Старики развели костер. Мы загрузили вторую нарту. Бойка печальными глазами следит за сборами; она еще не поправилась и должна отлежаться. Кучум, в восторге от предстоящего путешествия, бегает от пня к пню, оставляя на них свои пометки, бросается то вверх, то вниз по реке и, возвращаясь, заглядывает каждому из нас в глаза, будто стараясь выпытать, куда же пойдем.

Во взгляде Улукиткана открытая зависть. В думах, может быть, необъятный для глаза захребетный край, куда мы идем, где прошло его очень далекое детство, где позже, в годы молодых сил, он мытарил горе лесного кочевника. С какой радостью он взглянул бы теперь, спустя много лет, на родные места, на обширную Учурскую тайгу, прикрывающую восточный край Алданского нагорья, на стылые мари, пронизанные стрелами заледеневших рек, на плоские холмы, исписанные следами сохатых, сокжоев!.. Но мы наотрез отказались взять его с собой: старик сильно похудел за дорогу, еще больше сгорбился, ему нужен длительный отдых.

Кладу в карман кусочек лепешки. На ощупь проверяю, не забыл ли взять с собой нож, спички, записную книжку, буссоль. Александр Пресников уже впрягся в переднюю нарту, широкие лямки обняли его богатырские плечи. На ногах у него болотные резиновые сапоги, и от этого он кажется еще более грузным. Одет же Александр легко – на нем фланелевая куртка, брезентовые штаны, на шее шарф, голова непокрытая.

Мы прощаемся. Улукиткан задерживает мою руку.

– Будешь на высокой горе – переверни за меня один большой камень, – просит он, улыбаясь.

– Хорошо. А для чего это?

– Пусть смерть думает: какой Улукиткан еще сильный, даже гору ломает! Бояться меня будет…

Хрустнул под лыжами настывший за ночь снег. Тоскливо взвизгнула привязанная Бойка. Александр стащил нарты на лед, окинул прощальным взглядом лагерь и потянул скрипучий след в глубину гор. За Пресниковым пошел я; Василий Николаевич подталкивал мою нарту сзади.

Впереди лежат широкой полосой малоисследованные хребты – Становой и Джугджур. Их мрачные вершины, окутанные полупрозрачной дымкой, выглядывают из-за пологих отрогов. Всюду видны глубокие провалы, нагромождения разрушенных скал. С чувством неясной тревоги мы продвигаемся в глубь этих таинственных гор, куда редко или совсем никогда не проникала нога человека. Что ждет нас там, в заснеженной теснине? Какой сюрприз приготовила для нас природа? Мне кажется, что только сегодня, четырнадцатого апреля, мы и начали по-настоящему свое путешествие.

II

К верховьям Маи. Следы любовных игр белок. Перевал. Встреча со стадом снежных баранов. Ночью на крутом спуске

Идем легко. Встречный ветер выжимает слезу. Одежда вымокла от пота. Александр молча тянет нарту, проминая лыжами снег, прикрывающий лед. Наш путь вместе с рекою вьется меж гор. Начинается подъем. Лямки глубже врезаются в плечи, нарты тяжелеют, укоротились шаги, и километры кажутся бесконечно длинными. Но на душе радостно, как это бывает всегда в первый день путешествия, когда влечет вперед неизвестное, а запас сил еще не тронут.

Все сильнее пригревает солнце. Вместе с нами идет в горы осторожной поступью весна. Стоит ей коснуться своим теплым дыханием покрытых снежным саваном гор, как тотчас же на них появляются проталины россыпей, пятна вечнозеленых стлаников, как начинают чернеть скалы. Снег оседает, раскрывая перед нами следы зимних бурь.

Прошли устье Салакита. За кривуном, как только оборвался лес, открылась ослепительная панорама гор, втиснутая в рамки береговых скал.

Делаем привал.

Мои спутники занялись костром, а я продолжаю рассматривать суровый облик незнакомых гор, пытаясь угадать, что ожидает нас там, в холодных теснинах. Слева отчетливо видны колючие гольцы с выпученными к солнцу черногрудыми мысами. Кое-где уже заметны протаявшие ребра отрогов. Правее этих гольцов горы кажутся более пологими, но дальше по горизонту снова громоздятся их приметные вершины.

Очевидно, что мы находимся близко у границы между Становым и Джугджурским хребтами. Но определить границы сейчас еще трудно: первые впечатления могут быть обманчивыми, поскольку мы смотрим на горы снизу, с короткой дистанции, и видим только их южные склоны.

На проталине, где мы остановились, сухо. У костра, уронив голову на грудь, дремлет Александр. Видно, убаюкали лямки тяжелой нарты богатырскую силушку нашего передовика, подломились могучие ноги, притомилась, сгорбилась спина. Давно догорела прилипшая к нижней губе цигарка – сон оказался сильнее. Рядом крепко спит и Кучум, пригретый солнцем, и во сне, видимо, гоняет зверя: нервно визжит, дергает лапами, изредка открывает глаза, но не пробуждается.

Василий Николаевич готовит обед.

Я бросаю на мох телогрейку, ложусь и снова чувствую всем телом явственное дыхание горной весны, слышу шорох оседающего снега. Вероятно, чуют ее приближение и спрятанные

под снегом в почве корешки трав, цветов, семена однолетних растений. Скоро из земли по корням поступят первые капли сока, лопнут почки и деревья выбросят зеленую листву. Пробуждаются и отогретые весенним теплом личинки, червячки, букашки, мухи. Многие из них уже выглядывают из своих убежищ, сделанных в коре, в трещинах сухоствольных деревьев, в щелях скал и других укромных уголках, но еще не решаются покинуть зимние квартиры.

– Александр, слышишь, Александр, глянь-ка, зверюгу какую поймал! – кричит Василий Николаевич, протягивая к спящему сложенные горстями руки. – Да пробудись ты, Сашка!

– Ладно, не дури… – бурчит тот, сплевывая потухшую цигарку и сонно причмокивая губами.

– Говорю, взгляни!

Александр открывает глаза и в недоумении осматривается.

– Фу-ты, черт! – бросает он с досадой, не обращая внимания на протянутые руки Василия Николаевича. – Понимаешь, женку видел, ругает меня за что-то, а сама ластится, обнимает… Нужно же было тебе в такой момент будить…

– Чего это тебе приснилась она в пути, видно, не уморила дорожка?

– Сон не закажешь.

– А я комара поймал, не знаю, что ему присудить.

– Раненько вылетел, не терпится. Дай посмотреть на него, голубчика…

– Говорят, от одного комара к лету тысячи наплодятся. – Василий Николаевич осторожно заглядывает внутрь сложенных вместе ладоней.

– Удрал, бродяга… Так и есть!

– Значит, лето, Василий, комариное будет. Ты взгляни-ка, пожалуйста, на губе у меня волдырь, что ли, вскочил? Видно, от цигарки.

– Точно, ожог. Крепко приласкала женка! – смеется Василий Николаевич.

Отдохнув, снова трогаемся в путь.

Солнце, перевалив за полдень, стало припекать сильнее. Размяк и оттаял снег. Река в стремительном беге завалила проход подмытыми стволами деревьев, скатившимися со склонов крупными валунами. Занырял наш след по оврагам, то в лес, то на реку. Александр вдруг останавливается, сбросив лямки, что-то разглядывает на снегу.

– Звери прошли, – говорит он, указывая на свежие следы.

Действительно, только что перед нами долину пересекли пять сокжоев: один крупный самец, две самки и два прошлогодних теленка. Бежавший позади Кучум потянул носом, метнулся пятным[27] следом, но мгновенно исправил свою ошибку и покатился черным клубочком вдогонку за зверями по снежному полю.

Перемахнув русло реки, кобель нырнул в таежку и исчез в боковом распадке. Мы продолжаем стоять в ожидании чего-то, хотя знаем, что из затеи Кучума ничего не получится: сокжой – животное очень пугливое, и собаке не остановить его.

– Теперь не жди до утра, – сказал Василий Николаевич, махнув в сторону убежавшего Кучума.

Александр молча набрасывает на плечи лямки, сдергивает нарты, и мы продолжаем путь. Идем долго, тяжело. Плечи горят под лямками, как от ожога, спина не разгибается, словно стянута железным обручем.

Под вечер мы добираемся до широкого распадка с густой таежкой по краю и тут решаем заночевать.

На последнем километре пути к лесу я заметил на снегу следы белок, пробежавших табуном в распадок. Их было шесть. Один след оказался необычным: он состоял из трех отпечатков лапок и одной черточки – зверек, очевидно, хромал на левую заднюю ногу. «Куда это они

[27] *Пятным* – обратным.

направляются?» – подумал я и тут же вспомнил, что у белок в это время года гон – брачная пора. Интересно было бы посмотреть праздник любви этих маленьких и очень забавных зверьков, до этого никогда мною не виденный.

Добираемся до стоянки, ставим палатку за ветром. Мои спутники занялись заготовкой дров на ночь, а я становлюсь на лыжи и бегу в распадок по следам белок. До наступления темноты остается еще час. Следы ведут меня левым бортом, по-над кромкой леса, через километр круто сворачивают вправо и большим полукругом огибают склон. Кажется, самка нарочито обходит распадок, намеренно оставляя за собой признаки любовных желаний для приманки новых самцов.

На возвышенности осматриваюсь и прислушиваюсь. Солнце, свалившись в раструб двух вершин, оставило на своем пути красное прозрачное облачко. В зареве заката бесчисленные отроги Станового кажутся окаменелыми волнами разбушевавшегося океана. В ущелье над лагерем шатром растянулся дым. Мутная синева сумерек сгущается с каждой минутой. Над головою внезапно ухает сова и в испуге шарахается обратно в лес. До слуха доносится цоканье белок. Правлю лыжи на звук и скатываюсь на дно ключа. Надо мною смыкаются темными сводами вершины лиственниц. Неподалеку слышится возня, пискливый шепоток. На шапку падает шелуха коры, содранной чьими-то коготками. Но рассмотреть в темноте я уже ничего не могу, запоздал. Свадебный табор белок, вероятно, располагается на ночлег, и любовные игры начнутся с рассветом…

Тороплюсь на стоянку. Нужно хорошо отдохнуть, чтобы завтра сделать очередной бросок к перевалу. В палатке полумрак. Василий Николаевич и Александр дремлют, сидя возле печки. Тут и Кучум. Он только что прибежал, еще не отдышался, зализывает намятые подошвы лап. Ужинаем и ложимся спать. Я прошу Василия Николаевича разбудить меня пораньше.

Трудно просыпаться в походе, когда еще не отдохнули ноги, когда на плечах еще не рассосались кровоподтеки от лямок. Чувствую, припекает бок. Повернулся в спальном мешке, отодвинулся бы от печки, да некуда. Стало невмоготу. Гляжу на часы: маленькая стрелка подходит к четырем.

– Ну и натопил же ты, Василий! – говорю я укоризненно.

– Да вы так крепко уснули, что не мог разбудить, дай, думаю, накалю печь, сам пробудится.

Мы быстро одеваемся, завтракаем, спутники мои свертывают лагерь, а я иду своей вчерашней лыжней в распадок. По ущелью тянет предрассветный ревун-ветерок. Синеватой наледью стелется яркое звездное небо. Еще темно, но дятел стуком будит утро. Слух улавливает в лесной тишине и знакомое цоканье разыгравшихся белок. Табун на том же месте, где я его оставил вчера. Подхожу поближе и жду рассвета.

Медленно расползается тьма. Сквозь густую крону лиственниц широким разливом отбеливается небо. В просвете мелькнули две горбатые тени, и раздалось страстное цоканье в несколько голосов. Зашуршала, осыпаясь, кора, запрыгали по веткам черные комочки. Ложусь за валежину, чтобы не быть замеченным.

Пока вижу только трех белок на вершине развесистой лиственницы. Две из них сидят на одной ветке, почти рядом. Они пристально смотрят вниз, вытягивают шеи и нервно подергивают хвостиками. Появляется и третья. Припав к стволу, она осторожно спускается вниз, впиваясь острыми коготками в кору. Зверек то угрожающе горбит спину, то в страхе замирает, обнимая лапками ствол и роняя в лесную тишину любовные призывы. Не могу понять, кому он их посылает. Вижу еще одного зверька на нижнем сучке этой же лиственницы. Он беспрерывно вертится, как заведенная игрушка, и злобно цокает. Малейший шорох вызывает в нем ярость. За ним-то, вероятно, и следят сверху самцы. Но где же сама виновница?

В чащу сочится весенняя заря. В лесу становится светлее и шире. Свет наступившего утра тревожит зверьков. Сидящие на вершине лиственницы самцы словно намереваются сорваться

вниз. Но там их подкарауливает соперник. Я слышу, как он раздраженно фыркает, угрожающе точит коготки о кору и ни на секунду не гасит своего гневного взгляда. Вдруг, словно ужаленный, он бросается вверх навстречу самцам, и те рассыпаются по веткам, как стайка птиц, настигнутая ястребом. А в это время слева качнулась вершинка на высокой ели, и на ветку лиственницы упал еще один зверек. Не успел он закрепиться на гибкой веточке, как на него коршуном налетел разъяренный соперник. Я вижу, как в гневе сомкнулись их гибкие тельца, переплелись хвосты, полетели клочья шерсти. Одним пушистым комком они взметнулись в воздухе и, ломая сучья, упали на хрупкий снег. Короткая возня, писк… Находящиеся на верху лиственницы самцы бросаются вниз, но их снова встречает разъяренный окрик соперника, успевшего подняться с земли. Он не забыл про них даже в злобной схватке.

Еще секунда – и победитель на нижнем сучке. Бросая на вершину грозный взгляд, он тяжело дышит, устало подергивает хвостом. И тут раздается протяжный звук низкого тона, полный ласки и призыва. Только теперь я увидел самку. Она наростом прилипла к корявому стволу лиственницы, на высоте двух метров от земли, растянув по сторонам лапки и спустив хвост. Бесшумно крадется она по сучку к ближайшему из самцов, почти беззвучно что-то бормочет, перебирая усатыми губами. Избранник готов кинуться ей навстречу, но его удерживают на месте дерзко наседающие сверху, с боков соперники. Он мечется в бешеной злобе от одного к другому, цокает, фыркает, грозит. Ему даже некогда привести в порядок свою шубку, изрядно помятую в схватках.

Солнечные лучи, пронизав чащу, окончательно рассеивают сумрак, и зверьки, будто понимая, что истекает время их игр, еще ожесточеннее кидаются в схватку. И самка, видимо, решает прийти на помощь своему уставшему избраннику. Поцарапав коготками кору и раздраженно подергав хвостиком, белка соскакивает на снег и неторопливо направляется вверх по ключу. Вслед за нею падают с веток на землю темные комочки: горбя спины, зверьки устремляются за самкой. Сползает с лиственницы ранее не замеченный мною шестой зверек с рыжим хвостом и ушами. Прихрамывая на левую заднюю лапку, он семенит следом за свадебным табунком…

С исчезновением этого зверька будто упал занавес, не позволивший посмотреть интересный спектакль. Я встаю, разминаю замлевшие ноги и осматриваю уголок свиданий. На снегу видны свежие и давнишние стежки и вмятины, следы беличьих драк. Видимо, здесь, у слияния двух ключей, и происходят постоянно любовные игры белок, причем этим местом свидания, вероятно, пользуется только одна самка, избравшая распадок своим местом жительства.

На стоянке я застаю моих товарищей уже готовыми двинуться в путь. Мы покидаем гостеприимный распадок. Снова обняли лямки натруженные плечи, в глубину гор потянулся нартовый след. Солнце пригревает нас, скрашивает однообразный путь.

Впереди и сегодня идет Александр. Тяжелыми лыжами он крошит настывший за ночь наст. Однотонно скрипят полозья. Я тащу вторую нарту. Идем быстро. Пока стоит хорошая погода, нужно торопиться: не ровен час, прорвется буран, и тогда нам придется задержаться, а то и отложить обследование хребтов до установления погоды. Наша задача – определить местоположение двух наиболее значительных вершин на хребтах, на расстоянии примерно двадцати пяти километров друг от друга, а это возможно только при хорошей погоде.

В полдень устраиваем на часок передышку.

Заметно редеет на нашем пути лес, чаще попадаются продолговатые мари, а даль попрежнему закрыта боковыми отрогами.

Солнце уже скрылось за горами, гаснет заря, далеко в небе ярким огоньком загорелась Венера, а лыжи все шуршат и шуршат о наст, и полозья поют заунывную песню. Сдвигаются впереди потемневшие горы, выжимая из лощин мрак наступившей ночи.

– Кажется, умотала меня дорожка, леший бы по ней ходил тут, – говорит Александр, останавливаясь на минутку и смахивая с усталого лица липкий пот. – До мыса бы добраться, там, кажется, место затишное.

Василий Николаевич сменяет его, и мы идем дальше. Темнота перехватывает ущелье, исчезает из глаз мыс. Уставшие ноги с трудом месят снег, но, собрав последние силы, мы все-таки добираемся до намеченной стоянки. Еще час работы по устройству ночлега – и задымилась печь, мы сбрасываем с себя верхнюю одежду, снимаем унты, разматываем портянки и с наслаждением отдыхаем за кружкой чая…

Спали эту ночь крепко, как могут спать люди, уставшие от тяжелого физического труда.

Рассвет застает нас в спальных мешках, в сознании не сразу восстанавливается обстановка. Я выхожу из палатки посмотреть, что делается вокруг.

Ни малейшего ветерка. Торжественно-спокойно стоят ели, с их ветвей неподвижно свисают длинные светло-зеленые пряди лишайников. Солнце светит ярко. В лесной чаще загораются тысячи алмазов, яхонтов, рубинов; кажется, крохотными цветными фонариками увешана тайга. Я присматриваюсь: это замерзшие на веточках вечерние капли влаги. Лучи солнца, преломляясь в их неровной поверхности, отражаются ярким, радужным светом. Но солнце все выше поднимается над ущельем, отогреваются заледеневшие капельки, фонарики тускнеют и гаснут.

Столбом потянулся в небо дым – к погоде.

Завтракаем и собираемся в путь.

– Александр, посмотри, нарты твои сломаны, – огорченно говорит Василий Николаевич.

– Фу-ты, ведь и вправду сломались, а я вчера и не заметил. Тащу – чуть не лопну, а сам думаю, с чего бы это так ослаб?

– Да и я вчера еле дотащился с ними и даже пожалел тебя: дескать, тяжесть какую везет мужик и все передом. А тут гляди: и полозья разошлись, и вязки порвались…

Это открытие неожиданно расстроило наши планы. Ведь мы находимся всего в четырех-пяти километрах от Майского перевала, да и жалко потерять погожий денек. Решили оставить Александра ремонтировать нарты, а самим идти на перевал и, если позволит время, взобраться на одну из ближних вершин, чтобы осмотреть окружающие горы.

Поднимаемся прямой лощиной, забитой плотным снегом. С котомкой, не с нартами, идти легче: путь прямее, да и шаг свободней. Все ближе подбираемся к границе бесплодных россыпей, напрасно глаза что-то ищут в снежной белизне крутых склонов отрогов. Здесь нет ни следа зверя, ни птицы, не слышно ни единого живого звука. Может быть, от этого дорога кажется утомительной и скучной.

Подбираемся к перевалу.

Василий Николаевич идет ходко, иногда круто ломая направление. Пот слепит глаза, холодный воздух не освежает сухого рта.

В одиннадцать часов шестнадцатого апреля мы достигли перевала. Широкий коридор разделил однообразные горы. Мая остается позади, вдавленная в раструб ближних отрогов. В северо-северо-западном направлении виден пологий распадок – правый исток Удюма.

Василий Николаевич снимает винтовку, и тишину гор потрясает короткий выстрел.

– Надо же отметить наше появление тут, – говорит он, вслушиваясь в затяжное эхо, разбудившее ущелье. – Славно прокатилось, далеко слышно.

Признаться, мы не ожидали найти в районе стыка трех хребтов легкодоступный перевал. Жаль, что с него не видно панорамы гор, – заслоняют ближние склоны и лиственничная тайга, пробравшаяся сюда узкой полоской с Маи.

Сегодня нам нужно подняться на ближайший отрог, с которого были бы видны горы. Там определим местоположение значительных вершин на Становом и Джугджурском хребтах

и наметим подходы к ним. В последующие дни попытаемся подняться на эти вершины, чтобы определить возможность постройки на них геодезических знаков.

Подтягиваем юксы на лыжах, торочим телогрейки к котомкам. Путь начинается крутым подъемом. Как не помянешь добрым словом того, кто первый догадался подшить лыжи камусом! Взбираешься ли на них по твердому или мягкому снегу на гору, пересекаешь ли склон, такие лыжи не сдают, только тверже шагай и не теряйся на крутизне. Мелкая, но жесткая, как щетина, шерсть на камусе тормозит обратный ход и выдерживает тяжесть человека даже на таком подъеме, когда рукой почти достаешь носок лыжи.

За первым изломом подъем стал положе. До вершины отрога остается километра два. Идем гребнем. Слева осыпи, стекающие длинными языками на дно глубокого распадка. Справа тянутся прерывистые стены невысоких скал. Врезаясь в нижний склон отрога, они образуют продолговатый цирк с крутым и гладким дном.

Последний подъем берем по твердому надувному снегу, нависшему карнизом над скалами.

Вот мы и на вершине отрога. Василий Николаевич сбрасывает с плеч котомку и, усевшись на обломке, закуривает. Солнце еще высоко, но уже тянет холодный сиверок. Я надеваю телогрейку, достаю тетрадь и тоже усаживаюсь на пригреве. Сквозь прозрачный воздух хорошо видна даль. К сожалению, вершина отрога, на которой мы сидим, по высоте намного уступает соседним гребням, они-то и заслоняют видимость в сторону Джугджурского и Станового хребтов. Открыт только юг.

Там в синеющей дали лежат волнистые гряды гор, облитые снежной белизною. Когда смотришь на них со стороны, кажется, что все они находятся во взаимной связи между собой и не разделены глубокими ущельями. Словно дюны на морском берегу, горы эти однообразны. Не видно выдающихся вершин, да и сам Джугдырский хребет – южное ответвление Станового – не выделяется сколько-нибудь заметными нагромождениями, хотя он и образует Зейско-Майскую водораздельную линию. Только далеко-далеко, в центре панорамы, чуть заметно виднеется скалистый голец. Это, вероятно, голец Сага, где находится сейчас подразделение Лебедева.

На севере, примерно в шести километрах от нас, параллельно оси Джугджурского хребта протянулась высокая гряда. За ней, как бы в провале, прячется юго-восточная часть Алданского нагорья. Мое внимание привлекает зубчатая вершина гряды, которая заметно возвышается над ближними горами. С нее, вероятно, можно будет увидеть все, что нас здесь интересует. Завтра мы передвинем нашу стоянку за перевал, поближе к вершине, попробуем подняться на нее. Гаснет тихий апрельский день. Темнеют ущелья. По вершинам проносится холодный ветерок. Пора возвращаться к палатке.

Василий Николаевич лежит с биноклем на камне, просматривает склоны ближних отрогов. И вот он рукой подзывает меня к себе, загадочно улыбаясь.

– Смотрите по гребню вниз… Видите лощину и за ней небольшие скалы?

– Вижу. Ну и что?

– От них левее и дальше серые полоски россыпей, а наверху замечаете белые крапинки? Это бараны. Честное слово! С полчаса за ними следил, не могу разглядеть, что это такое. Их тут целое стадо. Что делать будем? – с невинным видом спрашивает Василий Николаевич.

Он равнодушно отводит взгляд от зрелища, неторопливо развязывает котомку и вытаскивает лепешку.

– Пожуй маленько, задави червячка. – И, взглянув на солнце, тревожно шепчет: – Как быстро день пролетел, не запоздать бы, могут уйти…

Я знаю: если Василий Николаевич переходит в разговоре со мной на «ты», значит волнуется. Сейчас он искусственно напускает на себя спокойствие, разговаривает лениво и как бы нехотя жует лепешку, но глаза украдкой скользят по гребешку, намечая спуск, ищут прохода

между скалами, на лице у него написано сомнение: не уверен, соглашусь ли я идти так далеко за баранами, ведь день уже на исходе. И он прибегает к давно мне известному уговору – соблазну.

– Мясцо у этого зверя, должно быть, хорошее. Вишь, на каких высотах живут, тут от одного воздуха жиром заплывешь. – Василий Николаевич громко причмокивает губами, будто слизывая с них душистый бараний жир. – Наверное, и крупные самцы есть в стаде, неплохо бы парочку черепов добыть для коллекции. Ну, просто мясо само в руки идет, ей-богу. Я и коньячку захватил для такого случая, – шепотком добавляет он.

– Ладно, пойдем, там и спустимся в лагерь, – отвечаю я ему, будто действительно поддался уговору.

– Тогда поторапливайся, не ушли бы кормиться далеко.

Василий Николаевич вскакивает и бежит за лыжами и рюкзаком.

Мы пересекаем лощину, взбираемся дальше по скалистому гребешку. Солнце на короткое время еще задерживается у горизонта. На нас падают тяжелые тени мрачных вершин Станового.

– Посмотреть бы надо, не ушли ли, – говорит Василий Николаевич, вытаскивая из-за пазухи бинокль.

Теперь он уже не скрывает волнения, припадает спиной к скале и замирает, а бинокль в руках заметно дрожит.

Румянится небо. Вечер окутывает ближние вершины дымкой. Тускнеет снег. В молчаливых сумерках теряется величие диких гор.

– Промешкали мы с лепешками, а бараны ушли, – бросает с досадой Василий Николаевич, отрываясь от бинокля. – Я проберусь косогором к лощине, а ты выскочи на гребень, да торопись. Они где-то тут. Смотри же, стрелять придется со скалы вниз, мушку под зверя клади, иначе обвысишь, – наставляет он меня уже на бегу и исчезает между облаками.

Я забираю влево, поспешно перебегаю небольшую снежную котловину, поднимаюсь на каменистый гребень, осматриваюсь. Темным, настороженным взором следят за мною скалистые вершины. На каждом шагу подстерегает россыпь. Путь Василия Николаевича изредка отмечается шорохом срывающихся из-под его ног камней.

Слева снежный откос глубокого провала, облитый нежной позолотой заката. Я вижу звериную тропу. Вероятно, где-то близко впереди есть перешеек, соединяющий две противоположные впадины. Кидаюсь туда, торопливо взбираюсь еще на одну вершину, снова осматриваюсь. Василия Николаевича не видно. Неожиданно слева выходят на тропу три барана. Они идут медленно, лениво, доверившись вечернему покою, не предполагая опасности. Я не стреляю, до них далеко. Спешу к перешейку: захватить бы остальных. Снизу доносится выстрел. Вздрогнули скалы, разломился звук и заглох далеким эхом. Я останавливаюсь. Слух улавливает стук камней – где-то правее и ниже меня бежит по открытой россыпи стадо баранов. Гул приближается, усиливается и превращается в сплошной рокот. Сбрасываю котомку, оставляю лыжи и с винтовкой бросаюсь наперерез к краю гребня. Острое ощущение азарта полностью овладевает мною, придает неведомую силу и энергию. Ноги с акробатической ловкостью прыгают с камня на камень, руки безошибочно хватаются за выступы, а в голове только одна мысль: не поспеть, пробегут!

Вот и край гребня. Надо бы отдышаться и дать успокоиться сердцу, иначе промажу. Но по грохоту камней догадываюсь: звери уже пробегают перешеек. На бегу заряжаю винтовку, ощупываю: не сбилась ли прицельная рамка. Стук опережает меня, уходит в сумрак и там обрывается, словно провалившись в пустоту…

Сбегаю ниже, глаза продолжают что-то искать, хотя уже понимаю – все упущено. Вижу, как в снежную белизну откоса вонзается темная полоска и непрерывной чертою продвигается по тропе. Это бараны. Они удирают пугливыми бросками к соседнему гребню и исчезают в густых вечерних сумерках.

Я останавливаюсь на последней террасе у перешейка. Острой занозой впивается обида. От этого все вокруг становится еще темней и угрюмее: куда ни глянешь – вздыбленные вершины гор и угрожающие утесы. Мелкие скалы, словно живые чудовища, приподымаются надо мною. Вдруг с противоположной стороны перешейка доносится подозрительный шорох. Я поворачиваю голову, прислушиваюсь. Через минуту там же стукнул камень: «Кто-то ходит…» И как бы в подтверждение на зубчатом гребешке появляется продолговатая тень. Разглядеть ее уже невозможно, темно. К счастью, левее, между двух скал, светится полоска прозрачного воздуха. Тень не торопясь подвигается к ней, прыгает с уступа на уступ и вдруг замирает у просвета. Я падаю на холодный камень, просовываю вперед винтовку. Снизу доносится крик Василия Николаевича. Тень прыжком вырвалась из темноты и замерла в просвете силуэтом настороженного барана. Ясно вижу его приподнятую голову с огромными рогами, вывернутыми острыми концами наружу, согнутую пружиной спину и короткие ноги, примостившиеся на небольшом выступе. Зверь неподвижно и четко выкроился на прозрачном небе. Я припадаю к ложе винтовки, направляю ствол к просвету, но напрасно ищу в прорези прицельной рамки мушку – ее уже не видно. Я готов вскрикнуть от досады. А баран медленно поворачивает голову в мою сторону и пристально смотрит вниз и вдруг, почуяв опасность, бесшумно исчезает в щели.

С тоскою неудачника поднимаюсь на гребень за рюкзаком и лыжами. Шаги мои подстерегают пустоты, ночь слепит глаза. Ведет меня слабая надежда на то, что, может быть, Василий Николаевич добыл зверя, ведь я слышал его выстрел.

– У-лю-лю… – кричу я ему.

Он откликается откуда-то снизу, зовет к себе. Нахожу свою ношу, беру лыжи и безвольно, устало спускаюсь вниз. Под ногами шевелится россыпь, скатывающиеся камни тревожат тишину.

– Сюда! – кричит Василий Николаевич.

Он стоит на камне с рюкзаком и винтовкой за плечами, склонившись на сошки[28]. По его позе догадываюсь, что и его постигла неудача.

– Что не стреляли? – спрашивает он с явным упреком. – Бежали хорошо на вас, все ждал, вот начнете!

– Не успел, прошли низом, – отвечаю я. – А у тебя что тут случилось?

– По стаду стрелял, заворачивал на вас. Вышел сюда, смотрю – звери уже проходят котловину, уйдут, думаю, не догнать, да и темно уже. Что делать? Вижу – впереди них большой камень, я и бахнул по нему. Пуля щелкнула там и взорвалась, звери, как по команде, повернули назад и бросились к вам. Да, вишь, неладно получилось… Почему-то ни одного рогача не было, самки да мелочь, а ведь большое стадо, голов двадцать, если не больше. Разве старые бараны не живут с самками?

Я почитаю за лучшее промолчать о только что упущенном мною матером рогаче и отвечаю нехотя:

– Кто его знает! Сам тоже вижу их впервые, да и читать не приходилось. А зверь очень интересный. Поживем тут, может быть, кое-что и разгадаем.

Темно. Спускаемся по крутому гребню, совершенно не представляя, что нас ждет там: приют или ловушка. Под ногами то россыпь, то скользкий надувной снег, то развалины скал, затянутые непролазным стлаником. Уставшие за день ноги отяжелели и потеряли упругость. На твердом надуве Василий Николаевич вдруг срывается и взмахивает руками, пытаясь за что-нибудь ухватиться, и исчезает в темноте. Доносится рокот камней, сбитых падающим телом, а затем удары его о твердый снег, шорох потревоженной россыпи.

– Василий! – кричу я, заглядывая под надув.

---

[28] *Сошки* – рогулька, на которую опирается ружье во время стрельбы.

– Идите левее, – слышу приглушенный голос.

Спускаюсь по густому стланику, удерживаясь руками за кусты. Василий Николаевич стоит на краю ската, прикладывает к окровавленному лицу снег. Перевязываю платком пораненный лоб Василия Николаевича, ищу среди камней его лыжи, и мы возобновляем спуск.

Южный ветерок приносит тепло и запах леса. Отступают уснувшие вершины гор, проясняются ущелья. Крутизна переходит в пологий спуск. Становимся на лыжи и скатываемся в тайгу.

С каким нетерпением ждал нас на привязи Кучум! Его слух, конечно, не мог пропустить выстрела. Он внимательно обнюхивает Василия Николаевича, меня, наши котомки, заглядывает мне в глаза, как бы пытаясь разгадать своим собачьим умом, что произошло в горах.

Василий Николаевич чистит винтовку и рассказывает Александру про встречу со стадом баранов, а я забираюсь в спальный мешок, и сон поглощает горькое чувство неудачи и обиды, пережитое три часа назад.

III

Наконец-то нашему взору открылся Джугджур! Старинное стойбище эвенков. В глубь Станового. Бесславный конец круторога. Ночь под скалой

На следующий день с семи часов утра мы уже тащили нарты к перевалу. Погода продолжает благоприятствовать нашему путешествию. Вчерашняя лыжня настыла хорошо, и полозья по ней скользят, как по льду. Только плечам неловко от лямок, но шагается легко, и на душе снова бодро и радостно от свежего утра и ожидания новых впечатлений и встреч.

Горы надвигаются на нас, ущелье сужается, тяжелеют на подъеме нарты. По боли в плечах я чувствую, как нарты ныряют в выемки, стружат борта лыжни, перегибаются на буграх, струною натягивая ремни. Александр идет, как обычно, впереди, по-бурлацки сгибая спину и вытягивая длинную шею. Иногда он на минуту задерживается и поворачивает к нам угрюмое лицо. В его строгом взгляде, в стиснутых челюстях неукротимое упорство.

Лыжня, взбираясь на перевал, виляет по пологому склону. У всех раскраснелись лица, пар идет от натруженных спин. С трудом добираемся до края россыпи на половине подъема. Сбрасываем лямки и все падаем в изнеможении. Я смотрю на своих спутников и жду, что они начнут сейчас проклинать этот день и того, кто придумал лямки, но Александр молча достает кисет, привычным движением руки отрывает клочок бумажки и начинает вертеть неизменную козью ножку.

– Так что, Василий, надо полагать, женка сегодня не приснится, – говорит он, передавая приятелю щепоть табаку для трубки.

Василий Николаевич меряет взглядом оставшийся до седловины подъем, покачивает головой.

– Пока взберемся на перевал, в глазах двоиться будет, – отвечает он и окутывается дымом.

Уже полдень. Отогретые солнцем россыпи украсились узором цветных лишайников. На пригорке ноздрится снег. Темнеют увалы. В испарине весеннего дня отдыхает лес. Еле уловимый ветерок разбрасывает по горам запах набухших почек, прелых листьев. Неохота вставать, но время поторапливает нас.

Впрягаемся трое в одну нарту: Василий Николаевич с Александром впереди, я сзади. Идем без лыж. На подъеме промоины, террасы, заледеневшие бугры. К обнаженным камням липнут полозья. Последние сто метров преодолеваем на четвереньках, впиваясь пальцами в твердый снег и вдавливаясь в него коленями.

Наконец мы на перевале. Немного передохнув, тем же порядком вытаскиваем вторую нарту и начинаем спускаться к Удюму. Идем широким коридором в тисках однообразных гор.

Снег размяк, но лямки теперь не жмут плечи, нарты сами сползают вниз. За первым правобережным распадком открылась широкая долина с лиственничным лесом.

«Ки-ки-ки», – кричит дятел, как бы оповещая жителей леса о нашем появлении. Он отлетает метров на двести, прилипает к дереву, дожидается нас и снова отлетает вперед. Так дятел и доводит нас до небольшой поляны.

Спускаемся ниже к густому ельнику и совершенно неожиданно натыкаемся на останки старинного табора пастухов-эвенков. Табор был, наверное, здесь лет двадцать пять назад. Пни от срубленных деревьев уже сгнили, как и палки от чумов. Сделанные на деревьях затесы оконтурились толстыми многолетними рубцами. Медвежий череп, положенный в развилину ели, позеленел от времени и врос в кору. Жаль, что с нами нет Улукиткана, он, наверное, расшифровал бы, что означают вырезанные фигуры на старой засохшей лиственнице, напоминающие не то большекрылых птиц, не то злых духов, изображенных в виде чудовищных зверей. По незаметным для нашего глаза следам и отметкам старик многое рассказал бы о том, кто были эти люди, откуда они приходили сюда, зачем и куда ушли.

Вблизи старинного табора мы поставили свою палатку. До намеченной вчера вершины от лагеря остается всего пять-шесть километров. Она возвышается в виде острого конуса, заметно перекрывая своею высотой все соседние вершины гребня. Подъем снежный и не очень крутой, только последний отрезок, метров в пятьсот, затянут крупной россыпью и справа урезан невысокими скалами, поднимающимися до самого верха.

Разжигаем костер, варим ужин и с аппетитом, присущим людям, работающим постоянно на свежем воздухе, утоляем голод. Нам не надо изощряться в приготовлении кушаний, сдабривать их приправами и специями. Тут пища необычайно вкусна именно в натуральном виде, со своим мясным или рыбным ароматом, да было бы ее вдоволь. Наш сегодняшний ужин состоит из куска отварного мяса, бульона, кружки сладкого чая и лепешек.

В печке потрескивают дрова, уютно освещая внутренность палатки. Усталость упрямо напоминает о себе, но обстановка невольно заставляет меня раскрыть дневник и час-другой посидеть над записями.

В десять часов утра восемнадцатого апреля я и Василий Николаевич уже находились на последнем подступе к главной вершине боковой гряды.

Тонут в пространстве соседние отроги, и синева неба простирается до далекого горизонта. Все шире и величественнее раскрывается перед нами панорама гор, но я сдерживаю любопытство, стараюсь не смотреть по сторонам. Хочется одним долгим, запоминающим взглядом охватить все с высоты господствующей над местностью вершины.

На последнем подъеме напрягаю все силы и по пологому гребешку почти бегом выскакиваю на верх гольца.

Трудно передать радость этой минуты, незабываемое чувство восторга, которое охватывает меня всякий раз, когда я достигаю какой-то высоты и вижу своими глазами все то, что еще недавно казалось недосягаемым. Ради таких минут человеческого торжества над природой стоит идти еще дальше и выше, взбираться на надувы, карабкаться на скалы, спускаться на дно ущелий…

Полуденное солнце сквозь перистые облака бросает на горы снопы яркого света, и необозримо широкая горная панорама развернулась перед нами во всем своем многокрасочном, праздничном великолепии.

С вершины, где мы находимся, более доверчиво раскрывается восточный край Алданского нагорья. По высоте оно лежит метров на тысячу ниже этой вершины. Лиственничная тайга, раскинув широкие полы, затемнила бугристую землю. В белесоватую даль нагорья вонзились заледеневшие стрелы рек, в широких падях вырезались замерзшие болота. Изредка белеют снежные продушины плосковерхих сопок. Нагорье серо, неприветливо, безлюдно. Ничем не радует этот холодный северный пейзаж.

Лес, покрывающий Алданское нагорье, широким фронтом наступает и на отроги хребтов, несколько оживляя их суровый облик. Деревья взбираются по крутизне, по щелям, даже по скалам, селятся всюду, где есть хотя бы горсточка почвы для первого ростка. Но на подступах к вершинам они обычно гибнут в раннем возрасте, не выдерживая борьбы с ветрами и стужей.

До верхней зоны леса поднимаются только лиственницы; видимо, это единственная порода деревьев, способная отвоевывать для своего потомства новые места на более высоких отрогах. Но какими жалкими кажутся эти деревья, вклинившиеся в откосы мертвых курумов, и какой ценою они платят за жизнь!.. Их стволы изогнуты вместе с кронами в покорном поклоне солнцу. Такую форму лиственницам придали губительные ветры, дующие здесь чаще всего с севера и северо-запада. Корни деревьев обнажены, верхушки засохли, да и сами стволы почти мертвы. Жизни-то в них всего-навсего капелька, бережно спрятанная с подветренной стороны под узкой полоской коры. Деревья чаще стоят в одиночку, каким-то чудом удерживаясь на голых камнях. Они напоминают изувеченных воинов, уцелевших среди погибших товарищей. В таком почти омертвелом состоянии эти смельчаки еще продолжают бороться за свое существование.

Джугджурский хребет протянулся от нас широкой полосою на восток к Охотскому морю и виден на большом расстоянии. Мы стоим на его северной гряде, обрывающейся крутыми откосами к Алданскому нагорью. Насколько хватает глаз, до темно-лазоревого неба поднимаются мрачные и однообразные вершины, то куполообразные, то со срезанными макушками, напоминающими столовые горы. На фоне снежных полей контрастно выделяются руины прежних утесов. Как мрачные тени, проступают извилины глубоких ущелий. Неизгладимая печаль лежит на развалинах этих гор.

С высоты, на которой мы находимся, виден близкий край Станового и одинокая вершина далекого гольца, по форме напоминающая стог. Первое впечатление, полученное мною при взгляде на район стыка хребтов со стороны Купуринского перевала, сейчас подтвердилось. Становой действительно здесь не обрывается, а уходит дальше на восток широким разметом вздыбленных вершин. У истоков Удюма он немного понижается и отбрасывает на север мощный отрог, похожий на слоновый хобот. Ответвление заканчивается куполообразной вершиной, по высоте не уступающей многим вершинам главного хребта.

Естественной границы между хребтами не существует, очевидно, правильно считать, что Становой заканчивается этим северным отрогом и Майским перевалом – самой глубокой здесь седловиной.

Вокруг нас еще лежит зима, и под ее плотной шубой спрятан растительный покров гор. Нужно много теплых дней, чтобы на северных отрогах «прозрели» россыпи, поднялись придавленные снегом стланики, заговорили ручьи. Нет здесь и баранов. Они перекочевали за хребет на припеки. Там для них весна уже оттаивает травянистые склоны, обнажает пушистые ковры влажных лишайников. В залесенных лощинах изредка попадаются на глаза белые куропатки, желны, дятлы, кедровки-кукши, поползни, синицы. Этих птиц мы видели гораздо больше на южных склонах гор и по Майской долине, где теперь уже теплее. А здесь все живое как бы замерло в томительно долгом ожидании вешнего тепла и пробуждения.

Я заканчивал зарисовки и измерение азимутов на вершины хребтов и нагорья, когда из ближайшей расселины поднялся в воздух старый ворон со щербатыми крыльями, вероятно проживший всю свою долгую жизнь под сенью скал. Он покружился над нами и улетел обратно, уронив с высоты протяжный и грустный крик.

На обратном пути в лагерь увидели свежий след медведя, пересекший недавно нашу тропу. Он ушел на юго-восток, оставив на снегу глубокую борозду, ровную, как натянутый шнур.

– Сегодня восемнадцатое апреля? Поздновато вышел топтыгин из берлоги, – сказал Василий Николаевич. – Значит, весна не за горами.

На следующий день, лишь солнце выглянуло из-за гор, мы двинулись вниз по ущелью Удюма, намереваясь пробраться как можно дальше в глубь Станового хребта.

Долина Удюма в районе слияния двух верхних истоков широко раскинулась меж залесенных отрогов. Темная наледь перехватила ее каменистое дно. Мы сворачиваем по ней влево и продолжаем свой путь вверх по ущелью. Теперь нам хорошо видны последние отроги Станового, все выше поднимающиеся к небу. Ущелье становится тесным. Над головами смыкается горизонт.

Подвигаемся медленно. Русло реки местами перехвачено ледяными уступами. Лесная чаща, прикрывающая россыпи, раздвигается только под ударами топоров. Лыжи грузнут в промерзшем снегу, нарты тяжелеют…

После полудня справа показалась лощина с небольшим островком тайги. Добираемся до него и тут, у подножия последнего отрога Станового, разбиваем наш лагерь. На этот раз располагаемся не в ущелье, а на небольшой возвышенности, запирающей левый лог. Тут тепло.

Не успели мы выбрать место для палатки, как к нам пожаловала важная гостья – кукша. Усевшись на вершине ели, птица начала вертеться, хвастаясь, как на смотринах, то светлой грудкой, то рыжим хвостом. И вдруг, словно узнав кого-то из нас, подняла крик: «Эй!.. Эй!.. Эй!..»

– Ну, разболталась, кума! – откликнулся Василий Николаевич. – Чего ты тут бедуешь, дуреха, в этакой пропасти, в снегу? Посмотри, даже дерева доброго нет. Летела бы на юг, в хорошую кедровую тайгу, поближе к солнцу, непутевая ты птица!

Мы разжигаем костер, подвешиваем котел с мясом, чайник и, усевшись вблизи, молча наблюдаем, как огонь пожирает дрова. Лень пошевелиться – так хорошо у костра! Будто чьи-то теплые руки закрывают усталые глаза, клонят голову и влекут куда-то от скал, лямок, трудных дел…

Становится легко-легко, и я засыпаю…

Острый, едкий запах будит сознание. Что-то горит. Хочу крикнуть и не могу проснуться. Все же острое ощущение тревоги заставляет меня открыть глаза. На Александре горит телогрейка, огонь, вероятно, уже добрался до тела, но крепок сон уставшего человека.

– Горишь!!! – кричу я, зная магическую силу этого слова.

Оба мои спутника разом вскакивают. Александр сбрасывает с себя телогрейку и затаптывает ее в снег.

– Просил тебя, Василий, не подкладывай еловых дров! Вишь, как они искрятся! – говорит он с сердцем и хватается за бок. – Должно, здорово припалило. А мне казалось, будто солнце пригрело…

После обеда до сумерек остается еще часа четыре, и мы решаем сходить в разведку на ближайший гребень хребта. Может быть, в этом районе еще сегодня нам удастся увидеть господствующую вершину и просмотреть подход к ней. Попутно вынесем наверх инструмент, рюкзаки с продуктами и походной мелочью.

Связываем пару лыж, укладываем на них багаж, впереди пристраиваем ремни.

– А что, если мы возьмем с собой и полушубки? Думаю, утащим? – спрашивает у меня Мищенко. – Если завтра не успеем закончить работу на хребте, то и заночуем наверху, место под скалой найдется…

– Тогда уж клади и чайник, а я захвачу сухую жердь вам на дрова. Чай на гольце – куда с добром! – предлагает Александр.

Мы с Василием Николаевичем впрягаемся в лямки; Александр, привязав толстый конец сухой жерди к багажу, налегает на другой конец всей своей огромной тяжестью и подталкивает груз сзади. Впереди черным комочком скачет Кучум.

Над нами молчаливо возвышаются поднебесные зубья, прикрытые легкой тенью набежавшего облачка. Все выше, все ближе подбираемся к границе унылых скал. Языки отогретых солнцем россыпей все чаще перехватывают лощину.

Добравшись до первой плосковерхой скалы, мы услышали крики кедровок. Птицы взлетели в воздух пестрыми хлопьями и с криком скрылись за соседним гребнем. В это время кедровки – единственные обитатели гольцовой зоны гор. Они еще с осени напрятали здесь стланиковых орехов и теперь, по мере таяния снега, прилетают сюда из тайги кормиться.

Лощина суживается, врезаясь в крутогрудые откосы стен. Ущелье выводит нас в котловину, напоминающую небольшой цирк, откуда до верха остается километра полтора каменистого подъема.

Немного отдохнув, мы снова набрасываем на плечи рюкзаки, берем инструмент, полушубки, жердь и не торопясь взбираемся на гребень. Обидно, что и отсюда нам не удается разглядеть панораму Станового – ее заслоняет высокий отрог, тянущийся с востока на запад, всего в двух километрах от нас.

– Сходим? – спокойно предлагает Василий Николаевич, кивнув головой в сторону ближней вершины. – Не спускаться же на стоянку…

– Боюсь, запоздаем.

– Что вы, солнце еще высоко, успеем обернуться, – говорит он уверенно. – Александр пусть идет на табор. Пока поставит палатку, сварит ужин, и мы вернемся. А ежели темнота нас там прихватит, спустимся по гребню в ущелье.

– Попробуем!..

Складываем груз под камнями в приметном месте, идем налегке: у меня – только винтовка, а у Василия Николаевича – бинокль и на поводке Кучум.

Александр, проводив нас, спускается в лощину.

– К ужину свежих лепешек испеки! – кричит ему вслед Василий Николаевич.

Поднимаемся по узкому гребню, образовавшемуся из каменных глыб. Справа – склон, имеющий вид обвалившихся стен, с торчащими шпилями, а слева – снежная крутизна. Идем осторожно: уж очень скользко – того и гляди сорвешься…

Через полчаса мы наверху.

Открывшийся отсюда вид сторицей вознаграждает нас за усилия, заставляет забыть усталость… Перед нами впервые открылся Становой хребет! Бесконечные гряды гор заполнили широкий горизонт и подняли высоко к небу свои измятые вершины. Всюду видны глубокие лощины, куда стекают снежные обвалы. Словно гигантским резцом кто-то выгравировал на фоне неба грозные контуры скал, нависшие над окаменелыми потоками.

Становой, как и Джугджурский хребет, дает много ответвлений на юг и круто обрывается на север, образуя хорошо заметный спад к Алданскому нагорью. Ответвления начинаются остроконечными вершинами, но дальше переходят в плоские, вытянутые перпендикулярно оси хребта сопки.

Отсюда мы увидели и западную часть Алданского нагорья. Угрюмый и бескрайний океан тайги там пронизывают светлые ленты заледеневших рек, видны застывшие озера. На сотни километров раскинулся лес, то редкий, стелющийся по маристым низинам, то сплошным ковром покрывший возвышенности и широкие поймы рек.

Под нами из узкой расщелины вырывается Саракенда, левый приток Удюма. Раздвинув плечи скал, река в бешеном разбеге несется на север по довольно широкой, сплошь залесенной долине и теряется в сумрачной дали.

Василий Николаевич, красный, потный, но довольный, уселся на выступе скалы и, закурив, продолжает любоваться панорамой. Кучум, высунув язык, пристроился около него и отдыхает.

Просматривая горизонт, километрах в семи от нас я заметил продолговатую вершину. Не ее ли мы наблюдали с Джугджурского хребта? Завтра попытаемся подняться туда.

Вечереет. Неприветливо смотрят на нас все в багровых отсветах вершины гор. Темнеет в ущельях. Сумерки окутывают далекое нагорье. Заметно холодает. Пора возвращаться, но Василий Николаевич предлагает спуститься до южной террасы и оттуда попытаться определить более доступный подход к намеченной вершине.

Спускаемся по скользкому надувному снегу рывками, от россыпи к россыпи. За терраской – крутой склон, усеянный мелкими скалами, уже освободившийся от снега.

Когда мы подошли к краю террасы, Кучум вдруг вырвался вперед и, натягивая поводок, замер.

– Где-то близко зверь, – шепчет мне Василий Николаевич и начинает искать в карманах трубку. – Запропастилась, окаянная! Когда надо, не найдешь!

Он закуривает и по дыму определяет течение воздуха.

– С того края набрасывает запах. Должно, из-за террасы, – говорит он, огорченно поглядывая на солнце, и я вижу, как у него нервно дрожат веки. – Подержите-ка кобеля, а я просмотрю места.

Мы с Кучумом отходим в сторону. Кобель встревожен. Он пристально всматривается в зубчатый срез склона, освещенный закатом, и медленно шевелит ушами, как бы настраивая слух. Его влажные ноздри беспрерывно втягивают холодный воздух, текущий со склона. Кто-то там ходит. Я смотрю туда, прислушиваюсь, но, увы, ничего не замечаю. А Кучум нервничает, тянет поводок, ноги, как пружины, готовы бросить вперед гибкое тело.

Василий Николаевич достает из-за пазухи бинокль, приготавливается к обзору. Биноклем он владеет в совершенстве, а это очень важно для охотника – любителя горных охот. Ведь в естественных условиях чаще всего замечаешь зверя во время его кормежки или переходов, но увидеть без оптического приспособления, скажем, отдыхающих баранов, сокжоев или медведя даже на открытых горах почти невозможно. Вот почему биноклю и отведено первостепенное место в охоте на зверя, но нужно уметь пользоваться им и обладать терпением.

На охоте лучше иметь бинокль с шести-, максимум с восьмикратным увеличением. Его преимущество – большой угол зрения – пять-шесть градусов, тогда как восьмикратного – всего полтора градуса. Легко подсчитать, какой выигрыш во времени дает просмотр участка с помощью шестикратного бинокля. К тому же он гораздо легче других, а это тоже имеет значение при горной охоте.

Василий Николаевич достает из кармана гимнастерки фланелевую тряпочку, бережно вытирает ею стекла бинокля, затем усаживается под навес, прижимаясь спиной к скале, локти кладет на приподнятые колени и коротким взглядом определяет, с какого места начать обзор. Прильнув глазами к стеклам, он замирает. Теперь – ни камень, ни кустик, ни тень, ни выпуклость не ускользнут от его взгляда. Подозрительные предметы он осматривает более тщательно. Когда видимая местность хорошо проверена и никаких сомнений не остается, он передвигает бинокль вертикально или горизонтально, но всего лишь на половину поля зрения. Такой прием позволяет каждый участок осмотреть дважды. Вот и сейчас он терпеливо «исщупывает» весь шероховатый склон террасы, совсем забывая о том, что солнце уже у горизонта и что нужно торопиться.

Неожиданно Василий Николаевич взмахом руки подзывает меня к себе. Стоило мне пошевелиться, как Кучум рванулся и чуть не сбил меня с ног.

– Звери пасутся за крайним гребешком, взгляните-ка, – шепчет мой спутник, освобождая мне место и прицыкнув на Кучума.

Но разве вытерпит собака, когда ее ноздри наполнены запахом зверя, когда до слуха долетает шорох камней под копытами! Кучум даже не пошевелил ухом в сторону Василия Никола-

евича, словно не слыша сердитого требования стоять смирно, и продолжал нетерпеливо повизгивать.

Через окуляры бинокля ясно вижу на каменистой проталине трех небольших баранов. Они копытят землю, доставая корм. Снизу появляется четвертый. Это старый бородач, почти белый, с роскошными увесистыми рогами. Он взмахом головы отпугнул одного из молодых и стал тоже копытить, часто опуская голову к лунке. Я залюбовался красавцем.

– Хватит. Надо что-то делать, времени не остается, – говорит Василий Николаевич, тормоша меня за плечо. – Ты пристраивайся с винтовкой пониже, а я попробую забежать и пугну их сюда.

Последние слова он бросает уже на бегу. Кучум неудержимо тянет его за собой, и они быстро скрываются в котловине. Я осторожно спускаюсь до скалистого гребешка, укладываюсь меж камней с винтовкой наготове.

Солнце, задержавшись на склоне зубчатого отрога, на минуту выхватывает из синих теней снежные рубцы откосов, на которых должны появиться бараны. Из ущелья тянет ледниковым холодом.

Василия Николаевича не слышно. Тишина. Вдруг ухо улавливает странные звуки – не то отдаленную музыку, не то шорохи тяжелых глыб. Оглядываюсь в неясной тревоге. Подножия гор уже сжимает тьма. По ущелью к вершинам ползет туман. Кажется, что я один в целом мире встречаю эту холодную и чужую ночь. Не зря ли я послушался Василия? Не лучше ли было спускаться к табору?

До слуха долетает смутный шум, напоминающий ворчание зверя. По привычке прижимаю к плечу винтовку. Проходят две-три минуты, кажущиеся бесконечными. Туман бесшумно, воровски подкрадывается к вершинам.

Вот стукнули камни, и сердцу вдруг стало тесно в груди. Холодок пробегает по телу. Стук приближается. Сомнений нет – на меня бегут бараны. Напрягаю зрение: боюсь прозевать, не прошли бы стороною к нижней террасе. Вижу: из дальней лощины вырвались белые комочки и замерли на скалистом пригорке, метрах в пятистах от меня. Звери стоят неподвижно, откинув назад головы.

Но вот опять слышится стук камней. Бараны бегут гуськом по косогору вкось от меня. Их шесть. Старый круторог заметно выделяется среди молодых одногодков. Он ведет табун осторожно, часто останавливается и, ломая направление, бросается то вверх, то вниз: видимо, еще не может определить, с какой стороны опасность. За ним-то я и слежу – за каждым его поворотом, прыжком. Но круторог проявляет изумительную осторожность и, кажется, намеренно обходит меня.

Звери, перемахнув последнюю лощину, выкатились на гребешок и по нему рванулись вниз. Как ловко они скачут короткими прыжками с камня на камень, ставя почти вместе ноги! С какой гордостью старый вожак несет голову, бросая по сторонам беспокойные взгляды! Теперь табун почти вне опасности. До него метров триста… В бегущего зверя на таком расстоянии мне, конечно, не попасть. Какая досада!

Вдруг вперед выскакивает один из молодых баранов, неожиданно сворачивает в мою сторону и увлекает за собой остальных. Вот они уже близко – метров полтораста. Я прицеливаюсь. Старый круторог, будто предчувствуя роковую развязку, упорно увертывается от мушки, показывая мне из-за камней то спину, то голову. Бараны уже проходят по освещенному склону, вот-вот нырнут в лощину. Как их остановить?

Я свистнул. Табун остановился, а встревоженный круторог вскочил на камень, окинул беспокойным взглядом вершины гор.

От выстрела вздрогнули скалы, заметались в теснине раскатистые звуки. Баран вздыбился, отбросил назад тяжелую голову, словно прощаясь с небом, и тяжело рухнул на россыпь. Внезапно опомнившись, он поднялся, хотел прыгнуть, но снова упал и вместе с камнями пока-

тился вниз. Табун круто повернул назад и, пугливо шарахаясь из стороны в сторону, понесся на запад, к высокой скале. Там он и скрылся.

На горизонте догорает багровый закат. Вершины кутаются в синий завечерок. Я встаю, не сводя глаз с лощины. Вижу, к тому месту, где скрылся табун, поднимается раненый круторог. Он бредет тяжело и медленно, с трудом удерживая на ослабевших ногах полутораметровую тушу. Но голова по-прежнему гордо несет могучие рога. Теперь он даже не оглядывается, тревожное предчувствие гонит его дальше от рокового звука, отнявшего у него силы. Ему, видимо, хочется добраться до скалы. Кто знает, может быть, там, в тени ее карнизов, он родился, и, открыв первый раз глаза, увидел эти угрюмые вершины скученных гор, скользкие стены провалов, полосы многолетних снегов, и полюбил их на всю жизнь. И вот сейчас он, может быть, торопится взобраться на скалу, чтобы в последний раз взглянуть с высоты на окружающий мир, на родные утесы и на этом закончить свой беспокойный жизненный путь.

Эти мысли проносятся в моей голове в то время, как круторог, теряя последние силы, взбирается на первый карниз, нависший над пропастью. Я вижу, как он медленно поворачивает голову и долгим, испытующим взглядом смотрит в мою сторону. Давно затих стук камней под ногами убежавшего стада. На дне глубокого ущелья затаился туман. Настороженно приподнялись утесы. Круторог, не отрывая от меня своего взгляда, вдруг беспомощно обрывается, скользит серым комком по карнизу… Я слышу рокот сползающих в пропасть камней и удары тяжелых рогов о скалы.

Еще минута – и все затихло. Ничто уже не напоминало о погибшем крутороге.

Из ущелья давит тьма. В кровавую зарю зубцами впился почерневший хребет. На стоянку возвращаться в такой темноте рискованно – кругом затвердевшие надувы, провалы. Окликаю Василия Николаевича, но он не отзывается. Стою еще несколько минут в раздумье: что делать? Поблизости нет ни деревца, ни защищенной площадки для ночлега. Решаю пробраться к скале, откуда упал круторог. Осторожно крадусь по россыпи. На скалистые вершины, спокойно отдыхающие в вышине, легли тяжелые тучи. За резным краем скалы еще розовеет полоска неба, но свет быстро меркнет. Неслышно падает ночь.

Потемну добираюсь до скалы. Василия Николаевича и здесь нет; он, вероятно, где-то в стороне и не слышит меня. Разыскивать его бессмысленно. Да и мне к нему уже не подняться. Мирюсь с мыслью, что придется одному коротать ночь под этой негостеприимной скалой. Мокрая от пота рубашка холодит тело, мороз щиплет лицо, хватает за руки.

Прежде всего нужно приготовить место для отдыха. Нахожу карниз с небольшой площадкой и на нем пытаюсь устроить себе ложе. Что-то надо подстелить – ведь на голом камне и десяти минут не просидишь. Обшариваю щели в скале, выдираю вместе с корневищами скудные лишайники, но их очень мало, не набрать столько, чтобы хватило подложить под бок. А предательский холод уже сковывает тело, начинает бить озноб. Темнота ослепила глаза. Что делать?..

Вдруг высоко надо мною протяжно гремит россыпь и слышится голос Василия Николаевича:

– Ого-го!..

Я обрадовался. Зажигаю клочок бумаги, чтобы указать свое местонахождение, прислушиваюсь к шуму скатывающихся камней. Василий Николаевич спускается осторожно, ощупью.

– Черт остроухий, куда тащишь? Не видишь – обрыв! – ругает он кобеля.

– Спускайся правой лощиной! – кричу я ему и снова зажигаю бумагу.

Из темноты вначале появляется Кучум, отпущенный Василием Николаевичем, а затем и он сам с огромной охапкой сушника за спиною.

– Где это ты набрал?

– Да там, где бараны паслись. Из-за этого и задержался. Без огня ночевать неласково, да и мясцо охота поджарить…

– Насчет мясца – баран велел тебе низко кланяться.

– Как так? Сам слышал – пуля попала в зверя.

– Попала, да не задержалась: он выбрался сюда на выступ и свалился вниз.

Василий Николаевич, сбросив сушник, подходит к краю обрыва и долго смотрит вниз, хотя там, конечно, ничего не видно.

– Неужели не найдем? Жаль… – угрюмо говорит он. Окинув стоянку усталым взглядом, добавляет: – Неловкое место, придется эту ночку померзнуть, постучать зубами.

– Памятный будет Становой!

Пламя костра отбросило от скалы мрак ночи.

– Нет ли у тебя чего-нибудь съедобного, червячка заморить? – спрашиваю я Василия Николаевича.

Тот обшаривает свои карманы, сопровождая поиски назидательным ворчанием:

– Помните, Улукиткан говорил нам: «Не ленитесь таскать с собой котомки: в нашем деле их тяжесть – помога». Вот она житейская-то истина! Сколько раз мы уже бывали наказаны, и все не впрок!.. Пора, кажется, запомнить: идешь от палатки хотя бы на десять метров – бери ломоть хлеба, проверь, есть ли с собою спички…

– Что-то, Василий, ты долго ищешь? – перебиваю я его монолог.

– Не помню, куда засунул. Был кусочек медвежьего мяса. Давеча на горе достал, посмотрел – он весь замусоренный, в табаке. Бросил Кучуму, тот, окаянный, обнюхал, но есть не стал. Думаю: врешь, проголодаешься – сам попросишь… Куда же я его положил? Разве за пазуху… Так и есть, тут. Будете? – спросил он, подавая мне кусочек мяса.

– Дели пополам.

Костер все же немножко скрашивает нашу стоянку. Стланиковые дрова горят жарко, но их у нас всего часа на полтора, на ночь не хватит. Сушим портянки, белье; сухая одежда – самое важное в такую холодную ночь, под открытым небом, да еще без костра.

Последние вспышки огня тщетно пытаются отпугнуть наседающую темноту. Голод, как червь, точит нутро.

Очень досадуем, что упустили барана.

Как томительно тянется эта ночь! Ни огонька, ни звездочки на небе. Мы сидим на узком карнизе, прижавшись спинами друг к другу, и страшно мерзнем. Я чувствую, как трясется Василий Николаевич, и сам еле сдерживаю дрожь. А вокруг нас и над нами непроглядная тьма…

– Что-то долго нет зарницы, – устало говорит наконец Василий Николаевич.

Я зажигаю спичку, смотрю на часы:

– Начало второго, до утра еще далеко…

– Поди, Сашка заждался нынче. Суп переварился, и лепешки остыли, – начинает разговор Василий Николаевич. – День-то у нас вроде как с прорехой получился. Надюшка всегда мне говорит: «Чего ты по тайге шатаешься, мокнешь, мерзнешь? Образумься, отогрей себе место дома и живи по-людскому». Вроде и правда. Другой сейчас, поди, спит на подушке, в тепле, под него не дует. А тут, как налим на остроге, трясешься, и некуда тебе податься…

Он помолчал, поерзал по холодной плите и снова продолжал дрожащим голосом:

– Нет, пусть кто другой спит на подушке, это его дело, а мы как-нибудь до утра продюжим. Там, глядишь, солнышко вылезет, отогреемся – и опять нам будет хорошо. Только вот есть охота – верите, до злости! Попади сейчас на зубы сам черт – только хрустнул бы!

– Холодно… – вырвалось у меня, а зубы неудержимо стучат.

Василий Николаевич поднимается, разгибает застывшие конечности и, подбоченившись, топает ногами и поет:

Я на горку шла,
Тяжело несла,
Уморилась, уморилась,
Умо-ри-ла-ся!

Но его ноги не поспевают за напевом и явно не в такт ковыляют по снегу. Руки крест-накрест хлещут по бокам, а тело содрогается, как от укусов.

Холод выживает и меня из-под скалы. Я присоединяюсь к Василию Николаевичу, и мы, как помешанные, топчемся на одном месте, без конца повторяя один и тот же куплет. Посмотрел бы кто-нибудь со стороны – непременно принял бы нас за горных духов, по преданиям, появляющихся в скалах в темные ночи.

Природа продолжает отдыхать в тяжелом забытьи. Не откликаются на нашу песню утесы, звуки глохнут рядом. Чтобы согреться, мы начинаем разбирать россыпь, бесцельно перетаскиваем камни и, немного отогревшись, снова усаживаемся на карниз с желанием хотя бы на часок уснуть. Но холод чутко сторожит наш сон.

Кажется, никогда мы еще с таким нетерпением не ждали утра, как в этот раз. Оно подкрадывается медленно, в глубоком молчании гор. Робкий рассвет сдирает с угрюмых вершин густой мрак. Выплывают грозные контуры скал. Высоко над нами зашумел ветер – предвестник бурана.

Что же делать? Возвращаться на стоянку или все же попытаться добрести до намеченного гольца? Голод упрямо напоминал о себе, уставшее тело требовало тепла и отдыха, но мы решили идти к гольцу – ведь погода может надолго испортиться и задержать нас.

Василий Николаевич идет за рюкзаками, а я спускаюсь ниже по скале, хочу узнать, что сталось с круторогом. Кучум бежит следом за мною.

На уступе, откуда упал круторог, я нашел только кровавый мазок величиною с ладонь. Ниже, на последнем снежном прилавке, заметна глубокая вмятина от удара тяжелого тела, но барана не видно. Он скатился в пропасть, и в этом последнем затяжном прыжке, вероятно, и оборвалась его жизнь.

Серое и очень холодное утро широко раздвинуло горы. Ветер забивает туманом лощины. Слышится отдаленный гул скал. Я взбираюсь на верх террасы и с тревогой поглядываю на тучи, сплошным фронтом двигающиеся к востоку.

Место, где паслись бараны, представляет собой большой корытообразный склон, с солнечной стороны отрога пересеченный оврагами и длинными гребешками развалившихся скал. Сверху склона идет звериная тропа, хорошо заметная даже на россыпях. На глаза попадаются пучки сухой высокогорной травы да пятна различных лишайников.

Задерживаюсь у лунок, выбитых копытами животных на припеке. Здесь я нахожу остатки недоеденных корешков каких-то многолетних растений. Их и добывают бараны в мелкой дресве отогретых склонов. Они оставили следы кормежки и на ягеле, местами сплошь покрывающем россыпи. Да и сухая трава кое-где ощипана – это тоже их работа.

Продолжаю продвигаться к западному краю ската. Натыкаюсь на баранью тропу. Она глубокой бороздкой пересекает снежное поле и приводит меня к скалам, беспорядочно разбросанным за изломом. На карнизах видны лежбища баранов, клочья шерсти, старый и свежий помет. Животные здесь находились, видимо, долго – может быть, всю зиму, добывая корм по склонам солнечных террас.

Кое-где на каменистых пригорках разбросаны мелкие кусты стлаников. Их корни, очень толстые и длинные, расползлись далеко по щелям к соседним уступам; это дает возможность такому неприхотливому растению, как стланик, получать необходимое количество влаги для существования на скупой каменистой почве.

Разжигаю маленький костер под навесом большого камня. И лишь только тепло костра коснулось тела, как неодолимый сон навалился на меня.

Василий Николаевич пришел с Александром. Тот, обеспокоенный нашим отсутствием, решил, что с нами стряслась беда, и рано утром вышел на поиски. У места, где мы оставляли рюкзаки, они и встретились.

– Думал, конец вам, добегались, а оно, видно, еще протянете, – шутит Александр, усаживаясь около костра.

– Интересно, что бы ты стал делать? – спрашиваю его.

– Я уже думал об этом по пути сюда: распишу, мол, на скале всю историю. Дескать, погибли так-то и так. Потом вспомнил: писать нечем – даже химического карандаша нет, и решил – пускай еще поживут, раз такой случай. – Александр громко смеется, и скалы, может быть впервые услышавшие человеческий смех, откликаются веселым эхом.

Пока Александр готовит чай и подогревает лепешки, мы с Василием Николаевичем отдыхаем.

Теперь, поскольку третий спутник здесь, с нами, можно иначе распределить день. Василий Николаевич хочет идти искать убитого барана.

– Мало что сверху не видно. Скатиться баран мог и в доступное место… Нельзя бросать убитого зверя, – говорит он с явным упреком в мой адрес. – Спущусь на табор, стану на лыжи и ущельем проберусь под ту скалу. Может, и найду…

Мы все трое выходим на верх гребня и там разделяемся: Василий Николаевич с Кучумом возвращаются на табор, а мы с Александром идем дальше, к хорошо теперь заметному гольцу.

Ветреная погода не предвещает ничего хорошего. Хмурятся отяжелевшие тучи, готовые упасть на нас. В тумане прячутся подножия скалистых гор. Мы идем, как в продушине, оставляя на снегу хорошо заметный след; на россыпях ставим торчмя приметные камни, чтобы не сбиться на обратном пути, если нас застигнет туман или пурга.

Гребень сплошь завален разрушенными скалами. В поисках подхода меж ними извивается наш след. Приходится по нескольку раз взбираться на промежуточные высоты, опускаться на дно седловины.

Подходим к намеченному гольцу с северной стороны. Теперь он представляется нам в виде провисшего стога, с двумя вершинами по краям. Ветер то и дело меняет направление. Туман уже перехватил последнюю седловину на нашем пути и может скоро окутать голец. Неужели придется вернуться ни с чем, а потом повторить этот маршрут? Ведь чтобы решить задачу, нам нужно побыть на вершине гольца всего лишь с час, – разумеется, при условии, что мы увидим с высоты далекий горизонт и сможем наметить более удобный подъем для выноски на голец груза.

На седловине сбрасываем рюкзаки, поднимаемся налегке. Александр идет ходко. Подъем не очень крутой, и в три часа дня нам удается взобраться на верх гольца. Он действительно представляет собой одну из значительных вершин Станового в этом районе.

Туман, незаметно подкрадываясь, окутывает горы. Уже исчезли цирки и глубокие ущелья, на поверхности торчат только горбатые вершины, словно острова неведомого архипелага. Дорога каждая минута.

Я достаю журнал, буссоль, усаживаюсь на камень. По бумаге торопливо скользит карандаш, зарисовывая горизонт. Намечаю на соседних гребнях, расположенных примерно в двадцати пяти километрах от нас, вершины для будущих геодезических пунктов, измеряю азимуты на них.

Не оправдалась моя надежда увидеть с гольца хребет развернутым планом, со всей сложной сетью его отрогов, лощин, подробнее разобраться в рельефе. Я не отчаиваюсь: мы непременно посетим эти горы еще раз, летом; тогда природа доверчивей откроется перед нами, и можно будет составить более полное представление о Становом. Но и сейчас, при беглом зна-

комстве с хребтом, уже ясно, что лежащее от нас на запад пространство – это очень сложные нагромождения гор и, несомненно, самая приподнятая часть хребта. Здесь еще много уголков, куда не ступала нога человека.

Гольцы, как бы отдаляясь друг от друга, медленно погружаются в туман. Сквозь него слева слабо видна знакомая вершина Джугджурского хребта, на которой мы были. Она заметно возвышается меж двух сопок, округлая, увенчанная причудливыми зубцами руин. Эта вершина служит нам сейчас надежным ориентиром среди беспорядочно разбросанных гор. Внимание привлекают горные нагромождения в юго-восточном направлении, куда, как мне кажется, должен выйти Лебедев после окончания работы на Саге и где мы должны встретиться.

На этом приходится сегодня закончить свою работу. Я испытываю некоторое удовлетворение – наши усилия не были напрасными: нам удалось собрать сведения, необходимые для проведения геодезических работ в районе стыка Станового, Джугджура, Джугдыра, определить их границу и увидеть с высоты гор Алданское нагорье, расположенное севернее хребтов.

Как-то невольно мне представился крутой скалистый подъем на этот голец, забитые снегом лощины, провалы, оберегающие подступы к вершине, и с невольным содроганием подумал я о людях, которым придется поднимать сюда, наверх, лес, цемент, песок, железо для постройки пункта, а затем втаскивать тяжелые инструменты для наблюдений.

В тумане спрятались последние отроги. Резко похолодало. Сильно продрогшие, покидаем голец. Снежный ветер замел наш след. Хорошо, что мы догадались поставить камни в развилках гребней, – это позволило нам без приключений возвратиться на табор.

Василий Николаевич еще не вернулся, и это меня беспокоит.

– Конечно, все может быть – ведь он себя не щадит. Полезет из-за барана в пропасть и, чего доброго, сверзится, – подтверждает мои опасения Пресников.

– Ты вари ужин, а я пробегу его следом.

Выпиваю кружку чаю, становлюсь на лыжи.

Шумит разгулявшийся в облаках ветер, густеет сумрак, падает снег. С трудом различаю лыжню Василия Николаевича. Иду – не тороплюсь, прислушиваюсь.

Из темноты доносится странный звук, будто кто-то поблизости осторожно прилег на мягкий снег и затаился. Я останавливаюсь, жду. На голову бесшумно падают пушистые хлопья снега, ветер дует в лицо. Звук повторяется более ясно. Я узнаю скрип снега под тяжелыми лапами зверя. Становится не по себе, чувствую, как дрогнули коленки, отяжелели ноги. Сержусь, что не взял с собой винтовку. А зверь явно крадется ко мне; слышу, как пробирается он по чаще все медленнее, все ближе. Сбрасываю с ног лыжи, укрепляюсь поустойчивее на снегу, выхватываю из-за пояса нож. Пальцы до боли сжимают рукоятку. А зверь уже рядом, слышу, как его ноздри шумно втягивают воздух.

– Фу-ты, дьявол! Кучум!.. – с облегчением вырывается у меня.

Кобель бросается ко мне, ластится, визжит.

– Ого, раздуло-то тебя как, друг! Значит, нашли круторога! – радуюсь я, ощупывая бока собаки.

На мой крик где-то недалеко отозвался Василий Николаевич. Скоро послышался шорох лыж, а затем и учащенное дыхание. За плечами у Василия Николаевича винтовка, рюкзак с мясом, а поверх него привязана тяжелая голова круторога.

– Ты с ума сошел, Василий, – такую тяжесть тащить, да еще ночью! К чему надрываешься? Можно ведь было сходить за всем этим завтра утром.

– Да вот думал: поднесу поближе и брошу, а утром прибегу. С километр прошел – вроде ничего. Дай, думаю, еще немного пронесу, а там – еще. Так вот и дотащился сюда, – оправдывался он, сбрасывая с плеч груз и усаживаясь передохнуть.

– Устал?

– Малость, но ведь без этого не бывает. А зверя стреляного бросать не положено, – говорит он опять с явным упреком в мой адрес.

– Где нашел? Далеко?

– Там же под скалой, где упал. Не докатился донизу, завяз в щели. Не будь со мной Кучума, ни за что не найти бы. Место неловкое: уступы, надувы. Кое-как вытащил. Только пользы от этого зверя почти никакой, если не считать рогов: кости, мясо и внутренности превратились в винегрет. С десяток килограммов взял собакам, и все.

– Что в желудке, не смотрел? – спросил я.

– Говорю, все смешалось, не разберешь. Даже шкура полопалась.

– Жаль. Рога-то, кажется, хорошие…

А снег все идет и идет. Я набрасываю на плечи груз. Василий Николаевич привязывает к сворке Кучума, и собака выводит нас сквозь тьму на стоянку.

Мы до того измотались, что, кажется, теперь и пушкой нас не выбьешь из палатки. Снимаем с себя отяжелевшую от сырости одежду, умываемся, садимся за еду. Василий Николаевич наливает по стопке коньяка.

– С удачей! – говорит он, и улыбка освещает его обветренное лицо. Горячий ужин и теплая постель вознаграждают нас за испытания последних двух дней. Сквозь тишину доносится до слуха тихий шорох снегопада. Я еще долго не могу заснуть, пытаюсь привести в какой-то порядок свои наблюдения над жизнью снежных баранов.

Восточная часть Станового хребта плотно заселена снежными баранами. Эти животные удивительно приспособлены к невероятно трудным природным условиям. Суровая зима здесь длится, как правило, около шести месяцев, из них добрая половина заполнена ветреной погодой. Жгучие морозы, глубокие снега и затяжные бураны подвергают всех четвероногих обитателей хребта непрерывным испытаниям. Тяжелее всех приходится снежным баранам, жителям открытой гольцовой зоны гор.

Закружатся над горами осенние метели, обледенеют по скалам тропы, снегом прикроются альпийские лужайки, ягель, трава, и бараны покинут курчавые вершины, излюбленные места летних кочевий. Они спустятся ближе к лесу, в котловины, на второстепенные отроги, где теплее и тише. Тут они и проводят долгую зиму, предпринимая небольшие вылазки на соседние гребни в поисках корма. Зимою пищей им служат кора и молодые побеги кустарников, лишайники да сухая трава, которую они добывают, разгребая копытами снег.

Все холоднее становится в горах, продолжительные бураны иногда надолго приковывают животных к одному месту, и они, сбившись небольшими стадами, отлеживаются под защитой холодных скал. Даже плотная зимняя шерсть плохо греет голодного барана. Но где найдет он в непогоду корм – все занесено снегом или затянуто заледеневшей коркой надува, и копытить становится труднее и труднее. Дождавшись относительного затишья, стадо перекочевывает на свежее место с более мелким снегом.

Но солнце все дольше и дольше задерживается над горами. На южных склонах хребта днем становится теплее, хотя весенние ветры, более губительные для снега, долетают сюда только в начале апреля. Бараны покидают места зимовок, подолгу нежатся на весеннем солнце, выходят на припеки. Медленно обнажаются россыпи, лбы отрогов, открывая доступные места кормежек. Проносятся последние метели, слабеют заморозки, вот-вот появится зелень, которой ждут с нетерпением снежные бараны. Они с жадностью набрасываются на корни многолетних растений, уже напитавшиеся соком, готовые скоро выбросить первые ростки.

Сейчас в горах наступило то самое время, когда бараны покидают зимние становища и кочуют на обогретые солнцем южные склоны гор.

IV

В обратный путь. Откуда взялась Бойка? С Улукитканом по следам сокжоев. Ночь под елью. Лесная загадка

Никто из нас еще не успел повернуться на другой бок, как пролетела ночь. Тихое утро слабо сочилось сквозь стены палатки.

– Гляньте-ка, братцы, снегу-то навалило сколько! – сказал Василий Николаевич, расстегивая вход. – Пожалуй, не выбраться нам отсюда с нартами.

– Считай, без малого сутки идет, должен бы кончиться, – отозвался Александр.

Я вылез за дровами. Густыми хлопьями валит перенова[29]. Обмяк ночной мороз. Разлилась по горам теплынь. Дремлет лес, чутко прислушиваясь к шороху падающего снега. На пнях выросли снежные папахи, тяжелые гирлянды снега опоясали темно-зеленые ельники. Под тяжестью кухты[30] арками наклонился молодой тальник.

Подождали до десяти часов – погода не изменилась, решили выбираться из ущелья. Свернули палатку, уложили груз и начали спускаться к реке. Вершины гор прячутся в снежной завесе непогоды. Затаились под снегом россыпи, пустоты, лыжи гнутся лучком и глубоко тонут в мягкой перенове. В полдень свернули с прямого Удюма, пошли на подъем, и лямки не замедлили напомнить о себе. Укоротились шаги, взмокли спины. Под тяжестью будто притупились полозья нарт. Поздно вечером мы добрались до знакомого ельника и тут расположились на ночевку. А снег сыплет и сыплет.

В полночь в ущелье прорвался ветер. Зашумел в смутной тревоге разбуженный лес. Старые ели тесно сомкнули вверху густые кроны. В темном небе бесшумно дыбятся тучи, бросая на землю остатки снега.

Мы не спим. Ветер полощет борта палатки, прорывается в щели, забивает дымоход, дым из печки расползается по палатке, душит нас. Василий Николаевич и Александр встают, одеваются и долго стучат топорами, устраивая заслон для трубы.

– Кучум места себе не может найти, в снег зарывается. Как бы это все пургой не кончилось, – говорит Александр, плотно застегивая вход в палатку.

Хотя пурга и не разыгралась, погода наутро оставалась хмурой, тяжелой.

Подъем на перевал отнял у нас много сил, и день показался невероятно длинным. Натруженные плечи не расправляются, отяжелевшие ноги шагают по инерции.

К исходу дня мы с трудом добрались до места своей прежней стоянки на Мае. Поставили палатку, напилили дров. Пока варили ужин, Кучум сидел поодаль от костра, навострив уши и настороженно поглядывая на реку.

– Какого лешего он там видит? – сказал Василий Николаевич, всматриваясь в сумрачную долину. – Разве медведь где шараборит?

Нигде никого. А кобель, сделав несколько прыжков вперед, вдруг замер в напряженной позе, устремив глаза на край мари. В это мгновение из леса выкатился какой-то комочек и застыл черной точкой. Кучум медленно повернул ко мне морду, как бы спрашивая: «Видишь?» – и завилял хвостом. А комочек вдруг рванулся к нам и запрыгал мячом по мари.

– Собака, – шепотом произнес подошедший Василий Николаевич. – Откуда она взялась?.. Да ведь это Бойка! Ей-богу, она!

Действительно, к нам мчалась Бойка. Кучум кинулся ей навстречу, мать и сын столкнулись и начали лизать друг другу морды. Затем Бойка, выгибая спину, прижимаясь к земле, ластясь, приблизилась к Василию Николаевичу. Не сводя с него умных глаз, она ждала хозяй-

---

[29] *Перенова* – только что выпавший снег.

[30] *Кухта* – комки снега на ветках.

ской ласки. Растроганный Василий Николаевич присел перед собакой, губы его расплылись в улыбке.

– Откуда ты взялась, дуреха? Соскучилась… – ласково ворчит он, обнимая Бойку, которая льнет к нему, лезет мордой под телогрейку.

Сколько в этих движениях доверия и преданности!

Потом Бойка бросается и ко мне, ластится, тычется в лицо, повизгивает, но уже не так горячо.

– Наши едут! – кричит Александр Пресников, показывая на лес.

По следу Бойки на марь выходят на лыжах Геннадий, за ним Улукиткан ведет караван.

– Радиостанцию везут – наверно, срочное дело есть, – говорит Мищенко, всматриваясь в приближающуюся группу.

– Знамо дело, попусту не погнали бы оленей по такому снегу, – заключает Александр.

Наконец обоз подошел к палатке. Мы поздоровались.

– Далеко ли бредете? – спросил Василий Николаевич.

– Человеку даны ноги, чтобы он долго не сидел на одном месте, – спокойно ответил Улукиткан.

– Нет, вы только послушайте! – воскликнул Геннадий. – Остановились мы километрах в двух отсюда, за лесом, оленей отпустили, снег утоптали под палатку. А Улукиткан говорит: «Однако, неладно таборимся – наши близко ночуют». – «Как это ты узнал?» – спрашиваю. «Дым, – говорит, – разве не слышишь?» Понюхал я воздух – вроде ничем не пахнет. А он ругается: «Зачем с собой глухой нос напрасно таскаешь? Давай запрягать, ехать будем». Я стал было отговаривать его: дескать, может, только показалось тебе. А он свое: «Надо ехать». Запрягли, тронулись, я впереди. Выхожу на марь, смотрю – действительно палатка стоит, дымок стелется; понюхал – не пахнет. Когда уже вплотную подошел, только тут и учуял запах дыма… Вот ведь какой старик!

– Мой нос, правильно, кругом слышит, а твой только насморк знает, – засмеялся Улукиткан и стал распрягать оленей.

– Какие вести? – нетерпеливо обращаюсь к Геннадию.

– Спросите у него, – ответил тот, кивнув головой на старика. – Поедем, говорит, к перевалу, как бы беды не случилось с нашими. Есть и неотложные радиограммы из штаба экспедиции.

Общими усилиями ставим для прибывших палатку, натягиваем антенну. Улукиткан привязывает на шею непокорным оленям чанхай – круглую палку длиной примерно в три четверти метра, – чтобы они не ушли далеко во время кормежки, и отпускает всех на пастбище. Животные табуном бросаются к распадку, на бегу тычут морды по уши в снег, нюхают, ищут ягель и, перегоняя друг друга, скрываются в лесу.

Из темных туч повалил снег. Все мы собрались в одной палатке. Запах отогретой одежды, портянок, свежей хвои мешается с запахом человеческого тела. Геннадий забился в дальний угол, стучит ключом, вызывая штаб. Улукиткан чистит свою старинную бердану.

Только теперь я рассмотрел это ружье, необычное для нашего времени. Ствол его сверху поржавел, внутри образовались глубокие раковины. Затвор явно не от берданы, без выбрасывателя, в гнезде не держится, и Улукиткан носит его в кармане завернутым в тряпочку или привязывает тонким ремешком к спусковой скобе. Ложе стесано донельзя, сбито гвоздями, стянуто проволокой и жестью от консервной банки, к тому же его край еще и обгорел. По всему видно, что ружье прошло вместе со стариком длинный и тяжелый путь, бывало в огне, под дождями и бурями. Оно, несомненно, знало много и удач и промахов. Поржавевшее, горбатое, в латках, оно внешне даже похоже на самого хозяина. Видно, живут они неразлучно, одной судьбой связанные. Ложа берданы исписана разными иероглифами – тут и веточки, и крестики, и рожки, и кружочки, и много других знаков, смысл которых понятен только ста-

рику. Они, несомненно, обозначают какие-то знаменательные события, охотничьи приметы и трофеи Улукиткана. Словом, это своеобразная летопись охотника-эвенка.

Старик, порывшись в потке, достал кабарожью берцовую кость, раздробил ее ножом, выскреб мозг и стал им смазывать сверху бердану. В его движениях – доверчивая любовь к этому немому другу, разделившему с ним более полувека жизни.

– Дай-ка я по твоей бердане протирочкой пройдусь да кипяточком нутро сполосну, тогда она иначе у тебя заговорит! – предложил Улукиткану Василий Николаевич.

– Однако, не нужно, Василий: фарта не будет. Старому оленю хоть три раза в год шерсть меняй, все одно не помолодеет!

– Как ты не боишься с ним охотиться? Задерет тебя когда-нибудь медведь, – сказал Мищенко, с удивлением разглядывая ружье.

– Привычно. Когда стреляю, немножко глаза закрою, а чтоб не отбросило – лучше спиной к дереву прислониться.

– Значит, было уже?

– У-у, сколько раз! Мое ружье привычка шибко худой: то осечку даст, то пулю не туда бросит, все равно что старый люди…

– Ты бы сменил его – теперь хорошие ружья есть, чего мучаешься…

Улукиткан бросил на Мищенко недоуменный взгляд:

– Эко мучаюсь – зря говоришь, Василь. Ево характер я хорошо знаю, меня не обманет. Новых ружей много, это правда, да не нужно – это лучше.

И старик, отодвинувшись от печки, еще долго возился с берданой.

Над ущельем ночь, свежая, темная, чуть туманная. Черное небо прорезают огнистыми полосками падающие звезды, и на постаревший от бурь лес бесшумно падает иглистый иней. Вдали тускло белеют хребты. В застывшей тишине четко отдаются осторожные шаги оленей. А над палаткой, словно привидения, склонились таинственно выбеленные морозом ели. Мысли не дают уснуть. Почти физически ощущаешь, как в тебе копится сила. Именно в эти безмятежные весенние ночи и зарождаются смелые планы, хорошие чувства.

К утру разыгрался буран. Взбунтовались дикие силы природы. Застонала тайга, не выдерживая порывов холодного ветра. Черные тучи легли на горы, еще более суровым стал северный пейзаж.

Весь день у меня ушел на переговоры со штабом и с подразделениями, затерявшимися на территории этого безлюдного края. Мы пробудем здесь еще два дня, чтобы получить ответы на свои радиограммы.

А ветер шумит, качая тайгу и хлопая бортами палатки. Улукиткан предлагает пойти завтра на охоту. Он видел недалеко от стоянки свежий след крупного быка-сокжоя. Но погода не унимается.

Необычно длинным кажется в безделье день. У всех скучные лица, за палаткой вечерний сумрак.

– Ветер крутит – это хорошо, – говорит Улукиткан.

– К погоде, что ли? – спросил я, с надеждой посмотрев в дальний угол палатки, где сидел старик за починкой олочей.

Он приподнял голову, помигал, глядя на свет маленькими мудрыми глазами, и почесал в раздумье затылок.

– Когда ухо слышит шаги зверя, по ним можно догадаться, кто идет: сохатый или медведь. Если глаза смотрят на тучу, они должны знать, что не из каждой падает дождь. Вот послушай, как шумит тайга. Только хорошо слушай, она не обманет.

Улукиткан отбросил в сторону олочи и, обняв руками согнутые в коленях ноги, повернул голову к выходу.

Мы все прислушались: лес шумит и шумит, как в мелководье далекий перекат. Из глубины его нет-нет да и прорвется затяжной гул, будто где-то близко вода прорвала плотину и ринулась вниз.

Старик сидит с закрытыми глазами, плотно сжав губы. Кажется, только ему одному тайга и поведала свои думы, только ему и понятен этот шум старого леса.

– Слушайте, – вдруг прервал молчание Улукиткан и, открыв глаза, таинственно показал рукой в сторону леса. – Ветер кончился, а он все шумит, хорошо шумит, как будто молодой стал. Это к погоде.

Старик выпрямился, разогнул спину и легко вздохнул, словно сбросив с себя тяжесть.

За палаткой качалась тайга. Стонали отжившие лесины. Гуще сыпал последний снег.

Старик долго смотрел мне в лицо.

– Надо понимай, что слышит ухо. Зачем напрасно таскаешь его? – сказал он уже спокойно. – Разве не знаешь, что перед бурей или стужей тайга стонет, как старый люди? Худо ей тогда, ой как худо! Ломается она, мерзнет, пропадает. А перед солнечным днем шумит она славно, далеко слышно. Вот и сейчас: снег падает, кругом туман, а лес веселый, хороший, погода близко – это надо знать.

В палатке стало совсем тихо, никто не шевелится. Теперь, кажется, и я слышу, как широко, вольно шумит лес, словно река в половодье, но ветра почти нет. Слышен даже шорох сомкнутых крон и шелест падающего снега. Старик действительно прав – будет перемена погоды, только этим и можно объяснить чистоту звука.

«Как легко и хорошо ему жить среди родной и понятной ему природы!» – позавидовал я, взглянув на старика, маленьким комочком прижавшегося в углу палатки.

Рано утром меня разбудил Улукиткан. Я встаю, одеваюсь, пью чай, и мы покидаем лагерь. За плечами рюкзаки и ружья. Из-за пологих гор брызнул рассвет. Оконтурился далекий горизонт, расступились отроги, поредела тайга. Идем неторопливо. Лыжи шумно крошат наст.

В устье распадка нам попался след медведя, хорошо заметный на снегу. Улукиткан внимательно осмотрел его, ощупал и устремил заблестевший взгляд вдаль.

След ровной стежкой срезал правый край распадка, скрылся за ближним гребнем. Зверь шел строго на восток, навстречу солнцу.

– Только что прошел, эко добра много понес! – сказал он, с сожалением покачав головой.

Тут же он задумывается…

– Как думаешь, где удача наша: на этом следу или вчерашний искать будем? Однако, медведь быстро идет, догоним ли? – сомневается Улукиткан, и в голосе его звучит неуверенность.

– Ты сегодня проводник, твоя и удача. Веди куда лучше…

Он снял шапку, как всегда в трудных случаях, почесал затылок.

– У сокжоя сладкий язык, что свежее масло, да его всего на один раз, а у медведя много пахучего сала. Что лучше? – И старик, пожевав пустым ртом, решительно махнул рукой по направлению медвежьей стежки. – Однако, догонять будем!..

Он приторочил к котомке свою старенькую дошку, и мы тронулись по медвежьему следу.

Тучи громоздятся у горизонта, заслоняют свет поднявшегося солнца. Ночной холод все еще сторожит нас. Идем тяжело.

На верху отрога остановились. Улукиткан, заслонив от солнца глаза ладонью, долго смотрит в сторону убегающего дальше следа.

– Однако, ходко пошел. Где-то корм с осени остался, туда идет, ближе не остановится. Не догоним, – разочарованно заключил старик. – Давай сокжоя искать…

Мы еще с минуту постояли, поговорили и свернули по отрогу на север.

Ветер, разгребая тайгу, порывисто шумит в распадках. На край тучи вылезло приветливое солнце.

У старика раскраснелось лицо. Он идет впереди, глаза его жадно шарят по редколесью, по лощинам. Но пока нигде не заметно ни единого живого существа.

Отрог привел нас к пологой вершине. Как только перевалили ее, увидели три следа сокжоев. Они направились в правый пологий распадок, затянутый редколесьем и небольшими марями. Улукиткан внимательно осмотрел следы.

– Две матки да молодой бычок, – сказал он, ощупывая след. – Крепкий след – значит вечером прошли.

Повернувшись к распадку, старик долго щурил глаза и рассуждал вслух:

– Сокжой это время в открытых местах держится, по болотам, марям – там мельче снег, легче копытить. Смотреть надо, однако, звери тут близко кормятся. Только, я думаю, матку сейчас стрелять нельзя, стельная, а молодой бык худой. – Но, помолчав, он вдруг заявил: – Когда мяса нет, и обглоданная кость – находка. Пойдем, ничего, что худой.

Прошумели лыжи по склону, завилял наш след в лесу. Улукиткан у ключа боком протиснулся сквозь чащу, огляделся, и мы вышли на марь.

– Дивно натоптали, все следы перепутались: мох искали, – сказал старик, вытягивая шею и с птичьим любопытством осматривая местность.

Метров через двести слева мы обнаружили еще один след сокжоя. Широкие, тупые копыта глубоко продавили снег. Шаг у зверя спокойный, размашистый.

Улукиткан издали узнал вчерашнего быка-сокжоя. Ощупал след, осмотрел. Что-то прикинул в уме, затем вытащил из чехла бердану и перекинул ее через плечо.

– Когда прошел? – спросил я шепотом.

Старик рассердился:

– Эко спрашиваешь! Смотри, его копыто хорошо отпечатался – значит, шел по мягкому снегу, вечером. Сюда, на марь, пришел после трех зверей – видишь, он придавил копытом след матки? Надо знать: передний никогда не наступит на след заднего. Как не видишь! Человек должен один раз посмотреть, чтобы все понять и другой люди не спрашивать.

Он укоризненно качал маленькой головой, удивляясь, как можно не разобраться в таких ясных росписях на снегу.

На краю мари сокжои густо наследили, истыкали снег мордами и ушли ниже по распадку.

– Однако, промялись, где-то близко жируют, – снова шепотом рассуждает старик.

Он подошел к тонкому пню, бесшумно свалил его, разломал и набрал в карман сухой трухи. Попробуй узнай, для чего ему понадобилась гнилушка! Но я не хочу раздражать Улукиткана вопросами, делаю вид, будто все понимаю. Улукиткан осторожно крадется между стволами деревьев, порой приподнимаясь, по-рысиному вытягивает голову, беспокойно озирается. Я машинально копирую его движения.

Вот мы у верхнего края второй мари, протянувшейся широкой полосой вдоль ключа. Улукиткан укорачивает шаг, чаще припадает к деревьям. Сгорбилась его костлявая спина, сузились глаза.

– Тут ночевали, – шепчет он, показывая на свежие лежки и копанину, а сам, как коршун, вертит головой, сторожит местность.

Он поднимает с земли пучок лишайника, вырванного копытами зверя, осматривает, а затем дует на него, и я вижу, как сухие кристаллики снега свертываются в крошечные капельки влаги.

– Сейчас кормился: видишь, солнце греет, а снег на ягеле еще не успел растаять, – поясняет Улукиткан, подавая мне лишайник. – Однако, звери на другой стороне мари стоят, – продолжает он, заметно оживляясь.

Достав из кармана горсть трухи, Улукиткан бросает ее вверх. Воздух окрашивается коричневой пылью, и незаметное течение воздуха медленно относит это коричневое облачко вниз по распадку, куда ушли сокжои.

– Скоро уходи, зверь почует нас, – торопливо шепчет мне старик и сам бросается скользящим шагом к ключу.

Размякший снег глушит шорох лыж. Улукиткан стороной обходит марь, не сводя при этом с нее глаз. Он по-юношески изворотливо скользит меж стволов деревьев, ныряет под ветки, приземляясь, ползет. На пригорке останавливается и снова бросает в воздух горсть трухи.

– Теперь дух хорошо тянет, звери нас не почуют, будем смотреть, – наставительно говорит он, прислоняясь плечом к лиственнице.

Я достаю бинокль и при первом же взгляде на нижний край мари отчетливо различаю два подозрительных серых вздутия на снежном сугробе среди копанины.

– То ли кочки со старой травой, то ли звери, – говорю я старику.

– Эко не разберешь! Сейчас лучше смотри, – отвечает Улукиткан, и я слышу, как он нарочно сломал руками прутик, надеясь, что этот еле уловимый звук встревожит зверей.

– Не шевелятся. Кажется, кочки, – говорю я.

– Еще смотри. – И старик отламывает сухой сучок от лиственницы.

Между подозрительными бугорками отчетливо поднялась голова быка с черно-пухлыми рогами. Зверь шевелит ушами, пытаясь разгадать, что это за звук раздался с края мари. Не обнаружив опасности, бык опустил голову, и она скрылась за снежным сугробом.

– Звери… – шепчу я, хватая старика за руку.

– Все четыре тут?

– Видал ясно только быка.

Старик утвердительно кивает головой:

– Стельная матка днем крепко спит.

Подав мне знак садиться, он достает из котомки меховые чехлы, сшитые из мягких собачьих шкур, наружу шерстью, и надевает их на широкие камусные лыжи.

– Так хорошо ходить, шуму нет, близко пустит, – поясняет он; затем высыпает на полу дошки из кожаной сумки патроны и перебирает их.

– Они же у тебя все с осечкой, – разглядев патроны, удивился я. – Как же на медведя хотел идти, как стрелял бы?

– Ничего, – смеется он тихо. – Из трех один, однако, разрядится.

– Зверь ждать не будет. Возьми мою винтовку, она надежнее.

– Эко надежнее, да, может, не фартовая. Старики раньше говорили: когда удача – и без ружья зверя добудешь; когда ее нет – огнем порох не запалишь.

Он закладывает один патрон в бердану, два оставляет в руке. Надевает дошку, накидывает на спину котомку, осматривается – не забыл ли чего. Все это Улукиткан делает не спеша, основательно, а я, поверив, что не моя сегодня удача, молча наблюдаю за ним.

Мы подкрадываемся к кромке леса и тут задерживаемся. До зверей остается не более трехсот метров. Я прячусь за лиственницей и смотрю, что будет дальше.

Старик, сгорбившись, прижав к животу бердану, бесшумно толкает вперед одетые в мягкие собачьи шкуры лыжи. Все ближе подкрадывается он к сугробам. Но чуткое ухо зверя трудно обмануть.

Вот из-под снега поднялся встревоженный бык. Заметив охотника, он замер. Поднялись и остальные. Но и старик в одно мгновение удивительно перевоплотился – истинно пень: и слева, и справа, как ни поверни, – пень, да и только! Присматриваюсь: котомка – нарост; ствол ружья – сучок; дошка – как кора; да и сам он весь так схилился на правый бок, никак не отличишь его от пня.

Сокжои, доверившись глазам, отворачивают головы и долго прислушиваются, затем, выгибая длинные туловища, лениво потягиваются, оправляются от лежки.

Улукиткан, не меняя позы, коротенькими шажками, сантиметров на пять, не более, подвигается к сугробу.

Снова встревожились сокжои и, вытянув длинные шеи, как журавли, изумленно озираются, не могут понять, откуда доносится шорох. Но «пень» не вызывает у них подозрения, они смотрят по сторонам.

Улукиткан, не разгибаясь, осторожно поворачивает ствол берданы в сторону сокжоев и долго целится…

«Вероятно, осечка», – думаю я и весь дрожу. Вижу – звери бросаются к лесу, там они задерживаются, топчутся на месте, не зная, куда кинуться. Улукиткан с неподражаемым спокойствием опускает ружье, медленно перезаряжает его и опять становится пнем, незаметно продвигается вперед.

– Да стреляй же скорей, уйдут! – шепчу я нетерпеливо, готовый броситься вперед.

Грохнул выстрел. Я слышал, как тупо щелкнула пуля по телу зверя. Бык вздыбил, потряс головою, словно угрожая кому-то, и грузно упал на снег. Остальные вмиг рассыпались кто куда.

Улукиткан оглянулся в мою сторону, положил в сумку запасные патроны, сел на снег, снял меховые чехлы с лыж и со спокойствием человека, закончившего свое дело, стал растирать лицо мягким снегом.

Я подошел к нему, и мы вместе направились к убитому зверю.

Это был крупный самец в роскошной зимней шубе, с мягкими толстыми вздутиями будущих рогов, обросшими темно-бурыми мелкими волосами. Старик ощупал бока сокжоя, потоптался возле него, что-то в уме прикидывая, взглянул на небо, уже задернутое тучами.

– Однако, ночуем. Только пуганый волк уходит от жирного мяса! – сказал он тоном, не допускающим возражений.

Мы находим небольшую площадку под старой развесистой елью. Снимаем котомки. Улукиткан уходит к зверю. Я готовлю дрова, таскаю хвою для постелей, разжигаю костер и навешиваю чайник. День на исходе. Небо легкое, просторное и голубое. В ясную захребетную даль убегает истомленная бурями тайга.

Я нет-нет да и взгляну на Улукиткана. С какой ловкостью он свежует зверя! Зубы держат шкуру за край, левая рука оттягивает ее, а правая подрезает ножом. Ни одного лишнего или неточного движения, как у мастера, который всю свою жизнь изо дня в день занимается одной и той же работой. Старик как будто и не спешит, а туша уже вылупилась из шкуры. Тонким ножом он разделывает ее на части, разбрасывает кровавые куски на снег. По охотничьему обычаю он съедает кусок парной печени и, облизывая пальцы, посматривает на жирную требуху, отложенную для собак.

День угасает. В кровавом закате растворилось солнце. Сумрак окутал вершины гор полупрозрачной дымкой. В дыхании ветерка, забегающего к нам под ель, чувствуется приближение холодной ночи. Горячим пламенем горит костер, бросая в темноту скупые блики света.

В котле варится язык, на вертелах жарится сочная мякоть, распространяя аромат поджаренного сала. Улукиткан дробит тупой стороной ножа берцовую кость, разогретую на углях, смачно высасывает аппетитный мозг и, щуря глаза, схлебывает с вертела горячую сукровицу с жиром.

– Вода не любит мягкое дно, желудок – пустоты, – говорит он, поймав на себе мой взгляд. – Пошто не ешь?

– Подожду, еще не поспело…

– Эко не поспело! Горячее сыро не бывает, – отвечает он, поднося ко рту новый кусок.

Поужинав, я быстро заснул, оставив старика за трапезой. Но спустя час проснулся от холода. Бесшумно падали на освещенный костром лес пушинки снега. Как быстро меняется в этих местах погода!

Улукиткан не спал. В костре догорали головешки; старик вложил нож в ножны и отодвинул от себя чашку с костями. Не вставая, он достал бердану, разрядил ее и гильзой выбил глубокий кружок на ложе рядом с такими же кружочками.

Я встал, поправил костер и подсел к нему:

– Почему не спишь, Улукиткан?

– Зачем сон, если есть жирное мясо?

– Ты, кажется, на ложе кружочками обозначаешь убитых сокжоев? – спросил я, показывая на свежую метку.

– Эге. А крестиком – медведя, точками – кабаргу, трилистом – сохатого, восьмеркой – барана. Каждому своя метка есть, смотря какой зверь. Этот сокжой жирный, его метка глубокий. Прошлый раз убил худой, старый метка, – смотри, его метка мелкий. Тут все хорошо написано, читай, – сказал он, подавая мне бердану.

Я с большим интересом углубился в расшифровку этой удивительной охотничьей летописи. Многочисленные кружочки, восьмерки, крестики и черточки на ложе ружья свидетельствовали о том, что сотни различных зверей добыл Улукиткан за свою долгую жизнь. Это был также и полный перечень парнокопытных и крупных хищников, обитающих в этом крае. По меткам можно было узнать, какой вид зверя был предметом более частого внимания охотника и какие редко попадались ему. Время, конечно, кое-что стерло из давнишних пометок, но то, что было дорого хозяину, подновляется и оберегается.

Рассматривая ложе, я заметил, что крестики, обозначающие убитых медведей, за очень небольшим исключением, вырезаны четко и глубоко, тогда как три четверти отметок добытых сохатых сделаны мелко. Количество точек – условное обозначение кабарожки – трудно подсчитать: так их было много на ложе и выдавлены они одинаково неглубоко…

– Почему ты убивал больше жирных медведей и худых сохатых и не добыл ни одной сытой кабарожки? – спросил я.

– Эко не знаешь! Сохатый в году только три месяцы бывает жирный; когда же время гона[31] придет – сразу сало теряет. Зимой он всегда худой. Медведь совсем не так: девять месяцев шибко жирный, только время комара худой ходит. А кабарожка постоянно худой, и летом и зимой, сало его никогда нету, все бегает да бегает. Понял? Смотри, тут все правильно написал, – ответил Улукиткан, показывая на ложе.

На этом разговор оборвался.

Он расстелил близ огня шкуру убитого сокжоя, подложил в изголовье котомку, на один край шкуры лег, другим укрылся и через две минуты уже храпел.

Я подложил в костер дров, выпил кружку чаю и тоже лег.

А снег все идет и идет. Отяжелели кроны. В небе тьма. В чаще дважды пискнула промерзшая птица.

Думаю об Улукиткане. Всего лишь месяц, как мы его встретили, а я уже чувствую большую привязанность к этому человеку. Старик за всю свою долгую жизнь не прочел ни одной книги. Школой ему были тайга, нужда, охота. Вот почему он в тайге как дома.

Однажды я спросил Улукиткана: «Что больше всего ты любишь в тайге?» Он подумал и, улыбнувшись, ответил: «Все, что видит глаз, что слышит ухо».

На охоте сон чуткий, я дремлю, но слух начеку. Вот где-то ухнул, оседая тяжелым пластом, снег. Вскрикнули разбуженные кукши, еще с вечера слетевшиеся к мясу… Меня знобит, и я поднимаюсь. Улукиткан, склонившись над вертелом, уже завтракает, доедает оставшиеся вчера куски мяса.

Брусничным соком наливается заря. На мягкой перенове вокруг нашей стоянки за ночь появилось множество следов. Неизвестно, кто и как разнес по тайге весть о гибели старого

---

[31] *Гон* – брачная пора.

сокжоя, и на его тризне уже побывало немало гостей. Больше всех наследили колонки. Вот один из них гнался за горностаем: два-три прыжка, лунка в снегу, капля крови. Видно, до утра просидела здесь лиса, объедаясь мягкими рогами.

Мы складываем мясо на свежий снег, прикрываем его шкурой, а поверх набрасываем еловых веток.

Когда собрались уходить, над нашими головами прошумел крыльями ворон. Он уселся на вершине сухой лиственницы и поднял крик на весь распадок, словно оповещая сестер, братьев, дальних родственников о предстоящем пире.

– Тьфу, дурак! Сам бы ел да помалкивал, дольше хватило бы, – хмуря брови, говорит старик.

Потом снимает с себя нательную рубашку, изрядно пропахшую потом, дымом костра, и засовывает ее под ветки, поближе к мясу.

– Зачем оставляешь? – удивился я.

– Эко не знаешь! По крику ворона медведь легко нашу добычу найдет, а понюхает – и подумает, что тут человек лежит, удирать будет. Понял?

Перед тем как тронуться в обратный путь, Улукиткан сделал затес на ели, под которой еще догорал костер, вбил гильзу в обнаженную древесину и сложил у корней кости.

– Когда-нибудь люди придут сюда, увидят затес, гильзу, кости, догадаются, что тут была у охотника удача, – пояснил он, не дожидаясь моего вопроса.

Лыжи бесшумно скользят по мягкой перенове. Старик шагает легко – сегодня он по-настоящему сыт и весел. Жаркий костер, сладкий отварной язык сокжоя вперемежку с горячей мякотью, теплая постель под шкурой только что убитого зверя – нечасто бывает в тайге такая праздничная ночь. Может, о многом напомнила она старику, о многом он передумал, сидя у костра. Вся эта обстановка как-то омолодила его.

Солнце не показывается из-за туч. Все больше хмурится небо. Ветерок-баловень отряхает с веток снег. На отроге мы сворачиваем со вчерашнего следа, идем напрямик к стоянке. Впереди – широкий лог, затянутый мелкой чащей и редким лиственничным лесом. Спускаемся на дно. Теплынь. Свеже набродили глухари, настрочили дорожек куропатки, чьи-то перья на ночном соболином следу…

А лыжи скользят дальше.

Вдруг старик останавливается, топчется на месте, протыкает палкой снег, озабоченно осматривается. Нигде никого не видно, да и под ногами никакого следа.

– Место знакомое, что ли? – спросил я.

– Однако, тут долго кто-то жил: снег, как на таборе, плотный, – ответил Улукиткан, сворачивая вправо и с трудом просовывая широкие лыжи сквозь кустарниковую заросль. – Тут тоже крепкий! – удивился он.

Я ничего не могу понять. Зря, думаю, задерживаемся. А Улукиткан осматривается, все что-то ищет.

– Смотри, – говорит он, показывая на дерево.

Я вижу череп сохатого с огромными лопатообразными рогами, положенный в развилку нетолстой лиственницы на высоте немного более полутора метров от земли.

«Кому и зачем понадобилось затащить рога на лиственницу? – недоумеваю я. – Человек сюда не заходит, а медведю не догадаться, да и не сумеет он этого сделать».

Улукиткан поводит плечами, чего-то не может понять. Он придирчиво осматривает каждую мелочь. Его опытный глаз отмечает что-то на коре, задерживается на развилках и, видимо, находит между всем замеченным какую-то общую связь. По мере того как в его голове все яснее складывается картина разыгравшихся здесь, у лиственницы, событий, лицо его светлеет, становится спокойнее.

– Тут дрались два быка-сохатых за матку, – говорит он вполне уверенно. – Это было в то время, когда птица на юг улетает[32]. Один попал рогом в развилку, другой сразу убил его.

Я пока не вижу никаких доказательств этим словам и вслух выражаю свое недоумение.

Улукиткан, как всегда в таких случаях, бросает на меня укоризненный взгляд и неодобрительно качает головой:

– Ум человека должен понимать, что видят глаза. Незрячему в тайге худо. Вот смотри: шерсть осталась на коре, она короткая и черная – такая бывает на сохатом только осенью, а зимою она длинная и светлая. Я и толмачу тебе: зверь пропал, когда птица на юг улетела. А вот это видишь? – продолжает он, показывая на две поперечные борозды на стволе лиственницы. – Это рогами сделал бык, когда дрались, а дерутся они только во время гона. Теперь понимаешь?

– Не все. Почему ты думаешь, что сохатый был убит другим быком?

Старик прицокивает языком, трясет головой.

– Говорю, беда со слепым! – И он, приподняв рог, указывает на развилину. – Видишь, кора мало продавленная, вся целая.

– Ну и что же?

Улукиткан смеется своим обычным беззвучным смехом, а я стою перед ним, как не выучивший урока школьник.

– Глухого оленя пока не толкнешь, он не услышит. Смотри да хорошо думай: если бы зверь тут стоял много дней, разве кора под рогами осталась бы? Сохатый шибко сильный зверь, даже дерево мог поломать, да, однако, не успел.

Теперь и мне все становится понятным. И остается снова подивиться старику: какие острые глаза и какой проницательный ум надо иметь, чтобы по шерстинке да царапине на стволе дерева восстановить всю картину происшедшего здесь когда-то поединка!

Теперь я ясно представил себе страшную схватку двух лесных великанов, представил, как, горбя спины в предельном напряжении мышц, звери кинулись друг на друга. Взмахи рогов, удары, стон, треск сломанных деревьев; земля из-под ног летит комьями во все стороны, и густой горячий пар окутывает морды разъяренных противников. Вот один из них, может быть тот, который уже считал себя победителем, попал рогом в развилку лиственницы, лишился способности обороняться и был тотчас же убит соперником.

Видно, здесь всю зиму пировали росомахи, колонки, горностаи, обгрызая и растаскивая кости погибшего зверя. Если бы не перенова, прикрывавшая их следы, Улукиткан, вероятно, рассказал бы много интересного и об этих хищниках, наторивших тропки и утоптавших снег вокруг лиственницы.

Я хотел снять рога, но старик удержал меня:

– Может, другие люди сюда придут – пусть видят и тоже подумают, как это получилось…

Мы спустились на дно обширного лога и через три часа подошли к палаткам.

Стоило только нам появиться в лагере, как Бойка и Кучум мгновенно догадались о нашей добыче. Мы принесли на одежде запах убитого сокжоя. Собаки взбудоражились и были возмущены тем, что на этот раз охота состоялась без них.

– Мы так и думали, что вы задержались возле добытого зверя, – сказал Василий Николаевич, от наблюдательности которого не ускользнуло поведение собак. – Далеко добыли? – обратился он к Улукиткану.

– Не шибко. Вот позавтракаем, да и поедем за мясом, – ответил тот, сбрасывая котомку и устало опускаясь на нарту.

– Отвяжи собак, Василий, пусть бегут к кишкам, пока птицы не растащили их, – предложил я.

---

[32] Массовый отлет птиц происходит во второй половине сентября.

Через минуту Бойка умчалась по нашему следу, увлекая за собой Кучума. Мы не сомневались, что они найдут добычу.

Рано утром мы свернули лагерь.

– Идите-ка сюда, посмотрите, что случилось! – крикнул Василий Николаевич, стоявший возле опрокинутой железной печки.

Я подошел к нему вместе с другими и не мог удержаться от удивления: горсточка отогретой земли меж камней, на которых стояла печка в палатке, поросла зеленой травою.

– Ишь, нетерпение какое… Ожила под печкой, думала, весна пришла, – сказал подошедший Пресников.

Странно было видеть обнаженную зелень среди глубокого снега, обманутую теплом, и в то же время она трогала своей свежестью. Не знаю, как других, но меня безгранично радует первая зеленая травка, первый цветок, первая песня певчей птички. И хотя каждый год все это неизменно повторяется с одной и той же последовательностью, однако никогда и никому не надоедает. Наоборот, с возрастом как-то больше чувствуешь это время и почему-то всегда сожалеешь, что наш год не начинается с этих, всем радостных, дней – пробуждения жизни.

Пока мои спутники собирали оленей, грузили нарты, я с Кучумом ушел вперед.

Идем вниз по Мае. Темно. Шумит тайга, бушуют ключи, из лесу доносится неясный гул. Все сливается в один звук, может быть нестройный, однообразный, но могучий, – звук пробудившейся жизни. Хорошо таким весенним утром быть одному в тайге. Нетерпеливо ждут утра бурундуки, дятлы, синицы, куропатки, вынужденные скрываться от ночных хищников. Вот где-то далеко, словно спросонок, щелкнула белка, вслед за этим пробудились все обитатели тайги, разом застучали, запрыгали, защебетали. А в долине еще темно.

Лыжи легко скользили по мягкому ноздреватому снегу. Скоро и солнце взошло, наступил теплый, многообещающий день. На снегу появился свежий сдвоенный след зайца. «От кого косой удрал?» Вижу рядом другие следы, но крупнее, с четким отпечатком острых когтей, напоминающим следы небольшого медведя. Это росомаха пробежала за зайцем. Меня вдруг охватило любопытство: «Догонит она его или нет?» Хорошо, что следы зайца и росомахи шли в нужном для меня направлении – вниз по Мае.

Понадеявшись на свои ноги, косой удирал уверенно, крупными прыжками, придерживаясь открытых мест. Через километр он остановился, потоптался, посидел и бросился к чаще, да чего-то испугался, повернул вправо. Дальше заяц, явно охваченный паникой, заметался из стороны в сторону. Росомаха же бежала за ним мелкой рысцой. Она нигде не остановилась, не прыгнула, спокойно преследовала свою жертву.

Мы прошли вниз по реке километров пять. У зайца сузились прыжки, он стал петлять, прятаться под валежник и уже не раз ложился на снег, чтобы передохнуть, но, видно, шорох лап приближающегося хищника гнал его дальше. Теперь, несомненно, они были на виду друг у друга, но почему-то прожорливая росомаха сдерживала свой хищный аппетит и продолжала с неумолимым спокойствием идти следом за жертвой.

Еще несколько ниже, на небольшой полянке, следы хищника и зайца переплелись. Налицо было доказательство того, что звери здесь топтались вместе, но и теперь росомаха явно медлила с расправой. Можно было подумать, что у нее появилось чувство жалости к жертве или она была беззубой. Конечно нет! Мне вспомнился рассказ Улукиткана об этом безмерно жадном хищнике. По словам старика, она предпочитает «потное» мясо окончательно загнанного животного, уже неспособного сопротивляться. Улукиткан видел однажды, как росомаха играла с обессилевшей лисою. Та уже сдалась и без сопротивления ждала своей участи, хищник же пытался поднять ее и прогнать еще немного, но у лисы уже не было сил сдвинуться с места. Охотник убил росомаху прежде, чем она успела перегрызть горло жертвы, а лису поймал живьем.

От поляны следы переплелись и пошли кругом. У зайца прыжки измельчали и потеряли симметричность, да и росомаха перешла на шаги. Теперь ни у жертвы, ни у хищника никакой поспешности. Вот на снегу показалась вмятина, заяц лежал, а вокруг все те же ясные отпечатки крупных лап с острыми когтями.

«Бедный заяц! Как медленно и мучительно подступает к нему смерть», – подумал я и зашагал дальше по следам. Идущий сбоку Кучум вдруг насторожился и натянул поводок. Поблизости никого не было, однако собака упрямо тянула меня вправо. Осторожно пролезли мы по кустарнику, и я увидел на снегу большое кровяное пятно. Там же валялись недоеденные заячьи лапки и клочья шерсти. Но Кучум тянул дальше. «Вероятно, где-то близко спит росомаха после сытного завтрака. Разве отпустить кобеля, пусть-ка теперь она попробует побыть в заячьей шкуре», – мелькнуло в голове, и я отстегнул поводок. Несколько прыжков – и Кучум скрылся из виду. Треснул сучок, взлетели куропатки, вспугнутые кобелем, застучала россыпь. Немного погодя донесся лай, визг и грохот скатывающихся камней. Пока я пробирался сквозь чащу, все стихло.

Через несколько минут снова послышался лай, затем возня, но уже ниже по долине. Выбегаю на реку и по льду тороплюсь на звук. За кромкой леса вижу вывернутый лохматый корень. Возле него мечется разъяренный кобель. Он грызет мерзлую землю, корни, пытаясь подобраться к забившейся под карч росомахе. Запрятав в корнях зад, она подставляет ему разъяренную морду, злобно фыркает, готовая броситься на собаку… Наши взгляды с ней встретились. Почуяв опасность, росомаха сильным прыжком вырвалась из-под корня, но была поймана на лету Кучумом. Брызгами взметнулся снег под черным клубком сцепившихся животных. Зубы кобеля все глубже впиваются в горло хищника. Кажется, наступила минута возмездия и за все разбойничьи дела росомахи. Но она не сдается, скребет задними лапами живот кобеля, пытается перебросить его через голову, пастью ловит его лапу.

– Ату ее, Кучум! – крикнул я, подбадривая собаку.

Тот мгновенно отскочил от росомахи, вероятно не узнав моего голоса. А хищник, воспользовавшись замешательством, бросается к открытой россыпи, рассчитывая спастись на камнях. Но не так просто уйти от озлобленной собаки. Огромным прыжком Кучум оседлал росомаху, подмял под себя, и они покатились вниз вместе с камнями. Я бегу на помощь. Хищнику все же удалось вырваться. Несколько секунд – и он на дереве. Кучум повис, вцепившись в хвост росомахи. А та, ухватившись крючковатыми когтями за корявый ствол лиственницы, держит его. Наконец кобель срывается и валится на снег.

Наступила минута передышки. Росомаха, с трудом поднявшись до вершины, повисла на сучке, согнув и без того горбатую спину. Теперь она напомнила медвежонка. В глазах злоба. Кучум пастью хватает снег, скребет лапами ствол лиственницы и беспрерывно лает.

Я выстрелил. В долине стало тихо. Пока я свежевал добычу, Кучум зализывал раны.

Через час след моих лыж уже шел по просветам густой тайги. Под ногами на открытых отмелях рек похрустывают сухие зеленовато-желтые листья тальника, стеклянным звоном гремят прозревшие перекаты. Я остановился передохнуть. По чаще пробежал ветер-дозор, и сейчас же пахнуло весною и разлилось в блеске радужного света, в песнях птиц, в запахе прелой листвы, в задумчивом шелесте старого леса.

Позади послышался далекий перезвон бубенцов. Меня догонял караван.

Часть третья

I

Мы покидаем Маю. Лагерь у трех елей. Эвенкийская сказка. Ночь в старой гари. «Одинокая бродит гармонь»

С каждым днем все сильнее пригревает солнце. Но по ночам мороз сковывает коркой снег, глушит разбушевавшиеся ключи, обжигает холодом набухшие почки осин.

Вблизи лагеря олени выбили корм; их потянуло к открытым отрогам и свежему мягкому ягелю. Трудно стало каюрам разыскивать непокорных животных и пригонять их на стоянку.

– Мы тут много наследили, пора погасить очаг и кочевать на новое место, – сказал Улукиткан, грустным взглядом окинув стоянку. – Плохо долго задерживаться у одного костра: глаза устают смотреть на одно и то же, уши глохнут. Олень и тот не хочет оставаться на старой копанине. Уходить надо. В быстрой воде муть не держится.

Да и всем нам не хотелось задерживаться в этом скучном лагере. Ни гор отсюда не видно, ни ущелья, только кусочек реки да край неба. За два дня, проведенных здесь после возвращения со Станового хребта, мы отдохнули, вымылись в бане, выпекли хлеб. Решили завтра переезжать на новую стоянку и найти наконец Лебедева. По нашим предположениям, он должен закончить работу на гольце Сага и находиться где-то на южных отрогах Джугджура. Скорее всего, в районе той группы больших вершин, которые мы наблюдали со Станового.

Двадцать девятого апреля утром Улукиткан провел наш караван сквозь левобережную тайгу, и мы вступили в широкую долину Кунь-Маньё. Утро было пасмурное, но теплое.

– Мод… мод… мод… – вяло покрикивали каюры на отстающих оленей.

Каюр Афанасий, уходя, затесал лиственницу и закрепил ерниковую веточку с закрученным на ее конце кольцом – условный знак: ушли далеко, но непременно вернемся.

Наш караван беспрепятственно продвигался в глубь просторной долины. Неширокие лиственничные перелески обмежевывали бугристые мари, разукрашенные лоскутками светло-желтого ягеля, ярко-зеленым стлаником. Снежный покров на солнечных склонах был порван, и уже, казалось, не залатать зиме этих прорех.

У крутого поворота реки, каменистого мыса, Улукиткан остановил караван. Он торопливо вытер рукавом потное лицо, и черные бусинки его пытливых глаз забегали по мысам, по склонам гор, по горбатым лиственницам, одиноко торчащим на мари. Затем, склонившись на посох, он долго приглядывался к ельнику, неширокой полосой спускавшемуся со склона к реке. Я подошел к нему:

– Что увидел?

Он растерянно улыбнулся и долго смотрел мне в лицо, о чем-то раздумывая.

– Когда я был молодой, мог догонять тугутку[33], таскать на себе дикого барана и ноги не знали, что такое усталость, тогда тут дымился мой чум, – заговорил он, показывая рукой на три толстые ели с сомкнутыми вверху кронами. – Однако, шестьдесят лет уже есть, а то и больше, как я кочевал отсюда. Эко долго ходил и вернулся. Птица тоже далеко летает, да старое гнездо не забывает.

– Неужели узнал места? – удивился я.

– Эко не узнать, если тут жил! Думаю, примета найду. Иди со мною, – сказал он, выпуская из рук вожжу и направляясь к лесу. – Жена тогда должна была принести в чум первого

[33] *Тугутка* – теленок оленя.

ребенка, обещала сына. Я ему много аю[34] кабарожьих собрал. Но жена ошиблась. Она говорила, в родильном чуме было очень темно, не того поймала, кого хотела: оказалась дочь. Мы покинули эту стоянку – думали, не наше тут место. А чтобы обмануть Харги[35], подменившего ребенка, я оставил тут под елью все аю – пусть, думаю, он караулит их, – а сами кочевали далеко на Учур. Сейчас искать буду, где клал.

– А чем плохо, если родится дочь? – спросил я.

– Опять не знаешь! Девка что делала прежде? Кожи мяла, унты, дошки шила, мясо варила, лепешки пекла, оленей пасла. Но раньше кому-то надо зверя убить, белки, колонков настрелять. Вот и считали: хорошо иметь первым сына, а второй – дочь, тогда шибко ладно в чуме.

Старик подвел меня к трем елям, осмотрел корни, недоуменно повел плечами, потом, кивнув в сторону толстого пня, стоявшего на краю леса, сказал радостно:

– Тогда это была самая лучшая ель! Теперь от нее только догачан[36] остался. Я ее пережил.

Улукиткан разбросал возле пня ногою снег, содрал мох и, запустив под корни руку, долго шарил ею в пустоте.

К нам подошел Мищенко, а затем остальные.

– Кого это он копает? Бурундука, что ли? – спросил Геннадий, покосившись на Улукиткана.

– Еще в молодости где-то здесь спрятал бабки, а сейчас вспомнил, ищет, – ответил я.

Все сгрудились около старика, а он, приподнявшись, протянул мне на ладони три темные от времени косточки.

– Однако, тут кто-то жил после меня, аю мало осталось, – сказал он. – Значит, не зря собирал их: чужой сын все равно играл.

Мы стали рассматривать бабки. Это были совсем позеленевшие от времени маленькие косточки, действительно кабарожьи.

– Хорошо, что не все забрали, а то бы трудно поверить, что ты действительно узнал свои места, – ведь так давно все это было… – сказал я.

Старик вскинул на меня удивленные глаза, обида прозвучала в его словах:

– Зачем стрелять по убитому зверю?! Раз обманешь, а другой раз и правду скажешь, да никто не поверит. Люди, которые тут жили после меня, не могли забрать все, такого закона нет. Бери, сколько тебе нужно, но хозяину хотя бы маленько оставь, иначе вором посчитают. Понимаешь? Люди эти давно были. Смотри сюда… – И Улукиткан показал на старый затес, сделанный на ели. – Видишь, зарос он… поди, лет двадцать ему, тогда и взяли аю. – И, взглянув на солнце, Улукиткан добавил: – Однако, тут остановимся: корм оленям есть, место веселое.

Мы подтянули караван к трем елям и стали устраивать лагерь. Пробудился лес от ударов топора, людского говора и громыхания посуды. Оживилась марь с появлением на ней стада голодных оленей. Дым костра, поднимаясь высоко в небо, расползался шатром над нашей стоянкой.

Каюрам придется здесь жить долго, пока мы не вернемся от Лебедева. Они ставят палатку капитально, на прочных растяжках, с наветренной стороны делают из еловых веток заслон. Печку внутри установили на камнях, борта палатки заваливают снегом. Упряжь, потки с продуктами, посуду развесили на колышки, вбитые в стволы деревьев. Нарты сложили горой, полозьями вверх.

Нам же предстояло провести здесь только ночь, поэтому устроились мы наскоро. И как только ночлег был готов, я поднялся на одну из сопок левобережного отрога. Хотелось опре-

---

[34] *Аю* – бабка, надкопытный сустав ноги животного.

[35] *Харги* – злой дух.

[36] *Догачан* – пень.

делить местоположение гольца, который мы с Пресниковым видели со Станового в непогоду, и наметить более легкий к нему путь.

Передо мною открылся Джугджурский хребет, убранный хмурыми скалами, с многочисленными разветвлениями, с извилистыми долинами, сбегающими к реке Кунь-Маньё. Ближние вершины громоздились каменными глыбами. За ними поднималась ввысь главная линия хребта с белоснежными башнями, минаретами. Справа сияла в лучах заходящего солнца группа мощных гольцов, затянутых снизу прозрачной дымкой. Среди них потерялась интересующая меня вершина: угадать ее трудно, до того все они схожи между собой.

Когда я вернулся в лагерь, на западе гасла вечерняя заря. Сумрачная синева окутала ближние горы. В долину пришла тишина. Рано затих костер, уснули собаки. Не угомонятся только бубенцы на пасущихся оленях.

Я забрался в палатку. В печке глухо потрескивают дрова, освещая все вокруг приятным полусветом. Никто не спит, но все молчат.

– Что это у нас так тихо? – спросил я, недоумевая.

Василий Николаевич подал мне знак садиться.

– Улукиткан сказку обещал рассказать про богатыря и почему эвенки стали кочевать, да начало, говорит, потерял, не может вспомнить, – пояснил он шепотом, кивнув головою в дальний угол.

Старик сидел в своей привычной позе, с поджатыми под себя ногами, низко опустив голову. Я снял верхнюю одежду и, усевшись возле печки, приготовился слушать.

– Эко беда, годы съедают память, как огонь сухую траву, – произнес Улукиткан с досадой и сожалением.

И снова тишина. Кто-то громко потянул из кружки горячий чай. Кто-то вздохнул, пошевелился. Я подбросил в печку дров, ярко вспыхнуло пламя. Старик вдруг выпрямился, повернул к нам голову, и его голос зазвучал грустно и напевно:

– Никто из стариков не помнит, когда это было, но все знают, как случилось. Богата была раньше тайга разным зверем, птицей, рыбой, совсем не то, что теперь. Люди не кочевали, не делали ловушек, им не надо было пасти оленей. Только подумают о мясе, как у чума появляются жирные сохатые, сокжои; глазами поведут – кругом в лесу глухари, рябчики – бери, что угодно, ешь, сколько живот просит. Все давала тайга и не беднела: человек одного зверя съест, а на его место из каждой косточки новые родятся.

Улукиткан хлебнул горячего чая, отодвинулся от накалившейся печки и, усевшись поудобнее, продолжал:

– Жил тогда богатырь Сакал, шибко сильный. Там, где ступит его нога, – озеро разольется, если вздохнет полной грудью – как от ветра, лес валится, бросит куда взгляд – будто молния сверкнет. Это он и устроил так жизнь, что эвенки горя и нужды не знали, враги в тайге появляться не смели. Но вот Сакал стариться начал, а жена никак не могла родить ему сына. В его чуме много лет шаманы били в бубны, призывали на помощь тени предков, молили духов. В жертвенниках не остывало сало, не высыхала оленья кровь. Ничто не могло умилостивить богов. И люди с горечью думали о том, что с ними будет, если Сакал умрет, не передав своей силы сыну. Звери выйдут из повиновения, разбредутся по тайге, оставив человеку лишь путаные следы; птицы разлетятся, где искать их будешь в чаще? Рыбы уйдут в глубину больших рек.

Решил богатырь Сакал подняться на самую высокую гору и еще раз просить милости у доброго духа гор.

– Ладно, – ответил ему хозяин гор. – Я пошлю тебе сына, но помни, Сакал-богатырь, он не должен знать женщин из чужого племени. Как только сын нарушит этот обет, великое бедствие постигнет твой народ.

Согласился богатырь Сакал, клятву дал за сына. С горы спустился, шкуры расстелил и крепко заснул. Во сне видит жену молодой, нарядной, красивой. Чум родильный себе ладит, а сама песни поет. Давно он не видел ее такой веселой.

Не день, не два, не месяц спал он, а когда проснулся, видит – мальчик рядом стоит. Хотел взять его на руки, попробовал поднять – силы не хватило, тяжелым показался. Потянул к себе, а тот ни с места. Понял старый Сакал, что это и есть сын его, к нему его сила перекочевала. Вывел Сакал сына из чума, посмотрел в лицо и удивился: такого красавца ему еще видеть не доводилось.

– Имя твое будет Гудей-Богачан, – сказал Сакал. – Ты родился, чтобы уберечь счастье своего народа, как это делали твои предки, твой отец.

На праздник собрались люди со всей тайги. Много мяса было и оленьего, и сохатиного, и кабарожьего, никто не помнил такого веселья, какое было тогда. Девушки пели песни, парни мерялись силой в борьбе, состязались в беге и меткости. Сын Сакала Гудей-Богачан во всем был первым. А старый богатырь головы не поднимал, брови нахмурив, молча сидел. Вспомнил он про клятву, что горному духу дал, и тяжело стало у него на сердце. Сможет ли сын сдержать эту клятву до конца своей жизни?

Словно тополь, быстро рос Гудей-Богачан, силой наливался. Настоящим богатырем стал, по тайге бродить начал. Где горы по-своему переставит, реку, куда ему нужно, направит, море берегами обложил. Все это для удобства людей делал Гудей-Богачан. Далеко за тайгу разлеталась слава про него, про то, как хорошо живут эвенки. Враги завидовать стали, думать начали, как отнять счастье у народа.

Однажды птицы перелетные весть недобрую принесли: идет на тайгу войско большое, злые пришельцы хотят убить Гудей-Богачана. Собрал молодой богатырь своих сверстников и с ними пошел навстречу врагу. Год бились, второй, третий… Все погибли, остались только Гудей-Богачан да Кара-Иргичи – черный волк из чужого войска. Схватились богатыри последний раз – пошатнулась земля, полетели скалы. Свалил врага Гудей-Богачан, придавил коленкой и думать стал, что с ним сделать.

– Не убивай меня, богатырь, – сказал Кара-Иргичи, – иначе некому будет рассказать людям другого племени о твоей храбрости, некому будет предупредить их, чтоб в тайгу твою не ходили…

Поверил Гудей-Богачан, отпустил черного волка. А Кара-Иргичи, как только в безопасности очутился, злобно пообещал:

– Мы еще встретимся! – и исчез.

Вернулся к себе Гудей-Богачан. Не сидится молодому богатырю. Надумал он заставить солнце светить зимою так же, как и летом, чтобы людям всегда было тепло. Решил прежде узнать, как к солнцу подступиться. Послал в разведку гуся, он не вернулся; послал соболя – бесследно пропал; отправил оленя – где-то затерялся. Понять богатырь не может, кто их там задерживает. Видит, ворон летит с юга. Уселась черная птица на дерево и говорит:

– Слыхали мы, что ты, храбрый Гудей-Богачан, собираешься заставить солнце светить зимою так же, как и летом, да не знаешь, как это сделать. Отправляйся сам на юг и иди до тех пор, пока не встретятся большие горы. Зимою ветры насыпают на них много снегу, они-то и заслоняют солнце. Разбросай горы – и будет всегда тепло, – сказал ворон и улетел обратно.

Гудей-Богачан стал просить отца отпустить его в этот путь. Забеспокоился старый Сакал, опасаясь, что на чужой стороне молодой богатырь увидит красивую девушку и не устоит перед соблазном любви. Стал отговаривать сына, да разве удержишь в гнезде орленка, если у него отросли крылья и он однажды уже испытал их силу?!

– Иди, но помни: твои глаза не должны задерживаться на лицах чужих девушек, уши твои не должны слышать их голосов, ты не должен искать близости с женщиной в чужой стороне, иначе великое бедствие постигнет народ, – сказал на прощанье старый Сакал.

Прошел молодой богатырь всю тайгу, равнины, через реки большие и малые переправился, а гор все не видно. Возвращаться уже решил, но тут ворон невесть откуда появился. «Иди, – говорит, – за мною, горы уже близко».

Еще день шел Гудей-Богачан. Видит впереди зеленую падь, а в ней стойбище большое, вокруг которого войско стоит огромное и впереди войска богатырь Кара-Иргичи. Догадался Гудей-Богачан, что обманул его проклятый ворон и в стан врагов привел. Но Кара-Иргичи, как заметил Гудей-Богачана, видать, испугался и убежал из своего стойбища, а за ним и войско все кинулось.

Спустился молодой богатырь в падь. По стойбищу ходит, в чумы заглядывает, удивляется: ни женщин, ни детей, все добро брошено. Но вот видит он: на краю леса дымок вьется, к небу тянется, большой чум стоит, узоры в нем расшиты золотом. Зашел в него Гудей-Богачан, да так и онемел, с места сдвинуться не может, будто к земле прирос. Глазам своим не верит. Навстречу ему со шкур звериных поднялась невиданной красоты девица, в дорогом наряде, стройна, как березка в густом лесу, глаза горят ласкою. Подошла она к Гудей-Богачану, крепко обняла его за шею, жарко поцеловала. Грудью своей коснулась его груди.

– Давно я поджидаю тебя, мой любимый Гудей-Богачан, спас ты меня от злого богатыря Нара-Иргичи, – сказала красавица и, за руку взяв Гудей-Богачана, на шкуры мягкие его усадила.

Не верит молодой богатырь, что так легко досталась ему дорогая добыча, не может отвести глаз от нее.

– Веди меня в свой чум, женой твоей буду верной, сыновей-богатырей принесу, – говорит девица, а сама раздевает молодого богатыря, на подушки мягкие кладет его голову покорную.

Забыл Гудей-Богачан про наказ отца, не вспомнил про свой народ, остался в чуме. Утром проснулся – видит возле себя Кара-Иргичи. Хочет встать молодой богатырь, схватиться с ним, да не может он сдвинуться с места, поднять руки, – растворилась сила богатырская в ласках женщины.

– Говорил тебе, что мы встретимся! Не силой, а хитростью победил я тебя, – сказал Кара-Иргичи и занес над богатырем руку с ножом.

– Не тронь, брат мой, я сама убью его! – слышит Гудей-Богачан голос девицы и видит, как, взяв у черного волка нож, она склоняется над ним. – Слушай меня, молодой богатырь Гудей-Богачан, и терзайся позором. За одну ночь любви моей ты заплатил дорогой ценой – ценой счастья своего народа и своей жизни. Сейчас ты умрешь от моей руки…

Так и расстался с жизнью богатырь в чужой стороне, так поплатился он за любовь женщины чужого, враждебного племени.

Тот же ворон разнес повсюду недобрую весть о смерти молодого богатыря Гудей-Богачана. Умер от горя старик Сакал, разлетелись птицы кто куда, разбрелись звери по тайге, следом за ними ушли обездоленные эвенки. Не захотели они жить в неволе у Кара-Иргичи, с тех пор и стали кочевать…

Умолк старик, уронив на грудь седую голову.

– Чайку горячего выпей, – предложил Василий Николаевич.

– Чай хорошо, – оживился Улукиткан, – буду пить, да надо спать, поди, уже полночь.

Я вышел из палатки.

Над долиной глубокая ночь, щедро политая трепетным блеском лунного света. Вокруг так светло, что трудно угадать, близко ли утро, или все еще продолжается вечер. Воздух неподвижен, тишина. Только скрипучие шаги оленей по затвердевшему снегу нарушают безмолвный покой да изредка доносится из-за леса глухой, отрывистый крик ночной совы. Вот она, северная ночь, нарядная, затянутая серебристой дымкой, с темно-голубыми тенями, с просветленным небом и необыкновенно тонким колоритом! В ней и грусть, и безмятежность, и нерушимый покой… Нет, невозможно описать всю прелесть северной ночи – до того она прекрасна

в непосредственной близости, когда ощущаешь ее холодное дыхание и зримо представляешь сочетание тончайших красок.

Утром мы поторопились покинуть лагерь. С собой потащили две нарты. Наш груз состоит из палатки, печки, спальных мешков и двухнедельного запаса продовольствия. Пойдем втроем: Мищенко, Пресников и я. Так лучше: кто-нибудь из нас один будет постоянно находиться на стоянке, варить обед, выпекать лепешки, готовить дрова, а двое могут полностью заниматься поисками.

Нарты нагружены, увязаны. Василий Николаевич достал из своей потки пачку писем, захваченных им из штаба для лебедевского отряда, и бережно рассовал их по боковым карманам гимнастерки.

Перед тем как тронуться в путь, все молча собрались у костра. Так уже давно у нас заведено – минуту помолчать перед большим походом. Солнце еще не появилось, но восточный край неба все больше и больше светлеет. Ко мне подошел Улукиткан.

– Может, холод будет: восход нехорош. Хлеб клади обязательно за пазуху, не замерзнет, – сказал он ласково, передавая нам троим по теплой, недавно испеченной лепешке. – Кушать будешь на привале – вспомнишь, что Улукиткан правильно толмачил, – добавил старик, и добродушная улыбка озарила его лицо.

Все это было искренне и трогательно. Мы в радостном смущении даже спасибо старику сказать не догадались. Хотелось сделать что-то большое, достойное этого простого проявления души старого таежника. Ведь нужно же было ему после утомительного перехода провозиться в своей палатке до утра с выпечкой лепешек, и все для того, чтобы сделать нам приятное, хорошо проводить нас в путь!

Обычно сдержанный, Василий Николаевич схватил в свои объятия Улукиткана, закружился с ним возле костра, тяжело переставляя ноги. Вот он остановился, поставил Улукиткана против себя и спросил со всей серьезностью:

– А тебе, Улукиткан, делает кто-нибудь столько же приятного, как это можешь делать ты?

Старик не торопясь поправил сбитую на затылок ушанку и задумчиво поглядел на Василия Николаевича, видимо подбирая нужные слова.

– Мать лижет телка – ему приятно и ей тоже. Если от моей заботы вам хорошо, то от этого мы еще лучше. Человеку дано две руки, чтобы они помогали друг другу.

Мы распрощались. Геннадий и каюр Николай пошли проводить нас до устья правобережного ручья.

Снова лямки обняли плечи, запели полозья унылую песню. Наш «караван» миновал бугристую марь и неожиданно попал в старый завал. Черные, обугленные от пожара стволы сучковатых елей давно свалились на землю, подняв кверху корневища. Завилял след в поисках прохода. Пустили в ход топоры, но пробиться не удалось. Свернули к реке, и там тоже не лучше. Подопревший лед на перекатах подкарауливал на каждом шагу, а берега были завалены наносником и крупными валунами, принесенными сюда рекой. С большим трудом преодолели препятствия и выбрались к сыролесью.

На высоком берегу реки Кунь-Маньё мы остановились передохнуть. Надо было дать отойти плечам. Ноги у всех мокрые. Мы с тревогой посматриваем вперед, туда, где поредевшая лиственничная тайга перехвачена полосками кочковатых марей и зеленых стлаников. Навстречу солнцу торопливо бегут облака, все больше сгущаясь у горизонта. Дневной свет тускнеет. Неотогретый, заиндевелый лес шумит глухо и тревожно.

След каравана прижался к горам. Думалось, там легче будет идти, однако протащились с километр косогором и поняли, что дальше тащить нарты не под силу. Пришлось снова спуститься в долину.

В природе полное смятение. Зима вся в проталинах, доживает последние дни, а у весны оказалось так много хлопот, так много она всем наобещала, что сил не хватает и ни одно нача-

тое дело не может она довести до конца: в ложках пробудила ручьи, а берега не очистила от снега; на реке сдвинула лед, да так и бросила его, сжатый гармошкой у переката; вскрыла мари, но отвести воду забыла. А нам из-за этого все труднее идти. Россыпи, поднявшиеся из-под снега, завалы изматывают силы.

Решаем перебрести на левый берег Кунь-Маньё, поближе к северным склонам отрога. Там снег оказался глубже и суше, до него еще не добралось солнце. Продвигаемся с большими усилиями, одно облегчение – меньше воды и проталин. Геннадий с Николаем прокладывают дорогу, за ними тянется караван. Нарты задевают края борозды, то и дело переворачиваются, цепляются за пни. А небо уже сплошь затянуто тучами. Встречный колючий ветер холодит лицо. Ни птиц, ни следа зверя – все живое, предчувствуя непогоду, спряталось, забилось по дуплам, в щели, в чащу.

К двум часам доходим до крутой излучины реки. Кунь-Маньё уходит от нас вправо, теряясь за синеющими вдали мысами. Слева видно боковое ущелье, затянутое у входа ольховой чащей. Без слов и сговора сворачиваем в него. Всеми нами руководит одно желание – как можно скорее вырваться из этой неприветливой долины.

За чащей на первой проталине сбрасываем лямки, лыжи, в изнеможении валимся на снег. Пресников бросает через плечо суровый взгляд на пройденный путь, а его губы все еще сжаты от недавнего напряжения. Голод напоминает о себе. Первым поднимается Василий Николаевич. Он достает из багажа топор и, будто боясь разбудить нас, бесшумно идет за дровами. Все провожают его завистливыми глазами. У этого человека даже и в критические минуты всегда находится драгоценная капля бодрости и неистощимой воли. Она-то сейчас и выводит нас из состояния минутного оцепенения. Поднимаемся. Товарищи помогают Василию Николаевичу. Я развязываю нарты, достаю посуду, продукты.

Вспыхнул огонь, обнимая красным пламенем котел. Мы усаживаемся возле костра. Кажется, нет у путешественника более верного спутника, нежели костер. Кому, как не ему, в поздний час ночи ты откроешь свои заветные думы и мечты? Кто порадует, обласкает тебя в минуты жестоких неудач? Отогреет закоченевшее от стужи тело? Кто оберегает твой сон и никогда тебе не надоедает?

После обеда прощаемся с Геннадием и Николаем. Они возвращаются на табор, а мы продолжаем свой путь. Идем глубоким снегом, выбирая путь по редколесью. Под деревьями уже образовались круги проталин. Дно ущелья, да и боковые склоны затянуты стлаником, ольхой, рябиной. Попадается и краснотал, но больше всего березки. Она так заплела своими корявыми ветками проходы, что местами без топора ни за что не пройти.

Время тянется страшно медленно. Мы потеряли понятие о расстоянии, передвигаемся черепашьим шагом и все чаще задерживаемся, чтобы передохнуть. Груз намок и отяжелел. Все труднее перетаскивать нарты через завалы и проталины. Бойка и Кучум тоже намаялись по глубокому снегу, плетутся нашим следом, волоча за собой мокрые хвосты. За поворотом из-за ближних отрогов показалась скалистая вершина гольца. До нее остается еще добрая половина пути, а день уже на исходе. Решаем дойти до первой проталины или площадки и там расположиться на ночь. До подножия нам сегодня явно не добраться.

Но за поворотом нас подкарауливала еще большая неприятность: нарта Василия Николаевича попала в щель, провисла и переломилась пополам.

– Тьфу ты, дьявольщина! Где тонко, там и рвется! – буркнул он с досадой, сбрасывая лямки и опускаясь на снег.

– Закуривай! – кричит издали Александр, и до нашего слуха доносится его густой, раскатистый смех.

– Ну и человек! Чего ржешь? – говорит серьезно Василий Николаевич, с трудом сдерживая раздражение.

Александр подтащил свою нарту к нам, достал кисет.

– С чего унывать, дядя Вася? Дрова рядом, воды сколько хошь, мясо есть, тут и остановимся, – ответил он успокаивающе мягко. – Но первым долгом надо покурить – яснее будет, как и что делать…

Очевидно, что путь наш сегодня оборвался. У нас нет ни гвоздей, ни проволоки, ни инструментов, чтобы починить пострадавшую нарту.

– Не везет тебе, Василий Николаевич, – начинает подшучивать неугомонный Александр, выпуская из широких ноздрей дым. – Завтра я пойду передом, так надежнее будет…

Он размял на ладони недокуренную цигарку, высыпал табак обратно в кисет, встал.

Поднялся и Василий Николаевич.

Мы отдохнули, перетащили груз и нарты к ближней скале и расположились на крошечной плите среди россыпи. Тут уж не до удобства, лишь бы сухое место. К тому же скала защищала нас от холодного ветра, не на шутку разыгравшегося в ущелье. Палатку ставить негде, придется ночевать под открытым небом, у костра.

Пока устраивали приют, созрел новый план: Александр останется на таборе чинить нарту, готовить ужин, а мы с Василием Николаевичем пройдем дальше на лыжах, проложим дорогу по снегу к подножию гольца, до которого совсем недалеко. Это облегчит завтрашний путь. Притом нам не терпелось проверить, обнаружится ли след Лебедева в этом ущелье.

Наскоро сушим одежду, выпиваем по кружке чаю и покидаем стоянку. До темноты остается немногим больше двух часов. Ущелье сжимают каменистые мысы. В заледеневшем русле глухо ворчит уже пробудившийся ручей. Чем выше мы поднимаемся, тем суше снег. Лыжи тонут глубоко, местами приходится сбрасывать их и продвигаться вброд.

Километра через четыре ущелье раздвоилось. Сворачиваем правой лощиной, полагая, что она приведет нас к первому гольцу. Торопимся. Но через километр нас встретил завал из каменистых глыб, а дальше проход оказался переплетенным стволами упавшего леса. На лыжах, да еще с нартами тут явно не пройти.

Что же делать? Возвращаться ни с чем на стоянку не хотелось: это означало бы, что завтрашний день придется затратить на поиски прохода. Попытаемся все же пробиться через завал и заглянуть, что же там дальше и можно ли, хотя бы на лыжах, добраться до подножия гольца.

А день уже на исходе. Ветер полощет тучи. Даль затягивается сумраком. Усталость все настойчивее напоминает о себе.

Снимаем лыжи, заправляем фуфайки в штаны, затягиваем потуже ремни. Надо торопиться, чтобы ночь не застала нас в завале. Тогда не выбраться отсюда до утра. Но тут все против нас: сучья хватают за одежду, ноги то и дело проваливаются в пустоту, подошвы унтов скользят по камням. Вокруг обугленный лес, всюду валяются полусгоревшие стволы, торчат вывернутые пни.

Василий Николаевич забыл про трубку, взмок от напряжения и поминутно чертыхается. Я еле плетусь за ним. Кругом завал. Окончательно убеждаемся, что с нартами нам здесь не пробраться под голец. Сворачиваем вправо на отрог с намерением найти проход в соседнее ущелье.

Верх отрога оказался затянут сгоревшим стлаником, уже освободившимся из-под снега. Трудно представить более неприятное препятствие, нежели стланиковые гари – густое сплетение из жестких обугленных веток и корней прикрывает метровым слоем опаленные огнем камни. Негде ступить ноге, не за что схватиться руками – все предательски неустойчиво. Мы с трудом взбираемся на верх отрога. Серый и холодный – очень холодный! – день закончился, не порадовав нас даже красотой заката.

Василий Николаевич устало опускается на камень, достает из-за пазухи бинокль и начинает осматривать местность. Я усаживаюсь рядом, не могу отдышаться. В нашем распоряжении всего несколько минут. Нужно успеть до темноты спуститься на стоянку.

Сквозь дымчатый сумрак виднеются широкой панорамой однообразные гольцы. Они начинаются примерно километрах в шести от нас и тянутся непрерывной грядой далеко на восток, теряясь среди бесчисленных нагромождений Джугджурского хребта. Левее гольцов виднеется глубокая ложбина. Она круто сбегает вниз и, как бы обрываясь, открывает вид на Джугдыр – скученный, плосковерхий, вытянутый с севера на юг. Детали уже не просматриваются. Вокруг безмолвно, пустынно, тускло, а обгоревший лес и опаленные огнем россыпи делают пейзаж мертвым.

Мне и теперь не удается опознать среди ближних вершин ту, которую мы видели со Станового и которая по высоте должна превосходить остальные в этой группе гольцов. Вероятно, с той стороны, откуда мы смотрим на нее, она имеет другое очертание. Жаль, что все так неудачно получается.

Ведь, отыскав вершину, мы легче обнаружили бы лагерь Лебедева. Перебраться же с нартами в соседнее ущелье через боковой отрог из-за крутизны и завалов тоже невозможно. Неужели придется возвращаться на Кунь-Маньё и по ней идти выше в поисках прохода?

– Вы ничего не слышите? Чудится мне: не то песня доносится, не то бубенцы позванивают, – говорит Василий Николаевич, настораживая слух и всматриваясь в глубину соседнего ущелья, затянутого редколесьем.

Ветер на какое-то время стих. Ночь окутывает вершины гор густым мраком. До слуха доносится только шорох настывающего снега да слышится наше учащенное дыхание.

Василий Николаевич вдруг хватает меня за руку:

– Слышите? Гармонь! Ей-богу, гармонь! Вот провалиться мне на этом месте!

– То были бубенцы, теперь гармонь. А я ничего не слышу. Скрипит старая лесина, а тебе чудится всякое.

– Да что вы – лесина! Истинно говорю, гармонь!

Напрягаю слух. Действительно, доносится какой-то нежный звук. Нет, это не скрип дерева, не голос птицы. Прислушиваюсь и не верю себе: издалека, из самой глубины ущелья, просачиваются отрывки какого-то знакомого мотива. Как странно и необычно звучит мелодия в этом мертвом лесу, среди опаленных огнем россыпей!

Василий Николаевич вскакивает:

– Ведь завтра Первое мая, понимаете? А мы-то и забыли! У Лебедева вечеринка, честное слово! Они где-то близко. Пошли!

– А как же с Александром? Ведь мы отлучились на два часа, он беспокоиться будет, искать начнет…

– Ничего, – говорит Василий Николаевич и, подумав, добавляет: – Пойдет нашим следом, выйдет сюда, а мы тут повесим рубашку с запиской, что, дескать, Лебедева обнаружили.

– Тогда давай поторапливаться.

Через три минуты мы уже пробрались через гарь, спускаемся в соседнее ущелье. Музыка почему-то стихла. Совсем стало темно. Идем почти на ощупь, с трудом различая пни, валежник, часто натыкаемся на сучья и торчащие над поверхностью корни погибших от пожара лиственниц. А ниже еще хуже: сухой, колючий стланик сплошь переплел проходы. Темная ночь, предательская пустота меж камней, лесной завал – все против нас. Препятствия следуют одно за другим.

– Василий, я ничего не вижу и идти дальше не могу. От штанов, кажется, одни лоскуты остались, руки в крови. Ночуем тут, – предлагаю я.

– Да и я думаю: что торопиться, ведь Лебедев никуда не уйдет, – отвечает он.

Мы находим небольшую проталину, собираем дрова. У нас одно желание: прилечь и забыться. Вдруг оттуда же, из глубины ущелья, доносится знакомый звук, только теперь он слышится яснее, и я узнаю «Одинокую гармонь». Здесь, среди омертвевшей природы и сурового безмолвия, мелодия действительно кажется одинокой. Но в эти минуты роднее ее нет ничего.

Мы стоим, забыв про усталость, а гармонь надрывается, зовет, обещает приют и сладостный отдых в кругу друзей. Мелодия то стихает, расплываясь в пространстве, то доносится стройно, звучно и все же печально.

А вокруг ничего не видно. Снова томительная тишина, ни ветра, ни треска падающих деревьев. На западе у горизонта прорезался слабый отсвет потухающей зари.

Мы молча разжигаем костер.

– Как же это мы – счет дням потеряли, никто и не вспомнил про Первое мая, а надо бы отметить, – прорывает молчание Василий Николаевич.

– Дни-то на счету, а праздники на нас не в обиде будут.

Наша стоянка оказалась неудобной. На мокрой и холодной почве и на минуту нельзя было прилечь – моментально бы застыло тело. На угловатых же камнях можно устроиться только сидя, но усталость требует большего. Ощущаю острую боль в спине, ноги как свинцом налиты, руки повисают, словно плети.

Стланиковые дрова горят ярко, пышно, но без жара. Пламя то вдруг вспыхнет, отбросив на миг подступающую темноту, то печально погаснет, и тогда холод заползает под одежду, леденит расслабленное тело.

Мы кое-как устраиваемся и впадаем в полузабытье, в котором события дня фантастически переплетаются с призрачным миром, где нет гарей, распутицы и проклятого холода. Пробуждаясь, мы возвращаемся к действительности, бросаемся к костру – спасительному источнику тепла, способному вернуть бодрость.

В полночь темнота поредела, очистилось небо, ярко загорелись звезды. На севере прояснились бесконтурные громады гольцов. Всплывают россыпи, гари и далекие хребты. В раструбе двух вершин медленно и величаво поднимается луна. Она как-то смягчает мерцание звезд, рассеивает остатки мрака, украшает склоны гор фантастическими узорами. Все вокруг ожило, преобразилось, мертвый пейзаж стал неузнаваемым. Мы сидим у костра, поглощенные чудесным видением. Вокруг беспредельный покой. Хочется уснуть, но холод отгоняет сон.

– Давайте пойдем, тут все равно не отдохнешь, только намучаешься, – говорит Василий Николаевич.

Но я вижу, каких усилий ему стоит подняться с места. Он с трудом разгибает закоченевшую спину и бросает упрямый взгляд в глубину ущелья. Я встаю молча, кладу на огонь остатки сушника, чтобы запастись теплом на дорогу, и мы покидаем проталину.

Луна сопровождает нас справа. Светло. Идем медленно, молча, как обреченные. Шаги будят тишину. Рядом ползут наши тени.

Обходим неглубокий ложок и боковым гребнем добираемся до редколесья. Василий Николаевич озирается вокруг.

– Век бы по ней не ходить! – бросает он зло и, оглядев свою изорванную одежду, горестно качает головой.

Надеваем лыжи и спускаемся на дно ущелья. И вскоре натыкаемся на явный след прошедшего каравана – несомненно, Лебедева. Усталости и напряжения словно и не было. Ноги зашагали бодрее, на душе посветлело, а мысли уже заняты радостью предстоящей встречи.

Время приближается к утру.

Скоро тайга поредела. На снегу все явственнее следы и свежая копанина, в воздухе улавливается запах человеческого жилья. Слева слышится шум и треск. Мы останавливаемся. Это удирают отдыхавшие на мари олени, вспугнутые нашим появлением. Где-то близко залаяла собака.

Через несколько минут мы увидели струйку дыма, поднимающегося ввысь, а затем и лагерь из двух палаток, прижавшихся к краю высокоствольного леса. Собака Берта, узнав нас, с радостным визгом бросается навстречу. Василий Николаевич зажимает ей рот, грозит пальцем и молча подает мне знак не выдавать нашего приближения.

Осторожно пролезаем внутрь палатки. Здесь все спят. В палатке настолько тесно, что негде присесть.

– Ишь как вольно расположились. Не ждали гостей, – шепчет мне Василий Николаевич, а сам хитро улыбается: по глазам вижу – что-то озорное замышляет.

– Пойдем в другую палатку – может быть, там свободнее, – предлагаю я.

– Не надо, потерпите немного. Будить не будем, приляжем на часок. Они сами сейчас освободят нам место. – И он, выбросив из печки недогоревшие головешки, стал жадно закуривать, заговорщически обозревая полураздетые тела. Я покорно жду, не понимая, для чего нужно было тушить огонь в печи.

Так в безмолвии мы сидим некоторое время. В палатку все настойчивее проникает холод, люди начинают шевелиться, поеживаться, поджимать под себя ноги, прятать руки и свертываться в комочки, как береста на огне. От этого в палатке становится свободнее, можно уже, кроме нас, поместить еще не одного ночлежника. Василий Николаевич доволен.

Когда мы раздевались, проснулся Лебедев. Он приподнялся, удивленно посмотрел на нас, что-то пробурчал и снова лег, но тут же вскочил.

– Вы откуда взялись? – изумленно вскрикнул он и стал протирать заспанные глаза, не веря, что все происходит наяву.

– С горы свалились. Торопились к празднику, но, как видишь, не поспели, – ответил Мищенко, кивнув головой в сторону пустой посуды.

– Да вы взгляните на себя! Где кочегарили? Все в саже… – Лебедев захохотал и, тормоша спящих товарищей, закричал полным голосом: – Эй, хлопцы, поднимайтесь! Кто дежурный, почему печь погасла?

Потом обхватил своего дружка Василия Николаевича Мищенко, и оба замерли в крепких объятиях.

До слез было приятно видеть встречу этих сердечных людей, проработавших в экспедиции рядом друг с другом много-много лет. Тяжелый труд, лишения, борьба с причудами природы навсегда связали их настоящей дружбой.

Скоро под лиственницей разгорелся костер. Все собрались возле него. Вышли люди из второй палатки.

На обветренных лицах товарищей лежит отпечаток пережитых испытаний, бессонных ночей и раздумий, изрядно поношенная одежда хранит следы зимних походов, бурь, бивачных костров.

Все окружили Василия Николаевича. У него из раздутых карманов гимнастерки торчат примятые утлы конвертов, они-то и приковывают внимание обитателей лагеря. Получить письмо в этих диких горах, да еще так далеко от населенных мест, по меньшей мере чудо. Но Василий Николаевич не торопится. Придерживая загрубевшими ладонями карманы, он хитро улыбается и кричит басом:

– Разойдись, без пляса никому!

Все расступились. Образовался круг. Лебедев, неуклюже подбрасывая свое худое тело и тяжело перебирая ногами, пытается изобразить какой-то танец. Василий Николаевич хлопает в ладоши.

– Ай-да-да, ну-те-да! – весело подпевает он хриплым голосом, стараясь попасть в такт танцующему.

– Хватит, давай письмо! – подступает к нему Лебедев.

– Что ты, Родионович! Надо вприсядку, дешевле не велено отдавать.

– Вприсядку? Ишь чего захотел! Не буду, отправляй письмо обратно.

Василий Николаевич достает из левого кармана гимнастерки пачку писем. Все насторожились, заулыбались. А он медленно, с явной издевкой вытащил из пачки письмо Лебедева, повертел его в руках и переложил в правый карман.

– Одно письмо поехало обратно, адресат не желает получать. Следующий…

В круг врывается Евтушенко – молодой рослый рабочий. На миг задерживаясь перед Василием Николаевичем, он легко выбрасывает вперед ногу, ставит ее на пятку и, лихо подбоченившись, встряхивает головой:

– Наприсядки? Можно! А ну, хлопцы, дружнее!..

Ребята расступаются. Чей-то бойкий тенорок затягивает плясовую. Все подхватывают:

Гоп, кума, не журыся,
Туды-сюды поверныся,
Отокечке чоком-боком
Перед моим карим оком.

Евтушенко, отбросив назад корпус и низко приседая, проносится по кругу. Из-под ног его брызгами взметается снег. На помощь ему подоспевает гармонь, дружно ударяют ладоши.

– Стой! – вдруг ревет Василий Николаевич и жестом руки заставляет всех умолкнуть. – Зря, Евтушенко, пятки чешешь, – говорит он уже спокойно. – Тебе письма нет, а та веснушчатая, в голубой косынке, просила передать устно, чтоб ты вернул ей фотокарточку: замуж выходит. Понял?

Сквозь смех слышатся голоса:

– Сходи с круга, не задерживай!

– Мишка, отломи за меня!

– Подбери слезу!..

– Шалишь, дядя Вася, давай письмо, у меня ноги не казенные!.. – пытается протестовать Евтушенко. – Сам напиши, но отдай. А насчет голубой косынки ошибся: это ведь Егора невеста…

– Ладно, уговорили, – смеется Василий Николаевич. – Получай… А вы не лезьте – говорю, без пляса никому…

Только через полчаса умолкла гармонь, стихли голоса. Распался на угольки осиротевший костер. Люди разбрелись по лагерю. Кто ушел за палатку, кто примостился на пне или уселся на нарту. Лебедев – тонкий, высокий, с почерневшим от ветра лицом – стоя подпирает плечом лиственницу. Письма заставили на какое-то время забыть лагерь, горы, даже голубое приветливое небо, освещенное утренним солнцем. Все мысленно перенеслись в родные, далекие места, к дорогим сердцу людям, взволнованно ощущая их близость. Письма были разные, да и по-разному воспринимались. Но даже самые радостные из них вызывали на лицах и в глазах читающих грусть разлуки.

Мы с Василием Николаевичем, не желая своим присутствием мешать переживаниям товарищей, уходим в палатку и отдаемся счастливому покою.

II

Побежденная вершина. Воет, злится пурга над Джугджуром. След геодезистов на пике

В подразделении Кирилла Родионовича Лебедева семь человек, включая его и Пресникова. Большинство его спутников – молодые парни гвардейского сложения, впервые попавшие так далеко в тайгу. Познакомились они друг с другом только в экспедиции, но за короткое время уже успели крепко сдружиться. Этому, конечно, немало способствовал сам Кирилл Родионович, человек волевой и общительный, умеющий сколотить дружный коллектив и подчинить его общей цели.

Я и Василий Николаевич проспали весь день. Когда проснулись, Александр Пресников уже был в лагере – за ним сходил Лебедев с рабочими. Они принесли груз на себе, а нарты бросили на последней стоянке.

Костер по-праздничному играет пламенем, ярко освещая стоянку и отбрасывая в глубину леса трепещущие тени старых лиственниц. Живописную группу представляют люди, расположившиеся вокруг костра, на котором доваривается ужин.

Пресников бреется, согнувшись в дугу перед крошечным зеркальцем, установленным на полене. Дубровский и Евтушенко уже в который раз перечитывают письма, примостившись поближе к огню. Лебедев, разложив вокруг себя починочный инструмент, пришивает латку на сапог. Рабочий Касьянов поварит. Он выкладывает из котла на сковородку куски мяса и поправляет костер. Кучум, вероятно в надежде на поживу, расположился поближе к мясу и хитрыми, воровскими глазами следит за Касьяновым. Отблески огня падают на плоские, скуластые лица каюров, допивающих чай поодаль от костра.

Ко мне подсаживается Губченко, сияющий, как утреннее солнце. Ему повезло больше всех.

– Видели? Сегодня получил… – говорит он, показывая фотокарточку миловидной девушки с задорными глазами и пышной прической, а сам берет у сидящего рядом Василия Николаевича кисет и начинает скручивать толстенную цигарку.

– Опять к чужому табаку пристраиваешься! – замечает Лебедев.

– Да я, Кирилл Родионович, махонькую, побаловаться. – И Губченко тянется к костру за угольком.

Василий Николаевич встал, поправил костер, с хрустом выпрямил замлевшую спину. Метеорит огненной чертой пробороздил темный свод неба. В глубокой тиши уснувшего ущелья накапливался холод.

– Что ты завтра собираешься делать? – спросил я Лебедева.

– Хочу идти на рекогносцировку. Где-то близко должна быть главная вершина этой группы гольцов.

– И я видел ее со Станового, иначе бы мы не встретились здесь. Пойдем вместе, мне нужно показать тебе вершины, которые мы наметили под пункты на главных водораздельных линиях хребтов. К ним будет привязывать свое звено и Пугачев.

– Мне бы не хотелось далеко углубляться по Становому, места там, кажется, скалистые, труднодоступные, тяжело будет вытаскивать строительный материал. Не лучше ли обойти его с восточной стороны?

– На Джугджурском хребте вершины кажутся более доступными, нежели на Становом, но каковы подходы к ним, не знаю. Надо будет разведать, – ответил я.

Лебедев встал, осмотрелся.

– Пора спать, утром рано пойдем, – сказал он, зябко поеживаясь.

Мы разошлись по палаткам. Одиноко догорал костер.

Когда я выбрался из спального мешка, вокруг была ночь. Еще ничто живое не проснулось, но уже чувствовалось, что недалеко до рассвета, вот-вот на востоке вспыхнет румяная зорька.

Кирилл Родионович встал еще раньше и успел вскипятить на костре чайник. Позавтракав, мы набрасываем на плечи легкие котомки с небольшим запасом продовольствия и покидаем спящий лагерь.

Поднимаемся по ущелью. Бледная луна, очень далекая и печальная, освещает наш путь. Под лыжами – хруст настывшей за ночь снежной корки. Мы карабкаемся на боковые склоны, пролезаем сквозь чащу, идем по завалам.

Чем выше, тем скуднее становится растительность. Уже на половине высоты гольца древесную растительность вытесняют лишайники и мхи. Снежный покров уплотнен, идти становится легче.

Взбираемся на верх отрога. Отсюда начинается подъем на голец. Я поторапливаю Лебедева: хочется скорее взойти на голец и сверху рассмотреть панораму хребтов при утреннем освещении. В это время воздух бывает прозрачным, свет и тени контрастнее выделяют линии водоразделов, лучше просматриваются межхребетные пространства, детали гор. Но вот уже час, как идем по отрогу, а голец все еще далеко и, кажется, не приближается, а отдаляется. В горах расстояние очень обманчиво.

– Посмотрите, каких пятаков медведь надавил, – сказал Лебедев, остановившись на узком перешейке гребня.

На снегу – глубокие отпечатки тяжелых лап. Следы пересекли вкось наш путь и потянулись ровной стежкой через вершину соседнего ущелья в северо-западном направлении.

Мы присели отдохнуть. Кирилл Родионович не торопясь достал кисет, оторвал клочок бумажки, свернул козью ножку и с наслаждением, понятным только заядлому курильщику, стал глотать дым.

Я подумал: почему все следы медведей, которые мы видели, начиная от Майского перевала до последней стоянки Лебедева, пересекали наш путь справа налево и шли, как мне сейчас показалось, в радиальном направлении, к какому-то центру? Может быть, прав Улукиткан, который говорил, что где-то с осени остался корм и звери идут к нему? Я поделился своими мыслями с Кириллом Родионовичем и начертил на снегу схему направления медвежьих следов.

– У нас на Саяне в это время ищи медведя по крутым мысам, где рано появляется зеленка. Любит он, бестия, полакомиться, но здесь ведь нет травянистых мысов, по склонам больше россыпи. Может быть, не корм, а что-то другое приманивает его? Загадка интересная, жаль, что нет времени, – заключил Лебедев сокрушенно, задерживая на мне испытующий взгляд.

Я слушаю его и чувствую, как во мне растет желание повернуть лыжи по следу зверя и разгадать, что же гонит его в такую рань по снегу, через хребты, ущелья и что это за приманка. Но сейчас не до медведя, нужно построить пункт на гольце и до полной распутицы спуститься всем на Маю. К тому же у Лебедева и продукты на исходе.

Подъем становится все круче, но путь свободен от препятствий. Узкая гряда давно развалившихся скал выводит нас на первый широкий прилавок. Тут проходит граница древесной растительности, отмеченная жалкими кустами стлаников, прижавшихся к угловатым камням. Дальше идут полосы свежих россыпей, еще не потемневших от времени и не украшенных узорами лишайников. Создается впечатление, будто совсем недавно появились на склоне гольца эти потоки камня и только что замерли, непонятно как удерживаясь на крутых откосах. Кажется, сделай один неосторожный шаг, и россыпь поползет вниз вместе с тобою. Но продвигаться по этим камням, не затянутым растительностью, легко – идешь, как по ступенькам крутой лестницы.

Идем по западной гряде гольца. Чем выше, тем круче россыпь. Делаем последние усилия, цепляясь руками и ногами за выступы. Яркий солнечный свет слепит глаза. И вот мы как будто на самом гольце. Но сразу же нас постигает разочарование: главная вершина гольца оказывается еще впереди и отделена от нас глубокой седловиной. Спускаемся по крепкому надувному снегу, гладко отполированному ветрами. В седловине отдыхаем. Затем сбрасываем котомки, лыжи и поднимаемся налегке.

Крутой склон гольца сплошь завален крупными глыбами. Они громоздятся в беспорядке: одни торчат вверх острыми углами, другие нависли над крутизной, едва упираясь одним краем о скользкую поверхность скал, третьи лежат одна на другой, образуя неприступный хаос. Под ногами пустота, темные щели, грохот скатывающихся при каждом движении камней. Руки то

и дело судорожно хватаются за выступы, чтобы удержать равновесие тела. Тут уже, как говорится, смотри в оба: легко поскользнуться и переломать себе кости или быть раздавленным свалившимся камнем.

Лебедев первым взбирается на последний прилавок и устремляет сосредоточенный взгляд в глубину ущелья с небольшой лиственничной таежкой на дне. Обветренное, почти черное от загара его лицо сковано мрачной думой.

– Лес-то, лес как будем вытаскивать на вершину! – говорит он, скорее обращаясь к самому себе, нежели ко мне. – Что и говорить, приятно смотреть, когда на пике или на гольце стоит пирамида, но какой ценой это дается?..

Вершина гольца представляет собой крошечную площадку (прилавок) на пятиметровом выступе скалы, которой заканчиваются острые гряды, поднимающиеся сюда с трех боковых возвышенностей. На север площадка обрывается гигантской истрескавшейся стеной в глубокое ущелье, на дне которого светится миниатюрное озерко.

Куда ни глянешь – горы и горы. Внимание приковывает Становой, загромоздивший далекий горизонт своими скалистыми вершинами. Среди них легко узнаю в бинокль ту, на которой мы были с Пресниковым. Она и отсюда представляется в виде огромного стога. Левее Станового, за рекой Маей, лежит широкая синеющая лента Джугдырского хребта, смягчаемая приглаженной снежной пеленою. А справа Джугджур. Мы стоим на боковой его возвышенности, и нам хорошо видны бесчисленные линии отрогов, убегающих на восток и теряющихся там в полуденной дымке. Юг же заставлен беспорядочно разбросанными вершинами, большей частью плоскими, голыми, без проталин на склонах, обращенных к нам. На дне у ближних привалов копятся россыпи, рождаемые у подножия разрушающихся скал.

Здесь еще происходит образовательный процесс, и растительность только пытается проникнуть в это царство курумов. Все вокруг нас серо, безжизненно, молчаливо, а руины скал делают картину еще печальней. Но, как ни странно, теперь я смотрю на этот пейзаж без того горестного, тоскливого чувства, какое не покидало меня в первые дни путешествия. Я, конечно, еще далек от восхищения, но, кажется, меня начинает привлекать природа этого края – угрюмая, скупая, с бедным колоритом, но, несомненно, имеющая свою, пока еще не объяснимую, не осознанную мною прелесть.

Мы выкладываем на площадке невысокий тур из плоских камней, который заменяет нам столик. Лебедев устанавливает на нем буссоль, достает журнал, начинает делать зарисовки горизонта, одновременно определяя азимуты на выдающиеся вершины и изломы местности. Показания буссоли подтверждают, что мы действительно находимся на гольце, который я наблюдал со Станового хребта, а Лебедев – с вершины Сага. Все складывается как нельзя лучше. Можно порадоваться, что наши усилия не пропали даром, но лицо Лебедева продолжает оставаться хмурым, сосредоточенным.

– Высокий голец, да черт ему рад! – бросает Кирилл Родионович.

Мы оба смотрим вниз, где кончается шероховатый край стены, где за плотным снежным полем, далеко на дне ущелья, торчат одинокие лиственницы.

– Может быть, с восточной стороны гольца лес ближе и доступнее, надо разведать.

– Схожу туда, посмотрю, – неуверенно говорит он, пряча буссоль и журнал в сумку.

– Сюда можешь не заходить, я спущусь на седловину, подыщу место для лагеря и там дождусь тебя.

Наметив на площадке расположение опор ног будущей пирамиды, мы покидаем вершину. Я спускаюсь по своему следу.

Вероятно, не всем известно, что подниматься в гору по россыпи значительно легче, чем спускаться. Дело в том, что при подъеме, хотя мышцы и легкие работают с максимальным напряжением, положение всего тела остается устойчивым. При спуске же прежде всего приходится преодолевать вес собственного тела, инерцию движения вниз. Это-то и составляет труд-

ность, особенно при крутом спуске, когда каждый ваш шаг подстерегают то скользкая поверхность камней, то замаскированные пустоты, то предательские ветки стланика. Потеряй опору под ногой, не заметь вовремя препятствия – и можешь сорваться. Так и случилось со мной: не удержались ноги на мокром откосе, не успели руки схватиться за выступ, и я покатился вниз вместе с россыпью. Поднялся, отряхнулся, хотел идти, но острая боль стянула правую ногу. Сквозь брюки выступила кровь. К счастью, рана оказалась неглубокой, и я, немножко передохнув, смог продолжать свой путь.

С трудом нахожу на седловине среди нагромождений камней небольшую площадку, продуваемую со всех сторон ветром. Но это меня не смущает: палатка у нас крепкая, сшитая из плотной материи, не замерзнем, да и погода как будто не обещает козней. Плохо с дровами, их поблизости нет, придется приносить из ущелья.

Из ущелья тянет холодом. Вершины гор золотит закат. Лебедев возвращается часа через три грустный.

– Зря сходил. Под восточным склоном лес еще дальше, да и подъем не легче, чем здесь. Придется лес выносить из нашего ущелья. Другого ничего не придумать. Завтра подтянем лагерь к краю тайги, поставим здесь на седловине палатку и первым делом вынесем на голец цемент, песок, железо, а тогда уже по наторенной тропе будем поднимать лес. Вот они какие, наши дела! – Лебедев беглым взглядом окидывает потемневшее небо.

– Боишься за погоду? – спросил я его.

– Погода что… Другое беспокоит. Будь здесь еловый лес, а то ведь лиственничный, ни на плечо взять, ни волоком, тяжелый, как свинец. К тому же видишь, какая крутизна, россыпь крупная, неустойчивая, долго ли до беды! Но другого выхода нет, будем поднимать лес здесь. – И вдруг, словно вспомнив о наступающей ночи, забеспокоился. – Как бы темнота не захватила нас в чаще, надо идти.

Действительно, в ущелье уже сгущается синий сумрак и грозные вершины гор начинают терять очертания. Мы не воспользовались своим следом, решив спуститься в ущелье лощиной, подпирающей седловину с запада, и поискать более легкий путь для переноски груза.

Спускались долго. Лощина оказалась заваленной крупными обломками и забитой снегом. Нечего было и думать поднимать лес по ней. На поиски же другого прохода у нас не осталось времени: надо было торопиться.

Мне показалось, что сообщение Лебедева о предстоящих трудностях, связанных с подъемом на голец груза и леса, вызовет у товарищей разочарование или упрек. Ничего подобного не произошло. Никто не подумал переспросить его, задать вопрос, будто слова Лебедева пролетели мимо, не задев слуха. Я посмотрел на этих молодых, здоровых парней и подумал: «Прав Улукиткан: в молодости горе не задерживается. К этому можно еще добавить, что молодость бесстрашна».

На следующий день Пресников, Губченко и Касьянов ушли вперед с топорами прокладывать дорогу. Каюры пригнали оленей, мы свернули лагерь и отправились по дну ущелья к подножью гольца.

На этом небольшом пятикилометровом отрезке пути природа, казалось, сосредоточила все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы преградить нам доступ к цели: сухой глубокий снег, затянутый тонкой коркой, месится под ногами оленей, как песок; кругом заросли, обнаженный валежник, россыпи, прижимы. Рвутся на оленях ремни, ломаются нарты, падают, отказываясь идти, обессилевшие животные. В воздухе не смолкает крик и брань.

Свой лагерь мы расположили на краю леса у подножия бокового гольца. Распряженные олени долго отдыхали, подставляя черноглазые морды ласковому солнцу, затем гуськом потянулись на верх гребня, понимая, что там меньше снега и легче копытить, да и много выдувных мест с ягелем. После короткого совещания мы несколько изменяем намеченный ранее план:

вначале вынесем на середину весь материал, необходимый для постройки пирамиды, палатку, продукты и уже оттуда будем вытаскивать все на вершину гольца.

Больная нога принудила меня остаться в лагере. Буду поварить и заготавливать лес. Остальные уходят по оленьей тропе на верх гребня. Цепочка из восьми человек медленно взбирается по каменистому склону, то растягиваясь и разрываясь, то смыкаясь или исчезая в расщелинах. За плечами у людей тяжелые рюкзаки с цементом, гвоздями, песком.

Во второй половине дня рейс на седловину был повторен. Работа не прекращалась допоздна. Люди не стали считаться с усталостью, у всех одно желание – как можно скорее покончить с делами на гольце и спуститься к реке, ближе к теплому, желанному солнцу. А оно сегодня было щедрым и, казалось, больше, чем обычно, задерживалось над горами.

Даже вечером не закончилась трудовая жизнь в лагере. Рабочие подтащили к палаткам срубленный лес и при большом костре долго обтесывали сучковатые лиственницы. А после ужина, как обычно, посидели у костра, покурили, поговорили. Поиграла немного гармонь, скрасив теплыми звуками ночную тишину. Затем все стихло.

С утра начали вытаскивать на голец заготовленный лес – это, пожалуй, самая тяжелая работа у строителей геодезических знаков, она требует невероятного напряжения сил.

Всех разделили на две группы. Одной командует Лебедев, второй – Пресников. Я в бригаде последнего. Нас пять человек. Лес тоже разделили на две части.

От лагеря до открытой россыпи с километр крутого снежного подъема. Решаем по нему вытащить лес на нартах, а уже дальше поднимать на себе. Укладываем два бревна на нарты, подвязываем их ремнями. «Коренником» идет Пресников.

– Пристяжные, подтянись, головы повыше!.. – кричит он, бросая вызов Лебедеву.

Натянулись ремни, заскрипели полозья, врезаясь глубоко в снег. Протащили метров двести, чувствуем – воз нам явно не под силу. Сбросили одно бревно. Дело пошло лучше.

В ущелье, по которому мы продвигаемся, по-зимнему морозно, солнце сюда заглядывает поздно и ненадолго. А нам жарко. Идем рывками. Подъем все круче и круче. Плечи, уже привычные к лямкам, все же нестерпимо горят, ремни сжимают грудь, ноги по колено грузнут в сыпучем снегу. Все раскраснелись, от мокрой одежды клубится пар. Хочется остановиться, передохнуть, но «коренник» неумолим.

– Не отставай, головы выше!.. – кричит он, не оглядываясь, видимо, плечом чувствуя, что кто-то ослабил ремни.

И мы снова дружно тянем нарты, пригибаясь почти к самой земле, цепляясь руками за каждый выступ, падая и тотчас вскакивая: иначе на тебя наедут нарты.

Через полтора часа почти на четвереньках добираемся до кромки снежного поля. Дальше к седловине потянулись черные россыпи, провалы. Все падаем в изнеможении и несколько минут лежим, оцепенев. Как приятно, распластавшись на снегу, расслабить мышцы, вздохнуть полной грудью!..

После передышки появляется желание покурить. В воздухе запахло махоркой. Развязались языки, послышались шутки.

Следом за нами подтянула сюда свою нарту и лебедевская бригада.

Так, бревно за бревном, котомка за котомкой, лес и материалы были переброшены на седловину. Теперь остается вынести сюда палатку, печь, постели, дрова, переселиться под голец. А впереди еще подъем на главную вершину гольца, но об этом пока неохота думать. Любая работа кажется трудной, пока не возьмешься за нее.

После ужина усталость валит всех в сон, кое-кто не успел даже раздеться или допить чай. Преодолевая апатию, я сажусь за дневник.

– Завтра подъем до рассвета, слышите? – напоминает мне Лебедев, глубоко зарываясь в спальный мешок.

Но я знаю, что впечатления сегодняшнего дня – а их много! – сохранят свою остроту и непосредственность только в том случае, если они будут записаны сейчас, когда еще ощущаешь следы физического напряжения и перед глазами еще маячат развалины утесов, преграждающих доступ к седловине, когда еще чувствуешь рядом плечи взбирающихся на голец товарищей и в душе еще не остыло чувство гордой радости за этих людей, с удивительным упорством идущих через все испытания, выпадающие на долю исследователя суровой и негостеприимной природы.

Утром рано все мы, кроме каюров, переселились на седловину. Для выноски леса людей расставили по росту – тяжесть бревен должна ложиться равномерно на плечи всех несущих. Я попал в связку к Лебедеву. Второй группой командует Василий Николаевич, а Пресников из-за своего огромного роста ни в одну бригаду не попал.

– Вытянуло тебя, Саша, как чертополох на выгоне, никуда не пристроишь, – пошутил Касьянов.

– А мне и горюшка мало, что вы недоростки, – ответил весело Пресников, снимая телогрейку и укладывая ее подушкой на левом плече. – Ну-ка, братцы, подайте одно небольшое бревнышко, пойду передом…

Евтушенко и Дубровский взвалили ему на плечи четырехметровое лиственничное бревно. Крякнул, но не согнулся Пресников, потоптался, удобнее устраивая груз, и тяжело тронулся вперед, провожаемый восхищенными взглядами и восклицаниями товарищей.

Мы шестиметровое бревно несем втроем. Идем легко, но медленно – очень уж неудобно передвигаться с таким грузом по россыпи. Под ногами неустойчивые камни, щели, отчего сбивается шаг. Нужно большое напряжение, чтобы удерживать равновесие на крутизне. Там, где проходы завалены крупными обломками, тащим свой груз волоком.

И уже совсем было выбрались на вершину, когда Лебедев оступился, упал, бревно соскользнуло с наших плеч и с грохотом покатилось вниз. Мы с удивлением смотрели, как оно далеко внизу вдруг вздыбилось вверх комлем, да так и замерло над пропастью, словно испугавшись ее глубины. Я и Касьянов быстро спустились к нему. А до слуха ясно доносится крик мищенковской бригады:

Раз, два, взяли,
Еще раз, взяли,
Дружно, ходом…

Теперь они поднимали на вершину свое бревно.

И долго на склоне гольца перекликались человеческие голоса, гремели россыпи, ворчали скалы.

Вечер застал нас на вершине. Мы на минутку присели отдохнуть. Солнце, красное, огромное, краем своим коснулось горизонта. Из ущелий набегали последние волны теплого воздуха. Свет заката безуспешно пытался задержать выползавшую из провалов темноту.

Спустившись на седловину, мы наскоро ужинаем и ложимся спать. В палатке тесно, расположились кто как мог: сидя, полулежа. Много ли нужно места уставшему человеку!

Лебедев проснулся рано. Нужно было подняться на вершину, чтобы при хорошей видимости проверить направление на намеченные пункты и до нашего прихода сделать разбивку опор пирамиды. На рассвете я слышал его разговор с Мищенко.

– Ты чего поднялся, Василий? – спросил Лебедев.

– Пойду с тобой, может, помочь нужно будет. Тут ведь делать нечего.

– Сам управлюсь, ложись отдыхай.

– Да я уже давно выспался, – ответил Василий Николаевич фальшивым тоном.

В их внешности и характере нет ничего общего. Когда они работают вместе, в их отношения вплетается ревнивое чувство соревнования, в котором каждый человек хочет сделать лучше, больше, скорее другого. Когда же они живут врозь, то искренне радуются успеху другого и при случае, например, Василий Николаевич всегда скажет: «Будь тут Кирилл Родионович, дело пошло бы иначе, у него, брат, не задремлешь». Так говорит и Лебедев про Мищенко. И никогда нельзя сказать, кто же из них побеждает в этом соревновании, продолжающемся более десяти лет. Одно ясно: и годы, и ревнивое отношение друг к другу сделали их дружбу еще крепче.

До нашего прихода Лебедев и Мищенко подготовили рабочую площадку. Застучали топоры, отозвались эхом скалы. Работа спорилась. Когда болванка, венцы, укосины были подогнаны, мы сшили первую пару «ног» и стали устанавливать их на крошечной площадке, возвышающейся над глубоким провалом.

Вначале подняли основания «ног» до намеченных в скале гнезд, а затем начали поднимать верхнюю часть пирамиды с цилиндром. Работа требовала большой четкости и осторожности: выскользнет из гнезда «нога» или ослабнет веревка – все сооружение полетит вниз, в провал.

Пирамида, выгибаясь, дрожит на весу и медленно приподнимается над пропастью. Звенят натянутые веревки. Пять человек тянут оттяжку…

В тишине раздается лишь голос Лебедева. Он стоит в стороне с приподнятыми руками и командует:

– Еще взяли, дружно… Пресников, отпусти конец… Стоп, хватит! Крепи веревки!

Первая часть задачи благополучно выполнена, но работы еще много. Нужно поднять и закрепить остальные две «ноги», прибить венцы, перила, отлить тур, вымостить площадку. На это придется потратить еще два-три дня.

Под вечер набежавшая с северо-запада свинцовая туча скрыла покрасневшее солнце. Горы потемнели, пахнуло сыростью. Трудно угадать, что предвещают эти явления, но, чтобы не попасть впросак, нужно поскорее убраться с гольца. Василий Николаевич, не задерживаясь на седловине, ушел с двумя рабочими в ущелье за дровами, пообещав вернуться утром.

Туча тяжело проплыла над гольцом, щедро посыпав нас снегом. Снова показалось солнце.

На небе и на земле по-прежнему тихо, только почему-то не стали откликаться скалы на стук камней и наши голоса, будто воздух вдруг потерял звукопроницаемость.

– Надо бы палатку понадежнее закрепить, как бы не обманула нас погода, – хмуро предлагает Лебедев.

– Да что вы, Кирилл Родионович, с чего непогоде быть! Ведь это туча шальная пронеслась, и все, – возразил Пресников.

– Мы уже не раз были наказаны. Давайте-ка не надеяться на авось, подготовимся! – решительно сказал Лебедев.

Заваливаем камнями борта и оттяжные веревки палатки, затаскиваем внутрь дрова, собираем в одно место разбросанные вещи.

На горизонте появляется мутная завеса непогоды и краем своим заслоняет темно-багровый закат. Ветер, злой и холодный, уныло запел свою песню, похожую на вой голодного волка. Теперь уже всем стало очевидно, что погода изменила нам. Кажется, зима, собрав последние силы, решила еще раз схватиться с наступающей весной.

Мы забились в палатку, сгрудились около печки, где чуть мерцает слабый огонек, бросая бледный отсвет на хмурые, настороженные лица людей.

Отстегнув входное отверстие, я выглянул наружу. Черная, во все небо туча надвинулась на нашу стоянку; с севера приближался буран. И вскоре все вокруг засвистело, закружилось в

бешеных вихрях. Потекли по застывшим надувам струйки снежной пыли, зловеще зашипела поземка.

Палатка выгибается от напора ветра, струною звенят оттяжки. Затухла печь. Дрова кончились, холод находит щели, просачивается внутрь. Мы кутаемся в теплую одежду. Уснуть невозможно, но и разговор не налаживается.

– Что же вы, черти, молчите? Помирать, что ли, собрались? – не выдержал Пресников.

– Все переговорено, Саша, – слышится голос Евтушенко из дальнего угла палатки.

– Ну, петь, что ли, давайте!..

Однако никто не поддерживает Пресникова. В палатке снова молчание, а снаружи еще нестерпимее рокот непогоды. Вдруг откуда-то сверху, издалека доносятся гулкие удары чего-то тяжелого, скатывающегося по стенке провала. Мы настораживаемся; звук, затихая, доносится уже со дна ущелья.

– Пирамида свалилась. Видно, веревки не выдержали, – угрюмо и спокойно замечает Лебедев.

Опять молчание. Всех тревожило другое, более близкое: что будет, если ветер сорвет нашу палатку и мы окажемся лицом к лицу с бураном на голых камнях, далеко от леса?.. Надо быть готовым и к такой неприятности.

На палатку с наветренной стороны все тяжелее наваливается насыпаемый ветром сугроб, угрожающе прогнулась стенка, и вскоре лопнула, не выдержав тяжести, средняя оттяжка. В палатке стало еще темнее, все сбились в кучу вокруг затухшей печки. В таком положении – прижатых друг к другу – людей и сломил тревожный сон…

Нас разбудил человеческий крик с края седловины: кто-то искал нас или взывал о помощи – по крику разгадать было невозможно. Все приподнялись. Мы с Лебедевым выбрались наружу.

Вокруг зима, лютая, холодная. Ветер свистит, наметая сугробы.

– Ого-го-о!.. – подает голос Лебедев.

Ответа нет. Я беру винтовку. Гул бурана перекрывает резкий грохот двух выстрелов, и тотчас же из снежной мглы показывается собака, а за ней человек с большой котомкой за плечами.

– Так и знал – Василий! С ума сошел человек, честное слово! – растроганно кричит Лебедев, бросаясь навстречу Мищенко.

– Проклятая погодка! – цедит тот сквозь сжатые зубы. – Всю седловину обшарил, не могу найти палатку! Вишь, как ее замело!

– Чего тебя понесло сюда в бурю? Долго ли самому пропасть в такую чертову непогодь? Почему не подождал утра?

– Дровишек принес: за ночь, поди, все сожгли, и чай согреть нечем. В ущелье теплее, шел по ветру, думал – скоро доберусь, а оно, вишь, как студено наверху, – говорит Василий Николаевич, еле шевеля закоченевшими губами и вздрагивая всем телом.

Я помогаю ему стащить с плеч котомку с дровами, пытаюсь втолкнуть его в палатку, но на нем так задубела одежда и он сам так закоченел, что не может согнуться, а вход очень низкий.

– А ну, хлопцы, вылезайте, да быстрее, – отогреть гостя надо! – кричит Лебедев.

Из палатки выскочили Пресников с Дубровским, и мы вчетвером набрасываемся на Василия Николаевича, как коршуны на добычу, валим его в снег, катаем, растираем лицо, поднимаем на ноги, толкаем под бока и снова бросаем на снег. Минуты через две такой потасовки Мищенко уже начинает отбиваться.

– Ишь вредный мужичишка, еще как следует не ожил, а уже дерется! – приговаривает Лебедев, усердно растирая другу нос.

Пресников вырывает Василия Николаевича из-под Лебедева, ставит на ноги перед собою:

– Скажи – бублик!..

– Пуплик…

– Теперь входи, – удовлетворенно говорит Пресников, хватает его за шиворот и легко водворяет в палатку.

Товарищи помогают Василию Николаевичу раздеться. Кто-то уже скрутил ему цигарку. Запылали дрова в печи, быстро наполняя палатку теплом. Теперь можно всем раздеться и размять онемевшие за ночь конечности.

А непогода продолжает злиться.

После тревожной и холодной ночи, когда температура в палатке держалась ниже нуля, всем захотелось горячей пищи. Но что можно сделать при таком скудном запасе топлива да еще на железной печке? Принесенные Василием Николаевичем дрова мы разделили на две части, оставив половину дров на вечер: одной кучки едва могло хватить только на то, чтобы вскипятить чайник. А всем вдруг захотелось рисовой каши. Но как ее приготовить? Если верить кулинарам, то для того, чтобы сварить рис, нужно продержать его в кипящей воде около двадцати пяти минут. У нас, конечно, такой возможности не было.

На помощь пришел Василий Николаевич, уже успевший отогреться.

– Кто дежурный? Ты, Дубровский? – спросил он и, не дожидаясь ответа, распорядился: – Натай снегу в котле, насыпь в него рису и ставь на печь. Важно, чтобы вода с крупою закипела, а потом и без огня можно варить любую кашу.

Дежурный принялся за дело, а мы с нетерпеливым ожиданием следили за его действиями. Когда вода с рисом закипела, Василий Николаевич снял кастрюлю с печи, бережно завернул ее в свою телогрейку, а затем плотно закутал в полушубок.

– Ишь как ты ее, голубушку, обхаживаешь, – облизнув губы, засмеялся Пресников.

– А вот она минут сорок попреет в собственном пару и дойдет куда лучше, чем на огне. Пальчики оближешь! – ответил Мищенко.

Действительно, через сорок минут, когда погасла печь и снова стало холодно в палатке, мы наслаждались горячей рисовой кашей.

А за полотняной стеной нашего жилья бушует пурга. Нависший сугроб уже отнял у нас треть площадки и продолжает давить сверху, выгибая перекладину.

В полдень на седловину спустились олени. Они бродят вокруг палатки, копытят снег, укладываются отдыхать на совершенно открытой площадке по двое-трое вместе, подставляя ветру свои пышношерстные спины. Появление их здесь несколько озадачивает нас: почему бы им не спуститься в тайгу? Там теплее и тише. Вероятно, сказывается привязанность к человеку.

Медленно тянутся часы нашего невольного заточения. Кто дремлет, уронив голову на плечо соседа, кто о чем-то размышляет, устремив взгляд в потолок. Бойка, свернувшись клубочком и прикрыв хвостом нос, спит у ног Лебедева. Василий Николаевич высовывает голову наружу.

– Ни света, ни просвета, братцы. Считай, до утра зарядил губодуй, – говорил он, прикрывая щель и поглубже забираясь в спальный мешок.

Именно в эту минуту налетел новый свирепый шквал, и полотняная стенка лопнула пополам. Гора снега свалилась на нас.

– Одевайтесь и выходите! – приказывает Лебедев.

В сумраке начинается возня, никто не может найти свои вещи, слышится ругань. Ветер полощет разорванные борта палатки, бросая в лицо пригоршни снега.

– Говорю, выходи! – слышится сквозь вой бурана голос Лебедева. – Пресников, задерживаешь всех.

– Шапку потерял, – отвечает тот.

– Завяжи голову мешком и выходи! – приказывает Лебедев, опоясывая себя веревкой и передавая конец товарищам.

Буран обрушивает на нас весь свой гнев. Стужа слепит глаза, обжигает ноздри.

Впереди идет Лебедев, за ним, держась за веревку, шагают остальные. Передвигаясь почти вслепую, с трудом добираемся до склона. Идти становится легче, потому что под ногами спуск и буран здесь несколько тише. Идем наугад среди мелких скал, по ложбинам с крутыми откосами. Очевидно, спускаемся вниз, в ущелье, где непременно должен быть лес и, значит, будет костер. О большем мы и не мечтаем!

– Не отставать, держаться друг друга! – подбадривает Лебедев.

Только через час крутизна спуска переломилась, россыпи и скалы остались позади. Под ногами – гладкий надувной снег, скользкий, как лед. Мы скатываемся по нему на дно ущелья. Нас встречают лиственницы, маленькие, сгорбленные, захлестанные ветром. И сюда вернулась зима, от весны не осталось и следа. Можно было бы устроить привал, но Лебедев упрямо ведет нас вперед.

Спускаемся по ущелью еще ниже и тут замечаем свежесрубленные пни, а затем показываются и палатки. Молодчина Кирилл Родионович – как уверенно вывел нас к лагерю!

И вот уже мы у огромного веселого костра, вернувшего нам силы и бодрость духа. Развязываются лямки, слышится смех…

– Евтушенко, чья шапка на твоей голове? – спрашивает грозно Пресников.

– Твоя, Саша. Честное слово, второпях попалась под руку. Но тебе же в косынке лучше; губы подкрасить – и Мария Ивановна.

И в самом деле, только сейчас замечаем, как забавен богатырь Пресников в своем женском уборе. Дружный хохот гремит вокруг потешной, притворно рассерженной «Марии Ивановны». Возбужденные собаки вскакивают со своих мест, осматриваются по сторонам, нюхают воздух и в недоумении присоединяют свой истошный лай к хохоту людей. Это безудержное веселье было, по-видимому, разрядкой, необходимой после недавнего нервного напряжения.

Восьмого мая, после полудня, буран ослабел, хотя поземка все еще перевеивала сугробы и из лохматых туч падал сухой иглистый снег.

Заметно посветлело вокруг и ожило. Прозвенел тонкий голосок черноголовой синицы, пикнул поползень, и где-то внизу, в ущелье, ударил пробной очередью по твердой древесине дятел. Ломкий стеклянный звон донесся со дна заледеневшего ручья. Природа пробуждалась робко, недоверчиво. Только лес шумел вольно, широко, как неутомимая река.

С гольца к лагерю спустились олени. Их скрипучие шаги мы услышали издалека, и это означало, что воздух вновь обрел звукопроницаемость – верный признак уже наступившего перелома в погоде.

К сожалению, человек узнает о таких изменениях последним: у зверей и птиц способность улавливать атмосферные изменения развита значительно лучше. Перед наступлением той или другой погоды – продолжительных дождей, бурь или солнечных дней – в воздухе распространяются невидимые признаки, по которым и догадываются обитатели тайги о предстоящих изменениях. Одним из таких признаков является и звукопроницаемость воздуха. По тому, как слышат звери и птицы свои шаги, шорох листьев, жужжание насекомых, они догадываются, что делать: искать ли убежища или выходить на кормежку. И наблюдательный человек по поведению птиц и зверей может определить, что сулит появившаяся на горизонте туча или ночной шум реки, долетающий снизу, из ущелья.

III

Куда исчезли Бойка и Кучум? Загадочная падь. Медведица с малышами. Роковая встреча. Борьба медведей

Мы вылезли из палаток. Высоко шумел ветер, сгоняя тучи к горизонту.

– А где, Василий, собаки? Что-то их не видно, – спросил я у Мищенко.

Тот окинул быстрым взглядом стоянку, прислушался.

– Нету, куда-то удрали. Может, бараны где близко прошли, больше некому шататься в такую погоду, – ответил он.

– За баранами ушли – скоро вернутся, те не задержат, а вот ежели с другим зверем связались, тогда сегодня не жди, – говорит Лебедев.

– Пока обед варится, пробегу следом, чем черт не шутит, может, действительно держат, – засобирался Мищенко.

– Побеги, мясо нужно, продуктов не ахти сколько осталось, а работы еще много, – посоветовал Лебедев.

Вспыхнул костер, и в лагере начался новый трудовой день.

– Касьянову и Дубровскому готовить лес, утром начнем поднимать его наверх; Губченко сегодня дежурит, а остальные пойдут на седловину с дровами. До вечера времени немного остается, надо поторапливаться, – распоряжался Лебедев. – Эй, Евтушенко, нашел когда письма перечитывать! Выходи!..

После обеда цепочка людей с вязанками сушника медленно взбиралась по склону бокового гольца. Солнце, горячее, будто нездешнее, щедро грело землю. Снег казался расплавленным серебром. Горы сияли праздничной белизной. В воздухе стояла тишина, нарушаемая тяжелыми шагами поднимавшихся в гору людей.

На седловине нас встретили снежные бугры, как дюны, продолговатой формы, расположенные по направлению ветра. А там, где стояла наша палатка, возвышался заледеневший курган с нависшим козырьком. Кругом настрочили узоры куропатки. К нашему жилью забегал осторожный соболь. Он потоптался у огнища, что-то разрыл в снегу и потянул след в соседнее ущелье.

Мы не стали производить раскопки кургана, было поздно, к тому же снег настолько затвердел, что его можно было только рубить топорами. Отложили на завтра.

В лагере нас встретил Василий Николаевич.

– Медведь недалеко прошел. Здоровенный, во каких печатей надавил, – сказал он, показывая мне две сложенные ладони. – Тоже туда убежал. – И он махнул рукой на северо-запад. – Видно, к одному месту сбиваются. А главное – время самое подходящее, зверь жирный, и шкура на нем добрая.

– Собаки где? – перебил я Мищенко.

– За ним ушли… Может, держат где… – продолжал он просящим тоном.

– Не время, Василий, сейчас заниматься охотой.

– Понимаю… – тянет он, поглядывая вдаль. – Но ведь продукты на исходе, а нас с каюрами одиннадцать человек, да вон каких ломовиков! На галушках много ли вынесешь груза!

– Верно, верно, Василий Николаевич, – поддерживает Пресников. – На этой работе нужно мясо, а галушки что – забава!..

И я вижу, как загорается взгляд Василия.

– Обязательно ходить надо: может, собаки держат зверя, – говорит, часто моргая глазами, каюр Демидка с плоским, лунообразным лицом.

Соблазн велик, что и говорить! Свежее мясо для нас при такой физической работе было крайне необходимо. Кроме того, меня все эти дни точило любопытство: действительно ли медведи, следы которых мы видели последнее время, идут к одному месту и что их туда привлекает. В разговор вступают другие. Наконец Лебедев не выдерживает.

– Идите, управимся и без вас. Мясо действительно необходимо, иначе придется за продуктами посылать оленей к лабазу, а сейчас, по распутице, им туда не пройти. Возьмите с собою Пресникова. Если убьете, он принесет одну поняжку мяса на голец, а остальное вынесем, когда кончим работу.

В лагерь одна за другой прибежали запыхавшиеся собаки. Из открытых ртов у них свисают длинные языки. Собаки падают на снег и принимаются зализывать лапы.

– Намаялись, бедняжки, – говорит нараспев Василий Николаевич, поглаживая свою любимицу Бойку. – Однако медведю сегодня тоже сон будет в охотку. «Галифе» они ему расчесали, запомнит надолго!

С вечера мы приготовили винтовки, рюкзаки. Поскольку спать предстояло у костра, пришлось захватить с собой плащи. Я попросил дежурного ночью покормить собак и разбудить нас пораньше.

Еще до рассвета мы покинули лагерь. Подбираемся к вершине лога. Алеет восток. В чистом небе гаснет россыпь звезд. Бойка и Кучум идут на поводках.

Василий Николаевич вывел нас к вчерашнему медвежьему следу. Зверь оставил на снегу на редкость крупные отпечатки лап, с глубоко вдавленными когтями. Мы пошли по следу и скоро выбрались на боковой отрог.

Тут зверь шел еще спокойно – собаки догнали его несколько дальше, на спуске в соседнее ущелье. Там и произошла первая схватка. По сохранившимся на снегу следам видно, что медведь вначале бросился на собак, рассчитывая одним своим видом напугать их, но не тут-то было! Бойка и Кучум не из трусливого десятка, не впервые встречаются с косолапым и хорошо знают, за какое место его нужно хватать, чтоб разозлить до бешенства, а тогда уж никакой зверь от них не уйдет – удержат. Собаки нападали поочередно то справа, то слева, подбираясь к медвежьему заду, и, судя по оставшейся на взбитом снегу шерсти, это им удавалось неплохо. Но схватка была короткой. Медведь счел за лучшее удрать. Дальше, сколько было видно глазу, следы зверя и собак шли ровной стежкой через ущелье на соседний гребень.

Почему же медведь вдруг пустился в такое паническое бегство? Собак он, конечно, не испугался: за две-три минуты той схватки они не успели причинить ему сколько-нибудь чувствительную боль. Страх или осторожность медведя можно было объяснить лишь тем, что Бойка и Кучум принесли с собой из лагеря запах человека, дыма, вареной пищи. Только это и могло заставить медведя поспешно убраться от близкой опасности. Я говорю «поспешно», потому что он удирал, не щадя себя, ломая сугробы, чащу, карабкаясь по крутой россыпи.

Зверовых собак, особенно тех, которые работают по медведю и копытному зверю, нельзя держать в палатке с собою, а перед охотой вообще следует избегать контакта с ними. Поласкаешь собаку, погладишь рукой – и на шерсти оставишь запах пота. Потребуется два-три часа, чтобы этот запах потерял силу. Мы же из жалости позволяли своим собакам укрываться от непогоды в палатке, за что не раз были наказаны.

Охотники да и промышленники-зверобои недоумевают, почему иногда зверь бежит как очумелый от собак. Все это будет понятно, если мы представим силу обоняния у животных. Ни зрению, ни слуху звери так не доверяют, как именно чутью. Глаза могут обмануть его, как и слух, но обоняние – никогда! В запахах зверь разбирается превосходно. При встречном ветерке он чует человека более чем за километр, тогда как глазами плохо различает его на расстоянии трехсот метров.

Мы идем медвежьим следом, рассчитывая, что он приведет нас к загадочному месту, где, как нам кажется, собираются медведи. Собакам не удалось задержать зверя, они вернулись с соседнего гребня, а медведь даже в паническом бегстве не изменил своему направлению, так и ушел на северо-запад.

На дне очередного ущелья мы неожиданно спугнули небольшое стадо, состоявшее из одних самок снежных баранов. Они бросились на верх отрога и задержались на границе леса серым сомкнутым пятном. Там, вблизи скал, бараны, очевидно, считали себя вне опасности и, наблюдая за нами, настороженно вытягивали шеи.

Животные были хорошо видны в бинокль. Их тринадцать: четыре прошлогодних телка, а остальные – самки различных возрастов. Часть из них стельные. В стаде не было ни одного взрослого самца, даже двухлетнего. Видимо, в это время года они держатся отдельно от самок.

Нас разделяло расстояние более четырехсот метров. Мы только тронулись, как стадо баранов разомкнулось, вытянулось в одну шеренгу и стало поспешно удирать к скалам.

– Зрячий зверь! Ишь как далеко хватает, – бросает Василий Николаевич.

Мы вышли к их следам. Бараны избороздили берега ключа, островки, оставив после себя множество лунок, выбитых копытами в гальке. Нам уже приходилось видеть такие лунки на солнцепеках Станового, поэтому было интересно проверить свои первоначальные наблюдения.

Оказывается, стадо спускалось с горных вершин на дно ущелья кормиться. Тут были бесспорные доказательства тому, что снежные бараны ранней весной охотно поедают корни различных многолетних растений и что, разыскивая их, они спускаются до лесной зоны и даже проникают далеко в глубь тайги.

К концу дня след медведя привел нас к вершине безымянного притока реки Уюма. Редкая лиственничная тайга прикрывала падь. Кое-где по заснеженным склонам пятнами чернели отогретые стланики и шершавые россыпи. Нас встретил однообразный крик кедровок, а несколько ниже на глаза попались свежие отпечатки лап двух медведей. Мы замедлили шаги, насторожились и стали более придирчиво осматривать местность. Кругом наследили глухари, наторили тропок грызуны. Наш путь пересекли следы соболя. Какое-то оживление заполнило впадину. Да и по поведению собак легко можно было догадаться, что окружающая нас падь заселена живыми существами, раздражающими их обоняние.

– Надо бы разобраться, с чего это птица кричит и почему зверь тут топчется, – сказал Василий Николаевич, останавливаясь и устало опускаясь на валежину.

Мы тоже присели. Солнце дремало у горизонта. Вечерело. Не смолкая, перекликались кедровки.

Я в бинокль стал бегло осматривать впадину. Слева ее урезали ребристые гребни, развалины скал. А справа тянулись россыпи, покрывающие крутые склоны левобережного отрога. Дно впадины имело корытообразную форму и было затянуто чащей из стланика, березки и ольхи. Взбунтовавшийся ручей скользил мутным потоком поверх заледеневшего русла.

– Кажется, медведь пасется на нижней проталине. Видите? – шепчу я своим спутникам.

– Где? – всполошился Мищенко.

– К ручью подходит. Смотрите, у крайней лиственницы.

– Ну да, медведь, вижу. – Мищенко метнул беспокойный взгляд на солнце, заторопился. – Уходить надо отсюда – место узкое, учует нас, да и день на исходе.

– Куда же пойдем?

– Вниз. Заночуем в боковом ложке, а там видно будет, утро вечера мудренее. – И он, накинув на плечи котомку, зашагал по склону.

Приблизительно через два километра мы попали в маленькую лощину, запертую со стороны пади тайгой. На дне ее виднелась крошечная поляна. Одним краем она упиралась в лес, а противоположным – в ручеек, шумливо пробегающий по каменистому дну лощины.

В жизни путешественника есть одна бесспорная прелесть – в любое время он может оборвать свой путь и сказать себе: «Здесь ночуем». Так было и на этот раз. Увидев полянку, мы, не задумываясь, свернули к ней. Место для стоянки оказалось удобным. Здесь было все, что создает «комфорт» путнику: лес надежно защитит нас от холодного ночного ветра; дрова и вода были рядом; мох же, которым была устлана поляна, мог послужить прекрасной подстилкой для постели. Большего мы и не желали.

Собираем дрова, разжигаем костер, варим ужин.

Далеко за горами одиноко гаснет лиловая заря. По ручейку мороз кует узоры. Впадина погружается в молчание, и только болтливые кедровки все еще продолжают о чем-то спорить да в седых кронах елей устало перешептывается стайка перелетных птиц. За день мы настолько измотали свои силы, что, кроме сна, нам не надо никакой награды.

Ночь пролетела в беспокойном забытьи: то затухал костер и холод безжалостно расправлялся с нами – тогда мы вскакивали, принимались подкармливать сушником ненасытный огонь, то лезли в голову тревожные мысли.

Василий Николаевич рано вскипятил чай, и мы до рассвета успели позавтракать.

– Пора, – сказал он, беспокойно поглядывая на небо. – Вот-вот зориться начнет.

Мы быстро собрались. Идем вдвоем. Пресников с собаками остается на стоянке. Спускаемся с Василием Николаевичем в ключ и там расходимся. Он сворачивает влево, уходит по крутым каменистым гребням, намереваясь обойти впадину с северо-западной стороны, я же иду вправо.

Лыжи крошат ломкий наст. Над сонными горами поднимается огромное солнце. Но вокруг все молчит: не поют птицы, не шумят ручьи.

Огибаю крутую россыпь, заплетенную стлаником, и выхожу на верх пологого гребня. Крадусь по кромке надува, зорко смотрю на заснеженные склоны впадины – нигде никого нет, все живое как будто еще спит или прячется, не желая покинуть нагретого за ночь места. Только левее в ложке тревожно кричат кедровки. Прохожу последний перешеек и не верю глазам: за несколько минут до моего прихода наследила медведица с медвежатами. Руки невольно схватились за ружье.

В тайге нет зверя свирепее медведицы, тем более в минуты опасности для малышей. Не зря встреча с нею считается у охотников не из приятных. Конечно, страх перед человеком и у нее развит так же сильно, как и у другого зверя, но в минуту гнева она может забыть об этом, и тогда схватка неизбежна.

С перешейка звери поднялись по твердому надувному снегу на верх гребня и ушли к тем же скалам, куда направляюсь и я. Подтягиваю юксы на лыжах, подаю патрон в ствол карабина.

И вдруг с каменистых мысов, куда ушел Василий Николаевич, прорывается выстрел, второй, третий… Огрызнулись скалы, пополз пугающий звук по широкой впадине. Охотнику, вероятно, больше чем кому-либо знакомо чувство зависти. На какое-то мгновение оно овладевает мною.

Выхожу на верх отрога. До скалы остается километра полтора. Медведицы нигде не видно. Крадусь еще дальше, а карабин держу наготове: кусты, обломки скал, сугробы могут служить хорошим местом засады на зверя.

Торопливо взбираюсь на пригорок. Отсюда хорошо видна вся местность: скалы, снежное поле за ними и край отрога, но нигде ни единого живого существа. А ведь звери прошли совсем недавно и должны быть где-то близко. «Не на солнцепек ли увела медведица малышей?» – мелькнула в голове мысль. Бесшумными, рысиными шагами подбираюсь к каменистым выступам. Осторожно выглядываю – и от неожиданности замираю: метрах в ста от меня пасется темно-бурая медведица с двумя почти черными малышами.

Охотничья страсть уступает место любопытству. Достаю бинокль и устраиваюсь полулежа на камне. В бинокль звери кажутся совсем близко. Я вижу потешные мордочки медвежат с крошечными озорными глазками, белые галстуки на их грудках; вижу, как мать проворно работает языком, что-то собирая в мелкой дресве.

Звериное семейство уходит на прогалину среди низкорослых кустов стланика. И вдруг до слуха доносится странный звук: «Шит… шит…»

Медвежат как не бывало на прогалине: один бросился в кусты, другой забрался под камень. Мать же отскочила метров на пять в сторону и остановилась за стлаником, настороженно подняла голову.

Через две-три минуты медведица вышла из засады: тотчас к ней подбежали малыши. Она продолжала пастись, собирая корм, а медвежата неотступно следовали за нею. Так они и скрылись за соседним гребнем. Но вот оттуда снова долетел загадочный звук, повторенный, как и прежде, дважды:

«Шит… шит…»

Я внимательно осматриваю местность – по-прежнему нигде никого. Хотел встать и идти следом за медведицей, но увидел ее возвращающейся на прогалину. Пришлось снова затаиться. Медведица медленно подвигалась ко мне. Вот она совсем близко, метров семьдесят от меня, и я снова слышу:

«Шит… шит…»

Малыши мгновенно бросаются в разные стороны, прячутся; отскакивает к камням и мать. Но секрет открыт: этот тревожный звук издает сама медведица, видимо приучая детей прятаться при малейшей опасности.

Звери, не дойдя до меня, свернули к скалам. Сделай они еще с десяток шагов в мою сторону – и наша встреча могла оказаться для них роковой.

Медведица выбралась на первый прилавок и там решила отдохнуть. Малыши будто ждали этого, бросились к ней, стали рыться крошечными мордочками под животом и, прильнув к соскам, замерли. В бинокль я видел только одного из них. Он сосал жадно, закрыв глаза, и, горбясь, упирался задними лапками о выступ камня. Медведица растянулась во весь рост, под ласковым солнцем задремала в материнском забытьи.

Жду долго. День в полном разливе. В голубом пространстве неба парят ястребы. Подо мною, в стланиках, громко бранятся кедровки. Встречный ветерок перебирает густую шерсть на лохматой шубе медведицы.

Брошенный мною камешек громко покатился по откосу. Медведица мгновенно вскочила и насторожилась. Свалившийся с прилавка малыш поднялся и, не замечая тревоги матери, схватил за заднюю ногу второго медвежонка и потащил его вниз. А медведица мечет по сторонам бешеный взгляд, нюхает воздух. Она не видит меня за выступом, ветерок же проносит мой запах левее ее. Вероятно решив, что камешек беспричинно сорвался со скалы, самка приседает по-собачьи на задние ноги, успокаивается, но держится настороже.

«Кого же она боится? – подумал я. – Ведь здесь, в тайге, нет зверя, по силе равного медведю». Однако медведицу не покидает беспокойство.

А малышам хоть бы что! Они разыгрались: гоняются друг за другом, кувыркаются, взбираются на снежный надув, нападают на мать, пытаясь привлечь ее к играм. Но та, словно забыв про малышей, все еще настороженно посматривает в мою сторону.

«Ну, – думаю, – пора нам расставаться. Попробую выстрелить». Беру карабин, прикладываю к плечу. Мушка покорно ложится между короткими ушами зверя, скрывая под собой его лобастую морду… От выстрела вздрогнули скалы. Неохотно откликнулось эхо. Пуля взрыла камни далеко за отдыхающим семейством. Медведица мгновенно вздыбила, глотнула ноздрями воздух.

«Шит… шит…» – бросила она властно и пустилась бежать.

Попрятавшиеся малыши через полминуты вылезли из укрытия, набросились друг на друга, и снова пошла потасовка. А медведица задержалась, зло рявкнула, но детям было не до нее, они продолжали играть. Тогда мать подскочила к ним, гневно схватила одного зубами, подняла и бросила на камни. Это было так вразумительно, что малыши покорно последовали за ней.

Медведица удирала крупными прыжками по россыпи. За ней, не отставая ни на шаг, бежали два пушистых медвежонка. Откуда только у них прыть взялась! Все препятствия они преодолевали с ловкостью матери, точно копируя ее движения. Выскочив на край снежного поля, семейство задержалось, передохнуло немного и скрылось за изломом.

Я покинул место засады довольный: не часто приходится так близко наблюдать жизнь зверей. Для полноты впечатления мне хотелось узнать, что же ела медведица на проталинах. Иду туда и нахожу там свежие лунки. Оказывается, в мелкой дресве были спрятаны кедровками стланиковые орехи.

Поднимаюсь наверх скалы. Солнце высоко над горами. Впереди сквозь сизую дымку теплого весеннего дня видна загадочная падь. Что хранит она в зарослях черных стлаников, в мрачных расселинах, в грудах свалившихся скал? Где-то тут, как мне казалось, должна произойти желанная встреча со зверем. Не задумываясь, иду по кромке отрога к вершине пади.

На снегу попадаются свежие и уже протаявшие следы медведей. Теперь нет сомнения: мы находимся в том именно месте, куда, покинув свои берлоги, сходятся звери весной. Почему именно сюда они идут, а не в соседние лога, пока разгадать не удается. Не заметно никакого различия между логами ни в растительном, ни в снежном покрове.

Время уже далеко за полдень. Нигде никого не видно, только изредка над стлаником взметнутся пестрыми хлопьями крикливые кедровки.

Начинает одолевать скука. Хорошо, если Василий Николаевич добыл зверя, – это оправдывает наше пребывание здесь.

Солнце дружно сгоняет снег с крутых склонов отрога. В глубине пади беснуется ручей, сдавленный каменистыми берегами. Стайка мелких птиц тянет низко над чащей куда-то далеко на север. Не знаю, что делать: возвращаться ли на табор или пройти еще немного по отрогу.

Неожиданно замечаю черное пятнышко на снежном поле в двух километрах от себя, на противоположной стороне пади. Присматриваюсь. Кажется, шевелится… Взглянул в бинокль – медведь! И тоже темно-бурой масти. По телу пробегает нервный холодок. Лыжи стремительно несут меня с отрога в чащу темных стлаников.

Перескакиваю мутный ручей по камням. Даю успокоиться сердцу. Проверяю направление течения воздуха. В приметном месте, возле огромного камня, оставляю лыжи.

Прогалины правобережной стороны пади частично уже освободились от снега. Бесшумно крадусь по россыпи, устланной, словно мягким ковром, ягелем. Кругом тишина. Встречный ветерок приятно холодит лицо. Ползком взбираюсь на пригорок. Зверь должен быть где-то близко у края стлаников. Осторожно выглядываю из-за камня. Вдруг рядом из-под снега взметнулась ветка стланика, и на мою спину упали две крупные шишки.

«Почему весною шишки на ветках?» – думаю я, но сейчас же отгоняю прочь эту мысль – некогда раздумывать. Кругом ни души. Разве зверь ушел далеко? Но вот снова впереди, метрах в полутораста от меня, вырвался из-под снега огромный куст стланика, и там появился медведь. Он что-то подбирает с пола – вероятно, упавшие шишки. Просовываю вперед карабин, плотнее прижимаюсь к холодным камням. Но какая досада: зверь показывает мне только зад.

Сползаю с пригорка вниз, обхожу его справа и останавливаюсь на проталине.

«Шит… шит» – ясно доносится до слуха знакомый звук. Зверь, приподняв почти вертикально неуклюжее тело, смотрит куда-то в противоположном направлении. Но вдруг бросается в мою сторону и с быстротою лани проносится к вершине пади. Следом за ним катятся по заснеженным прогалинам оба медвежонка.

Удерживая в правой руке карабин, а левой опираясь на сошки, я наблюдаю за удирающим семейством. Вот оно миновало границу стланика и по чистому снежному полю взбирается на перешеек. И вдруг ясно слышу, как позади меня, совсем рядом, скрипнул снег под чьей-то лапой. Оглядываюсь… и от неожиданности замираю: в трех метрах от меня стоит огромный медведь, широко расставив передние лапы и меряя меня независимым холодным взглядом.

Кровь хлынула в голову, ноги будто приросли к камням, отказываются повиноваться. Усилием воли глушу в себе нерешительность и начинаю медленно разворачивать плечи. Поднимаю карабин. А зверь, чуть осадив длинный корпус, немного приземлился, явно готовясь к прыжку, и я вижу, как в его равнодушных глазах вмиг вспыхнул огонек жадного хищника.

Но карабин уже у плеча. Мушка ловит широкий лоб зверя. На какую-то долю секунды выстрел задерживается. Смутно вижу, как всплыла передо мною огромная туша медведя, как мелькнула клыкастая пасть и поднялись крючковатые лапы. Послушная пуля ловит зверя в

прыжке. Смертный рев заглушает выстрел. Медведь валится на меня, сбивает с ног, и я теряю сознание.

…Чувствую, что-то мокрое давит на грудь. Открываю глаза. О ужас! Это лежит морда медведя с пробитым черепом и потускневшим взглядом, устремленным на меня. Какая страшная близость! Боюсь пошевелиться. Еще нет уверенности, что он мертв. По телу расползаются колючие мурашки. Вижу, как алая кровь сочится из раны зверя через бровь и липким пятном копится на моей гимнастерке. Из открытой пасти глядят ржавые клыки, не успевшие поймать мой подбородок.

Все еще с опаской я вылезаю из-под мертвого зверя. Карабин лежит далеко на россыпи, сошки сломаны, от ушиба с трудом разгибаю спину. Опускаюсь на камень… и вздох облегчения вырывается из моей груди.

Все это произошло не более как за одну минуту. Передо мной лежит на редкость крупный самец, толстый, длинный, темно-бурой масти, в прекрасном зимнем «одеянии». Остаток жизни еще теплится в нем, его мышцы еще сокращаются, еще морщатся губы и судорожно сжимаются обессилевшие когти.

Я не сразу прихожу в себя. Трудно поверить в исход этого поединка. Ведь потеряй я лишь на одно мгновенье самообладание, оробей – и мне бы уже не уйти от расправы.

Разжигаю костер, достаю из рюкзака кружку, растапливаю снег. Вижу, с горы спускается Василий Николаевич. И вдруг мне становится легко-легко!

Мищенко молча подошел к медведю, прикинул взглядом его длину, ощупал зад.

– Жирный зверь, и шуба на нем добрая, с таким стоило связаться, – говорит он.

– Ты разве видел?

– Как же, ведь я километра два выслеживал его. А когда вышел на прилавок, гляжу – он уже на дыбах возле вас! Я и побежал. А сам думаю: «Не задавил бы, окаянный, насмерть!» Да смотрю, вы поднимаетесь… С чего это он полез на вас? Ведь не голодный? Смотрите, сколько тут шишки!..

– Не узнал человека и не учуял, а то бы мигом удрал. Надо же быть такому случаю…

Я протираю ствол карабина. Солнце красным шаром висит над горизонтом. С пологих отрогов незаметно сходит вечер. Прохладнее подул ветерок. Мы пьем чай, измеряем зверя, свежуем его и, нагрузившись мясом, уходим на табор.

Снег размяк, напитался водою. Идем по нему вброд, волоча за собой лыжи. Ночь нагоняет нас уже у стоянки. На поляне большой костер. Бойка и Кучум обнюхивают нас и от радости визжат, прыгают.

– Не торопитесь, успеете, – успокаивает их Василий Николаевич и спускает с поводков.

Те мигом исчезают в темноте, направляясь нашим следом к убитому зверю. Там для них оставлены жирные кишки.

Мы стаскиваем с себя мокрую одежду, развешиваем ее вокруг костра и садимся пить чай. Александр Пресников уже пристраивает к огню котел с мясом.

Как хорошо на стоянке! Тепло, уютно, пахнет обновленной хвоей, отогретой землей и… жирным супом. Сегодня нам повезло.

Едва заалел восток, Александр понес мясо в лагерь, а мы с Василием Николаевичем ушли к убитому зверю. Еще не добрались до места, как увидели следы жаркой схватки собак с косолапым. Оказалось, ночью к нашей добыче подходил другой медведь, и псам стоило многих усилий не допустить его до мяса. Увидев нас, Бойка встала и как-то виновато отошла от нагретого места.

– Что, дуреха, не узнаешь? Чего дичишься? – сказал ласково Василий Николаевич.

Кучум даже не поднялся – лежал мрачный, отвернув голову. У него на загривке большая кровавая рана, затянутая с краев слипшейся шерстью.

– Не каешься, что на рожон лезешь? Когда-нибудь косолапый тебя проучит! – упрекнул я Кучума, а на самом деле не могу скрыть гордости за кобеля, за его смелость, напористый нрав.

– На готовую добычу много охотников нашлось, – сказал Мищенко, присматриваясь к следам. – Смотрите, след росомахи и колонка. А воронья сколько слетелось! Не будь тут собак, все бы прикончили.

Не задерживаясь, мы наполнили мясом рюкзаки и отправились в обратный путь. Следом за нами устало плелись собаки.

На таборе я сразу же занялся шкурой. Надо было обезжирить ее и растянуть для просушки. Василий Николаевич взялся обработать череп, предназначенный для коллекции. Бойка и Кучум, примостившись возле костра, спали.

Вдруг обе собаки вскочили, словно кто ткнул их шилом, и замерли в минутной нерешительности. Я бросился к карабину. Василий Николаевич хотел поймать собак, да не успел – они уже неслись вверх по распадку через рытвины, стланики, прыгали по размякшему снегу. Нам ничего не оставалось, как только ждать.

– Кто бы мог там быть? – подумал я вслух.

– Это все Бойка выдумывает! Наверно, спросонья не разобралась, бросилась зря, да и того заманила. Смотри, куда их понесла нелегкая – за сопку! – ворчал Василий Николаевич.

Собаки скрылись за отрогом.

Я подбросил в огонь дров, и мы занялись своими делами. Затихал суетливый день. С потемневших вершин спускались вечерние тени. Все тише и тише становилось в лесу.

– Что-то долго собак нет, – сказал Мищенко, бросая тревожный взгляд на их след.

– Зря бегать не будут, пусть потешатся.

– А что, если я поднимусь на седловину, послушаю: может, они близко лают?

Набросив на плечи телогрейку, Василий Николаевич мгновенно исчез. Было слышно только, как торопливо взбирается он по россыпи, как, удаляясь, все слабее и слабее доносится стук камней под его ногами.

Но вдруг до меня долетел продолжительный шум. Я вскочил. Василий Николаевич бежал с седловины вниз. Вот он на минуту задержался, снял шапку, послушал и с еще большей поспешностью бросился вниз по россыпи.

– Зверь! – крикнул он не своим голосом.

– Где?

– За горою. Веришь, такой рев там, будто кто шкуру с него сдирает!

– А собаки где?

– Не слышно.

– Наверно, поймали молодого медведя, он и орет.

– Что ты, там не один зверь! Собирайся скорей! – торопит он меня, а сам на ходу заталкивает в магазинную коробку карабина патроны.

Надеваю ичиги, ищу затерявшийся нож и на ходу проверяю карабин.

Мы быстро пересекаем распадок. Тут уж не до выемок, не до кустов, все кажется ровным, доступным. В такие минуты не знаешь сам, откуда в тебе берутся и сила и ловкость.

Впереди бежит Мищенко, легко бросая с камня на камень пружинистые ноги. Но вдруг на ходу он поворачивает ко мне лицо с наплывшими на лоб морщинами:

– Кажется, я слышал визг… Может, звери собаку поймали?

– Тогда мы опоздали…

Тревожные мысли гонят нас дальше. Взбираемся по склону отрога. Василий Николаевич дышит тяжело, изо рта валит густой горячий пар, окутывая его озабоченное лицо.

У края надува мы задержались. До слуха долетает, словно из подземелья, глухой, неясный звук, напоминающий не то шум водопада, не то песню.

Бежим дальше. Вот мы и наверху.

– Собаки лают в ключе! – вдруг кричит Мищенко и, подав мне знак следовать за ним, скрывается в стланике.

С соседнего распадка ясно доносится звериный рев, и будто издалека сквозь него просачивается еле уловимый лай собак.

Быстро догоняю Василия Николаевича, и мы спускаемся в распадок.

Рев то затихает и переходит в злобное рычание, то с новой силой потрясает горы. Ему вторит эхо.

Нас молча обгоняют два ворона.

Пробегаем небольшую поляну и замедляем ход. Я еще раз проверяю карабин: не сбилась ли прицельная рамка. Вижу, Василий Николаевич приземляется, ползет между кустами стланика. Я следую за ним.

Горит вечерняя заря. Румянятся пологие вершины. Сквозь рев, треск кустарника и возню доносится хриплое дыхание зверя. В хаосе звуков слышится злобный лай Кучума и Бойки.

Против нас на высокой сушине сидят три ворона. Вытягивая головы, они с любопытством смотрят вниз. В ветках шныряют крикливые кукши.

– Не зря птица слетается: добычу чует, – шепчет мне Василий Николаевич.

Подбираемся к толстой валежине. Я просовываю вперед ствол карабина, поднимаю голову. Что-то черное, огромное мелькает за ближними кустами низкорослых стлаников. Приподнялся и вижу: черный медведь, навалившись своей огромной тушей на другого медведя, впился зубастой пастью в его шею. Тот ревет смертным ревом и, силясь вырваться, рвет крючковатыми когтями бока своего противника.

Собаки дружно подвалили к заду верхнего зверя, а заметив нас, перешли в яростную атаку. Кучум в одно мгновенье оказался на спине медведя. Бойка, выпучив глаза и упираясь ногами в землю, тянула зубами зверя за мошонку. Тот дико взревел и кинулся на собак, но они успели отскочить. Медведь бросился за Кучумом, Василий Николаевич выстрелил…

Второй медведь тоже поднялся. Шатаясь и волоча правую заднюю ногу, он направился в чащу. Его голова была свернута набок, а передняя лопатка разорвана до кости. Но не успел он добраться до первого куста, как на него опять насел раненый медведь. Рев, лай и шум возни снова потрясли распадок.

Какое страшное зрелище – борьба медведей! Сколько в ней злобы! И какая дьявольская сила заключена в этих с виду неуклюжих зверях!

Прогремел еще выстрел. Медведь рухнул. Далеко в горах смолкло эхо. На затухающий закат давило иссиня-темное небо. Кучум, нахватав полный рот шерсти, тянул одного убитого зверя за ухо. Глаза медведя округлились, как бы выкатились из орбит и со страхом смотрели на нас. Бойка тешилась над другим зверем, но все еще с опаской поглядывала по сторонам.

Оба медведя оказались черной масти, с белыми галстуками на груди. Меньший по размеру был в очень хорошем «одеянии» и, вероятно, находился в расцвете своих звериных сил. Второй медведь заметно крупнее и намного старше. На его окровавленной шубе виднелись рубцы заживших ран, полученных в прежних схватках. Клыки на нижней челюсти оказались сломанными, когти – затуплены, правый глаз давно вытек. Это был очень старый медведь. Противник до нашего прихода успел нанести ему несколько смертельных ран, тогда как он, отбиваясь, смог лишь исцарапать живот и разорвать грудь своего врага.

Ни один зверь в тайге не доживает до такой глубокой старости, как медведь, и тогда его не минует участь слабого. В этом мы лишний раз убедились сегодня.

Шкуру и череп меньшего зверя мы решили взять для коллекции. Измерили его, затем я описал внешние приметы, а Василий Николаевич собрал пустые гильзы, разбросал их возле убитых зверей, а рядом подвесил на ветке стланика свою нательную рубашку.

– Не каждый зверь рискнет подойти, почуяв запах пороха и человеческого пота, – сказал он, вздрагивая от холода и застегивая на груди телогрейку.

Темная ночь убаюкала звуки. Уснул помолодевший лес.

Зверей сегодня не будем свежевать: нужно торопиться, ведь идти до табора далеко. Бедные собаки, они так намаялись, что даже не подходят к кишкам.

Теперь стало ясно, что следы медведей, которые встречались нам, шли именно сюда, к вершине Уюма.

Такое же явление мы наблюдали и в 1937 году недалеко от восточного побережья Байкала, в верховье реки Голонды[37]. Находясь там на гольце в первой половине мая, мы обнаружили скопление кедровок и медведей на одном из участков. Причина оказалась очень простой. В предыдущий год на Баргузинских хребтах не было урожая стланиковой шишки, кроме того места, где мы вели геодезические работы. Можно представить себе, сколько птиц, грызунов, различных зверей стекалось туда осенью, поджидая, когда поспеют орехи. Но, к нашему удивлению, шишки на гольцах были нетронуты.

В тот неурожайный год на Голонде зима легла необычайно рано и стланик оказался под снегом. Весною же, с наступлением тепла, мы наблюдали, как ветки стланика, вырываясь из-под ослабшего снега, роняли дозревшие за зиму шишки. Этого-то и ждали птицы, грызуны, медведи, снова собравшиеся там полакомиться орехами.

То же происходило и здесь, на вершине Уюма.

В этой драке медведей меня и Василия Николаевича поразили их злоба и ненависть друг к другу.

Когда наблюдаешь медведя в неволе, всегда кажется, что в характере этого зверя есть и добродушные черты. Он не прочь поиграть, охотно попрошайничает, наивничает и как будто быстро привязывается к людям. Однако человеку никогда не удавалось окончательно приручить медведя. Это замкнутое животное – в действительности неукротимый зверь. Добродушным он бывает лишь в раннем детстве, но, как только покидает мать и уходит от братьев и сестер, становится непримиримым их врагом. С этого момента не существует в их отношениях добрых начал, все подчиняется хищническому инстинкту. Попадись медведю медвежата, он не упустит случая полакомиться ими, даже если ему придется испытать на себе страшную силу зубов и когтей медведицы. Повстречайся два медведя у добычи, на ягодной поляне – не разойтись им подобру-поздорову, в грозной схватке каждый из них будет защищать свое право на жизнь. Часто эти встречи заканчиваются смертельным исходом для одного из дерущихся, а то и для обоих. Сегодня мы были свидетелями такой схватки и всего лишь из-за кедровых орехов. И оба зверя стали нашей добычей…

Следующий день ушел у нас на отделку шкур и черепов.

К вечеру пришел Пресников с ребятами. В тот же день мы волоком стащили убитых зверей в соседний распадок, разделали их там и утром ушли с добычей к Лебедеву. С последнего отрога нам хорошо была видна отстроенная пирамида на большом гольце. Там еще копошились люди.

IV

Мы покидаем гольцы. Волчий лай. У нас радость – родилась Майка!

Дни стоят теплые. В воздухе разлита весенняя прохлада. Величава и спокойна тайга, но это только кажущееся спокойствие: внутри каждого дерева, каждого кустика идет огромная работа. День и ночь корни всеми своими мочками сосут влагу из земли, обильно напоенной недавно стаявшим снегом. Уже распушились белоснежные барашки на тальниках, пожелтели сережки на ольхах, хотя корни лежат еще под снегом. На крошечных лужайках пока нет зелени, цветов, но и тут идет неутомимая деятельность. Хорошо в эти майские дни в тайге!

---

[37] *Голонда* – приток Турки.

Подразделение Лебедева закончило работу на гольце, и тринадцатого мая мы свернули лагерь. Наш путь идет к Мае. Караван в двадцать нарт, груженных снаряжением и мясом, медленно пробирается сквозь замшелую лиственную тайгу. В долине уже почти не осталось снега. Под полозьями черная маристая земля да кочки с водой.

Олени идут натужно, горбя худые, покрытые свищами спины, вытягивая из-под лямок тонкие, облезлые шеи. Чаще и чаще слышится понукание каюров, но животные слабеют, и мы идем все медленнее.

Кое-как добираемся до Кунь-Маньё. По широкой долине уже пронеслась весна, не оставив для нас ни одной полоски снега. Олени ложатся, не идут дальше. Делаем лабаз и откладываем половину груза. Но и с облегченными нартами уставшие животные еле-еле плетутся.

По пути еще сбросили часть груза. Оставляем с ним Лебедева со своими людьми и ослабленными оленями. Поздно вечером я с Василием Николаевичем добрел до табора наших проводников.

– Я же говорил, птица вон как далеко летает, а старое гнездо не забывает, – тепло встречает нас Улукиткан и подает поочередно всем свою маленькую руку. – Однако, неплохо съездили, – добавляет он, кивая головой в сторону нарты с медвежьими шкурами.

– Неплохо, – ответил Мищенко. – Чего не приходил? Мяса было много.

– Знаю, шкура без мяса не бывает, да все равно не пошел бы, далеко. Я тоже сохатого стрелял, большо-ой, шибко большой! Однако, не мой фарт: ружье плохо пулю бросало, ушел раненый зверь.

– Не отчаивайся, – успокоил я его. – Завтра будем пробираться к Мае – может, удача вернется к тебе.

– Это хорошо. Поедем новое место, там и корм свежий оленям, там и глазам и языку работа найдется, а тут место худой, все надоело, – ответил он и стал помогать распрягать оленей.

Мы здороваемся с остальными жителями лагеря. Ставим палатки.

Над стоянкой раскрылатилась белая туча. От костра дым голубыми струями поднимается к макушкам елей. В природе покой, блаженство. Несмотря на поздний час, все еще чувствуется пряный запах хвои, обсохших мхов, маристой воды, смешанный с запахом уже прогретой почвы. Такие вечера бывают только весной в горах, когда надолго устанавливается хорошая погода.

Медленно вечерело. Засыпала старушка тайга, позолоченная закатом.

После ужина проводники угнали наших оленей в стадо за километр от стоянки. Мы решили пораньше лечь спать, чтобы успеть отдохнуть за короткую майскую ночь и рано утром тронуться в дальний путь. Я уже разделся. Вдруг снизу, из далекого левобережного распадка Кунь-Маньё, донесся тягучий вой волка. К нему присоединились другие голоса; такая же отвратительная и пугающая песня расплылась по долине.

Мы с Василием Николаевичем вышли из палатки. Привязанные Бойка и Кучум всполошились и, навострив уши, напряженно прислушивались к наступившей тишине. Над рекой шумно пронеслась стая вспугнутых кем-то чирков. Кто-то непрошеным гостем ворвался в вечерний покой долины, и все настороженно притаилось. Мы долго стояли у затухающего костра, подавленные тоскливым воем голодной стаи.

– Вы слышите, кто-то ходит по берегу? Да и не один, – таинственно прошептал Василий Николаевич.

Собаки, натягивая поводки, визжали, пытаясь сорваться, – для них, видимо, ничего загадочного не было в шорохе, что доносился снизу. Мы же с Василием Николаевичем в недоумении поглядывали то на собак, то друг на друга.

– Звери удирают от волков, – сказал я наугад.

– Нет, не звери, – возразил он. – Видите – дым вниз тянет? Они бы давно учуяли нас и свернули с реки: человека зверь больше, чем волка, боится. Кто-то другой ходит.

Шум стал слышаться яснее и ближе. Теперь четко отдавались чьи-то шаги. Я схватил винтовку и, выскочив на берег, затаился в кустах. С противоположной стороны реки простучали по гальке копыта, прошлепали через ключ, и все оборвалось, будто звери остановились.

Опять тишина, густая, недвижимая. Повеяло нежным весенним воздухом. Далеко позади затухала заря, сонно отражаясь в бегучей ряби воды. Лес наполнялся холодеющей темнотою.

Я долго стоял, охваченный нетерпением. Но вот за рекой, из-за кустов, выткнулась голова оленя с огромными рогами. Мгновение – и ложа винтовки прилипла к плечу, в разрезе прицельной рамки мелькнула мушка… Но выстрел, сам не знаю почему, задержался на какую-то неуловимую долю секунды, и это предупредило страшную развязку: на спине оленя сидел человек. У меня по телу побежал холодок.

За первым оленем показался второй, тоже с седоком, а на третьем – последнем – лежал тяжелый вьюк. Шествие завершала ленивой рысцой неопределенной масти собака.

По тому, как сидели незнакомцы в седлах, по манере управлять посохом безошибочно можно было угадать в них эвенков. «Откуда они взялись? Куда держат путь? Почему с ними нет палатки, постелей, поток с дорожными вещами?» – подумал я, присматриваясь к седокам. Встретиться с людьми в этом огромном и пустынном крае почти невозможно. Вот почему появление незнакомцев озадачило меня.

Верховые подъехали к реке и о чем-то стали совещаться на своем языке.

– Улукитка-ан! Неживой, что ли? – крикнул один из них.

– Не кричи, он тут где-то должен быть, – сказал второй минутой позже.

Я вышел из засады.

– Переезжайте, тут мелко, – посоветовал я неожиданным гостям.

– Не утонем? А то придется тебе отвечать, – послышался скрипучий старческий голос.

– Если боитесь – езжайте повыше, там хороший брод. – И я направился к стоянке.

Прошумел под ногами оленей ворчливый перекат, снова простучали по гальке копыта, и вскоре незнакомцы тоже подъехали к стоянке.

– Это страшно большой кобель! Не тронет? – пугливо посматривая на Кучума, спросил передний.

– Нет, не бойтесь!

– Тогда, будь другом, отпусти его, пусть он нашему кобелю сон разгонит: на ходу спит, пропастина! – И, обернувшись к реке, крикнул почти ласково: – Майто, где ты? Утонул, что ли?

Василий Николаевич подложил в огонь сухих дров, и вспыхнувшее пламя отбросило к лесу темноту. От реки оторвалась серая тень Майто. Это был старый пес, с морщинистой мордой, облезлыми боками, кривоногий. Он, даже не взглянув на взбудораженных собак, подошел к костру, бесцеремонно стряхнул со своей шубы прямо на нас воду и тут же улегся.

Старики подвели оленей к ближней ели, и, пока они управлялись с животными, я успел рассмотреть каждого из них. Один был низенький, живой и разговорчивый. Его сухощавое туловище, сгорбленное под тяжестью прожитых лет, обтягивала ветхая, в заплатах, дошка. Непропорционально большую в сравнении с туловищем голову прикрывали космы жестких, черных как смоль волос. Крошечные же глаза старика сохранили что-то молодое, ястребиное, острое. С юношеской подвижностью он расседлал своего вьючного оленя и тут же стал помогать товарищу.

Второй был полной противоположностью первому. Большой, отяжелевший, мешковатый, кривой в плечах, он напоминал корявый пень. Да и лицо у него было какое-то деревянное, застывшее, с толстыми губами, обветренными досиня. Он отвечал на наши вопросы односложно, слабеньким, тоненьким голоском.

Когда старики подошли к костру, мы поздоровались и с минуту стояли молча, осматривая друг друга. Одеты они были по-эвенкийски: в дошках, унтах и сшитых из лосины штанах. На тонких ремешках, перекинутых через плечо, висели кожаные сумочки с патронами. У поясов болтались ножи. В их медлительных движениях, в холодноватом взгляде темных глаз таилось удивительное спокойствие, даже безразличие ко всему окружающему, словно они давно путешествуют вместе с нами и все здесь в лагере им знакомо до мелочей.

– Ну и лохматый кобель, что черт в зиму! – произнес низенький все еще с опаской поглядывая на Кучума.

– Откуда и куда едете? – не выдержал я.

– Мы пастухи Ироканского колхоза, с оленями тут по Мае кочуем. Приехали проведать старика, давно не встречали, шибко давно, – ответил он, приседая на корточки у костра и доставая трубку.

– Это вы про Улукиткана?

– Ну да… Не упусти он раненого зверя, мы бы так и думали, что старик давно ушел к предкам, а он, вишь, еще топчет землю.

– Неужели по раненому зверю догадались, что здесь находится Улукиткан? – удивился я.

– Узнали… – ответил тот равнодушно. – Тайга, друг, большая, однако от зрячего в ней не спрячешься.

– Но ведь зверя мог ранить любой из нас.

– И то правда. А этого стрелял Улукиткан. Ты думаешь, я обманываю?

Я вспомнил, что два дня назад старик действительно ранил сохатого.

– Вчера мы зверя убили, – продолжал старик. – Стали шкуру сдирать, видим – свежая рана. Кто, думаем, тут промышляет? Зачем так далеко приехал? Потом в мясе пулю нашли, хорошо осмотрели ее, думали: чья она? Такой пулей стреляет одноглазый старик с речки Топтокан, однако далеко он живет, за Учуром, не пройти ему сюда; там, на Топтокане, больше сохатых. После еще долго думали и вспомнили про Улукиткана, у него тоже были такие пули. Хочешь, посмотри – может, и ты узнаешь. – Гость, порывшись в карманах, подал мне угловатый кусок свинца.

Это была пуля от берданы, расплюснутая «букетом» при ударе о кость. Никаких особых примет на ней я не мог обнаружить.

– Не узнаешь?

– Нет, – ответил я. – Почему думаете, что она принадлежит Улукиткану? У вас тоже берданы и, наверное, такие же пули.

– Такие, да; однако, я свою хоть где найду. Разве не знаешь, что близнецы и те бывают разные? Ты хорошо смотри: пуля Улукиткана тоже от других пуль отличается, свой метка имеет. – И он толстым негнущимся пальцем стал набивать трубку табаком.

Я снова внимательно осмотрел пулю и заметил слабый рисунок в уцелевшем углублении тыльной стороны пули, изображающий рог. Это, как оказалось, и было родовое клеймо Улукиткана.

– Что, угадал?.. То-то! Ну а теперь послушай, что старик будет толмачить. Раньше каждый эвенк свой колып[38] имел, пули лил с меткой, от этого и не было споров у охотников: чья пуля в звере, того и мясо. Понял? Так вот мы и узнали, что сохатого стрелял Улукиткан, вот и приехали проведать, спросить, какие новости у него, куда старая голова след тянет, и мясо привезли ему за пулю.

– А как же вы нашли нас?

Собеседник пронизал меня испытующим взглядом, как бы пытаясь разгадать, стоит ли вести со мною серьезный разговор.

---

[38] *Колып* – железная или медная форма для литья пуль.

– Разве не знаешь – где бы человек или зверь ни ходил, след от него не отстанет. От убитого сохатого пошли пятным следом, нашли место, где кормился он, где Улукиткан скрадывал его, – это совсем не трудно. Стали там смотреть след старика и тут только догадались, что он экспедицию привел сюда…

– Не понимаю, – перебил его Василий Николаевич. – По следу, что ли, догадались или как?

– Ну да… Что, не веришь? – спросил старик, прикуривая от уголька и окутывая себя дымом. – Его след ботинки делали, мы сразу не поверили, думали: может, это не Улукиткан ходил? Наши старые люди такую тяжелую обувь не таскают. Еще хорошо смотрели след, да, видно, не ошиблись. Улукиткан был. Потом думали: откуда старик взял ботинки? Сам не купит, в тайге не найдет. Кроме экспедиции, тут никто ему ботинки не даст. Теперь скажи, правильно я толмачу?

– Вот и не угадали! – воскликнул Василий Николаевич, подмигивая мне. – Ведь это я был там в ботинках, и я стрелял сохатого из берданы Улукиткана.

Гости, словно по сговору, громко рассмеялись и долго не могли успокоиться. Низенький даже закашлялся и, глотая открытым ртом холодный воздух, отрицательно качал головою. Мы же совсем не понимали, что рассмешило стариков.

– Хе!.. Ты думаешь, старики совсем слепой стали, твой ботинки от Улукитканова не разберут!

– Да как же можно, если они совершенно одинаковые и по размеру и по форме! Значит, и след у них будет похож один на другой как две капли воды.

– Однако, угадали: не ты ходил на охоту, а он. Только слепой мог не заметить. Ты должен знать, что эвенки не любят тяжелый вещи таскать: нож обязательно тонкий делают, котел легкий, ружье короткий. Когда мы хорошо смотрели след ботинка, увидели: край подошвы на них кругом срезан ножом. Это мог сделать только эвенк, чтобы легче были ботинки, а ты резать свои не будешь. Глаза человека должны все видеть, а ум объяснить. Слепому худо ходить по тайге.

«Какая изумительная наблюдательность!» – подумал я, все еще с любопытством рассматривая стариков.

– Куда спрятался Улукиткан? Однако, гостей не хочет встречать? – спросил низенький, окинув коротким взглядом лагерь.

– Все наши проводники пошли стадо посмотреть, – пояснил я. – Они должны были уже вернуться, но, видимо, задержатся. Волки появились. Слышали, полчаса тому назад внизу выли?

Старики таинственно переглянулись, но и тени тревоги не отразилось на их лицах.

– Волки худо, – сказал маленький, сочувственно качая головой. – Однако, Улукиткан должен догадаться, что гости приехали, и прийти.

– Он видел, когда вы ехали? – спросил я.

– Нет.

– А как же он узнает?

– Если старик не оглох – без глаз догадается, что мы приехали.

– Не понимаю. Как можно, не видя, догадаться? Может быть, он знал, что вы где-то близко кочуете с оленями и непременно придете проведать?

– Нет, Улукиткан не знал, иначе приехал бы сам первым к нам. Не так много стариков осталось в тайге, чтобы не заехать, – сказал опять маленький, и его дочерна обветренное лицо подернулось легкой грустью. Подсунув в огонь головешку, он продолжал: – Поживи и ты тут столько, сколько он, тоже догадался бы, что гости приехали. Мать дает жизнь, а годы – опыт.

Василий Николаевич расшевелил костер, повесил чайник и стал готовить ужин приезжим. Я же, не в силах сдержать любопытства, решил разыскать Улукиткана, чтобы, прежде чем

старик придет в лагерь, узнать, догадался ли он действительно о приезде давнишних приятелей. У меня не было оснований не верить этому низенькому, очень разговорчивому гостю, и в то же время такая догадка казалась невероятной.

В лесу было просторно, глухо. На вершинах гор давно померкли поздние следы заката. Похолодевшую землю прикрыла молчаливая ночь. Иду почти на ощупь. С трудом различаю валежник, пни.

Но вот из глубины старой, замшелой тайги доносится протяжный гул, какой часто приходится слышать ночью в лесу среди глубокой тишины.

И мне вдруг почудилось, будто тайга, подслушав наш разговор со стариками, вспоминает о чем-то давно минувшем. Я останавливаюсь, гул обрывается. До слуха доносится шорох, а затем и шаги. Иду на звук.

– Однако, ты за мною идешь? – встретил меня Улукиткан.

– Да. Слышал, волки внизу выли? – сказал я, пытаясь отвлечь старика от истинной причины моего появления.

Старик добродушно рассмеялся, как смеются взрослые над наивной шуткой детей, и мне вдруг стало неловко, хоть я и не понял, над чем он смеется.

– Лучше скажи, что налим на тебя лаял, скорее поверю, – произнес он, успокоившись.

– Да ты что, Улукиткан, почему сомневаешься? Ей-богу, сам слышал, и не один выл, а стая.

Лицо старика вдруг стало серьезным. Он укоризненно покачал головой:

– Давно тайга ходишь, а не знаешь, что это время в лесу волки не воют.

– Но ведь не я один, все слышали, почему же ты не веришь?

– Пошто не верю? Сам тоже слышал, только это не волки выли, а человек. Разве на стоянку никто не приходил?

– Приехали двое стариков.

– Э-э, значит, правда моя! – воскликнул обрадованный Улукиткан. – Это старый Осикта[39] приехал. Он шибко мастер выть, хотел меня обмануть, да напрасно – его песню я хорошо знаю, не забыл. Другой люди так петь не могут.

– А какой он из себя, ты помнишь? – спросил я, испытывая старика.

– Маленький, как мышь, узенький, нос острый, что шило, везде лезет, язык на месте долго не лежит.

Это было подмечено так точно, что мне больше ничего не оставалось, как подивиться всему тому, чему я был свидетелем в этот вечер, и покорно следовать за стариком, думая о его огромном житейском опыте. Эти старики научились постигать природу вещей, событий, и в этом их величайшая мудрость. Прожив всю свою жизнь в суровой тайге, как никто другой, они знают, что на земле все существует во взаимной связи и что природа открывает свои тайны лишь тем, кто понимает ее. А понимать – это значит уметь бороться с нею.

– Кого другого притащил Осикта? – спросил Улукиткан.

– Старика. Он тоже пастух Ироканского колхоза.

– Однако, Тешка. Толстый, что старый пень, и смирный, как заезженный олень?

– Его имени я не знаю, но, видимо, он. Очень молчаливый старик. Они убили раненного тобою сохатого, по пуле догадались, что ты здесь, приехали проведать и привезли мясо за пулю.

– Хорошо, что старики не забывают наших обычаев, не все раньше было худо, – ответил Улукиткан, но не спросил, как они нашли нас.

Видимо, это ему было так же ясно, как и то, что за ночью последует день.

---

[39] *Осикта* – коготь.

Улукиткан шагает впереди, ощупывает посохом проход меж стволов сонливых лиственниц. Над тайгой распласталась грозная туча. Темень, черная и холодная, сгустилась в кустах. Где-то позади, у подножия сопки, надоедливо гудит козодой.

Но вот сквозь тьму блеснул луч света, показались палатки, залаяли собаки. Пахнуло распаренным медвежьим мясом.

Услышав наши шаги, старики поднялись с насиженных мест и, всматриваясь в темноту, замерли. С какой точностью обрисовал их Улукиткан! Осикта стоял боком. Он был именно узеньким, а в профиле продолговатого лица с выдвинутыми вперед челюстями было что-то мышиное. Второй старик, толстяк Тешка, высунувшись вперед, стоял сгорбленный, опираясь руками о согнутые колени. В этой позе он был похож на старую копалуху.

Налетевший ветерок взбудоражил костер, бросил во тьму сноп искристых звезд. Толстяк, прищурив глаза, с птичьим любопытством взглянул на подошедшего приятеля, и от скупой старческой улыбки округлилось его плоское лицо, черной дырой распахнулся рот.

– Здорово, Улукиткан! – сказал он. – Дай руку… Вот так… Теперь я верю, ты жив. Все бегаешь, прячешься от смерти? Она везде найдет.

– Бегучего не сразу догонит, – ответил тот и, повернувшись к Осикте, поймал на себе его хитрый, притаившийся взгляд.

– Подожди, Тешка, не обмануться бы, – сказал узенький. – Надо хорошо разобраться – может, это не Улукиткан.

И он, щуря глаза и комично вытягивая шею, стал осматривать нашего старика, мял руками молескиновые штаны на нем, заглядывал под телогрейку; приседая на корточки, долго разглядывал ботинки, всему удивлялся. В его сжатых губах, на кончике жиденькой бороденки, во взгляде затаилась шутка.

Улукиткан же стоял, как на смотринах, сдерживая улыбку.

Но вот Осикта стащил с него шапку и, увидев остриженную голову, ахнул, фыркнул, ткнул пальцем в живот и продолжал звуками выражать свое удивление.

– Ей-богу, Тешка, ты угадал, это он! Смотри, голову опалил, залез в одежду лючи. Только Улукиткан может так хитро спрятаться от смерти! А мы с тобой не догадались, что старый сохатый даже не линяет.

– И то правда, – ответил толстяк, переступая с ноги на ногу, как гусь во сне. – Если он придет в таком виде к прадедам, перепугает там всех, после и нас с тобой не пустят туда… Что ты, Улукиткан, на это скажешь?

– После меня, верно, вас могут не пустить, – ответил тот. – Так уж я лучше тут маленько подожду, а вы оба отправляйтесь вперед к дедам.

– Э-э-э!.. – в один голос завопили те. – У нас еще тут много дел: не все звезды сосчитали, не все видели, не везде кочевали. К тому же добыли большого сохатого. Как ты думаешь, надо же время, чтобы мясо пережевать? – сказал узенький.

– Мясо оставьте нам, ангадя-ми[40] вам сделаем. – И Улукиткан, не выдержав, обнял Осикту, крепко прижал к себе, долго хлопал загрубелой ладонью по его костлявой спине и что-то ласково говорил.

В лагерь вернулись и остальные проводники. Они поочередно пожали руки старикам, не выразив при этом удивления. Значит, и они по волчьему вою догадались о приезде гостей. После приветствия все расселись полукругом возле костра, достали трубки с длинными чубуками, закурили. Заработали языки, заплелся дым толстой косой и поднялся в темную ночь, к вершинам.

Узенький сидел в середине полукруга, затолкав под себя ступни согнутых калачиком ног. Его лицо, временами освещенное скупыми бликами костра, стало строгим, а голос зву-

---

[40] *Ангадя-ми* – поминки по умершему.

чал печально, как одинокий крик лебедя в тундре. Вспоминая о чем-то давно прошедшем, он озабоченно мял бороденку, чертил ножом притоптанную землю возле себя и тыкал в темноту пальцем. Все внимательно слушали Осикту. Видно, было о чем вспоминать старику.

За разговорами не заметили, как наступила полночь, пеплом подернуло рубиновую россыпь костра и над рассказчиком и над лагерем сомкнулась тьма.

Забравшись поглубже в спальный мешок, я пытался уснуть, но в голове занозой застряли события дня: и волчий вой, и угловатый кусок свинца, и появление стариков, и их рассказы. Мною вдруг овладело странное чувство: я был рад встрече с этими древними старцами, и в то же время мне было грустно оттого, что с их смертью бесследно исчезнут обычаи кочевников-эвенков, закроются страницы лесной книги, написанной о снежных бурях, о длинных тропах, бурных реках, звериных следах, о человеческой мудрости. Книги тайн природы, которую могли так хорошо читать старики эвенки…

За палаткой последний раз вспыхнул и погас костер. Умолкли голоса. В притаившейся ночи спала настороженно-чутко тайга. Где-то далеко в стаде жалобно стонал колокольчик.

– Ну и задали мне задачу старики! – мямлит, как будто спросонок, Василий Николаевич, шарит руками в потемках и натягивает штаны, сапоги.

– Ты куда собрался? – спросил я его.

– Не могу уснуть. Сомнение зародилось – хочу проверить, – буркнул он, распахивая вход.

В палатку ворвалась струя холодного воздуха. Ветерок шутя перебирал вершины старых елей. Всходила луна. На небе, на земле было пустынно.

Василий Николаевич вскоре вернулся. Он зажег спичку и показал мне ботинок Улукиткана.

– Посмотрите, подошва на полранта срезана ножом. Вот они, старики, – истинные академики! Все видят насквозь!

– А ты разве сомневался?

– Теперь нет. – И он, забравшись в постель, еще долго ворочался.

Когда я проснулся, утро точило бледным рассветом восток. Тайга пустовала без ветра, без птичьих песен. Природа еще дремала в сладостных грезах и пробуждалась долго, нехотя. Старики уже оседлали оленей, готовились покинуть наш лагерь. Осикта и Тешка прощались с Улукитканом молча. В глазах у всех печаль. В голове думы: кто знает, сойдутся ли их тропы на последнем, коротком отрезке жизни? Встретятся ли они еще когда-нибудь в этой тайге?

Улукиткан меняется трубками с узеньким Осиктой и ножами с толстяком Тешкой.

– Тебе счастье – Улукиткан, береги старика! Таких зрячих уже нет больше и не будет, – сказал, прощаясь со мною, Тешка. – Теперь ты скажи, что нам желаешь в дорогу, и надо ехать: стадо может далеко уйти.

– Желаю до дому благополучно докочевать, здоровья, спокойной, тихой жизни в своем селении, – ответил я. – Отогрейте себе место в колхозе и живите без забот и хлопот, как другие старики. В колхозе, наверно, есть кому сменить вас?

Гости недовольно переглянулись и, отвернувшись, молча стали смотреть, как огонь пожирает головешки.

– Люди есть, да не все теперь тайгу знают, – ответил Осикта после раздумья. – Совсем другой школа учатся, картошку от лука отличают, да они тут не растут, а след волка от собачьего не разбирают, блудят в лесу, время не знают, когда кто родится, где живет. Как можно доверить слепому колхозное стадо? А нам привычно… Ты говоришь – надо согреть место. Зачем? Не пристала старикам сидячая жизнь, лучше тяжелая котомка и длинная дорога.

Мы распрощались. Гости перебрели Кунь-Маньё и скрылись за темной стеной берегового леса. Следом за ними ленивой рысцой бежал Майто. Через несколько минут после того, как смолкли шаги оленей по гальке, донесся вой волка. Насторожилась тайга, всполошились

собаки. Мы переглянулись с Улукитканом, и многозначительная улыбка смыла с лица старика грусть разлуки.

Лагерь еще спал. Я только забрался под полог, как ко мне заглянул Улукиткан. Он поманил меня пальцем.

– Сонгачан[41] родился, иди смотри. Бальдымакта всегда приносит счастье, – сказал он таинственно.

Я вылез из палатки. Олени окружили лагерь. Одни из них лежали на утоптанной земле и лениво пережевывали корм, другие тут же бродили в поисках солонцов. Под старой елью стояла самка, единственная в стаде, а рядом с нею – худенький и очень маленький теленок. Едва родившись, он первым долгом испробовал работу своих легких, обнюхал воздух и, вероятно, удивился, сколько в нем разных запахов. Затем встал кривыми, неустойчивыми ножками на землю и черными влажными глазами начал осматривать окружающий его мир. Все тут было для него интересным: и палатки, и лес, и солнце, и птичьи песни, и забавный ручеек, и мы с Улукитканом.

«Бе-ек!» – вырвалось у него от удивления.

Ему в ответ нежно промычала мать, и тут только новорожденный вспомнил о голоде. Шатаясь и неуклюже переставляя ноги, он подошел к матери, стал тыкать влажной мордочкой в живот, ища соски. Делал он это так уверенно и настойчиво, словно не впервые. Наконец-то нашел их, обрадовался, задергал хвостиком, начал бить крошечными ножками о мерзлую землю, а молоко стекало по его губам.

Через пять минут теленок улегся возле матери и погрузился в свой первый сон. Мать, с опаской поглядывая по сторонам, стала зализывать пушистую шерсть на его спине. Мы с Улукитканом отошли к костру.

– Слабый он, как пойдет с караваном? – сказал я.

– Думать будем. Говорю, новорожденный к счастью. Только глупый откажется от него. Нечасто попадается оно в дороге, – ответил старик.

Наш разговор неожиданно оборвался. Лежавший за палаткой Кучум учуял телка, вскочил и бросился под ель, намереваясь расправиться с ним, да не успел – мать опередила. Молниеносным ударом передней ноги она отбросила кобеля в сторону и угрожающе затрясла головой. А теленок продолжал спокойно спать: он еще не ведал опасности, не знал, что такое враги.

«Бе-е!» – протянула мать и, не оглядываясь, зашагала к ключу.

Новорожденного этот звук разбудил. Он встал и пошел следом за матерью. Та, не задерживаясь, побрела через ручей к противоположному берегу. Я хотел броситься и поймать теленка: не верилось, чтобы он, только что родившийся, мог преодолеть течение. Но Улукиткан удержал меня:

– Пусть привыкает. Он начинает жить.

И мы были свидетелями, как это хилое существо на слабых ножках, не имея опыта, стало переходить ручей. Шумно плескалась ледяная вода. Быстрое течение готово было опрокинуть телка, отбросить вниз. Но он вдруг уперся ножками в камни, подставил течению бок и, тужась изо всех сил, полез вкось на струю. Как взрослый олень, малыш вытягивал шею, прыгал, торчмя поднимал крошечный хвостик и, выбравшись на берег, так же, как и мать, стряхнул с себя воду. Он еще не прожил и получаса, а уже с поразительной точностью копировал движения взрослых оленей.

Мать, не задерживаясь, увела телка от берега в заросли стланика. Поднялось стадо и, кормясь, разбрелось по мари.

Работа на Кунь-Маньё была закончена. Лебедеву предстоял поход на Джугджур и Становой, чтобы отстроить пирамиды на вершинах, намеченных нами при недавнем посещении того

[41] *Сонгачан* – теленок.

района. Мы же со своими проводниками отправились к верховью реки Зеи, чтобы найти там перевал через хребет, а по пути побывать у геодезистов и топографов, работающих на Джугдыре.

Через час мы сняли палатки. Поскольку наше и лебедевское вьючное снаряжение и продовольствие находились на Мае, решили добраться туда на нартах и там разойтись по своим направлениям.

Когда весь груз был упакован и увязан, снова собрали оленей, но среди них не оказалось телка. Мать спрятала его где-то в лесу, а сама вернулась в стадо и среди оленей оставалась незаметной, словно в ней заглохло материнское чувство. Изредка она поднимала голову, долго настороженно прислушивалась к тишине, и тогда в ее глазах вспыхивала тревога.

Мы тщательно обыскали кусты, перелески, осмотрели мари – нигде телка не оказалось. Чужие похоронки искать трудно, в этом нас хорошо убедил сегодняшний случай.

Дня оставалось немного, решили отложить выезд до утра. Вечером еще раз и более тщательно обшарили тайгу, но все безрезультатно. Местность вокруг стоянки так истоптали олени, что даже Улукиткан не смог разобраться в следах. Пока мы бродили по лесу, самка незаметно исчезла из стада и вернулась только часа через полтора, причем со стороны отрога, откуда мы ее не ожидали.

– Эта матка – баюткан[42]. Ево, как дикий олень, прячет телка. Все равно найдем, – успокаивал всех Улукиткан.

«Какая удивительная сила инстинкта!» – подумал я. Нужно же было матери догадаться увести телка и спрятать его где-то в уединенном местечке, а тому затаиться и, не выдавая себя, часами лежать без движения!

Этот инстинкт самка унаследовала от отца-сокжоя. В диком олене он сильно развился в соответствии с условиями его жизни. Ведь почти все крупные хищники: медведь, волк, росомаха, рысь, филин, беркут и другие – не упустят случая поохотиться за теленком северного оленя. Но не так легко его найти, спрятанного в россыпи или под стланиковым кустом, где малыш проводит весь день. Можно рядом пройти и не заметить рыжий комочек, плотно прижавшийся к земле среди пожелтевшей растительности или ржавого мха.

Вечером, перед тем как стемнело, Улукиткан молча оделся, положил в котомку узду, маут, взял посох и зашагал на марь к стаду.

– Оленей караулить пошел? – спросил я каюра Николая.

– Старик хочет мать обмануть, найти теленка.

– Куда же он ночью идет искать?

– Улукиткан не хочет счастье бросать. Сейчас наденет на матку колокольчик и будет ждать; все равно она ночью или утром побежит к телку, он и пойдет за ней. В тайге колокольчик далеко слышно.

Улукиткан долго не возвращался. Все поужинали и уже собрались лечь спать, как послышались его тяжелые шаги. Он медленно подошел к костру, устало опустил на землю котомку, из которой пугливо смотрел пойманный теленок, а следом за стариком бежала с криком и протестом мать.

Мы назвали новорожденную Майкой, и все были рады, что в нашу жизнь вторглось такое забавное существо. Оно невольно вызывало у нас теплое чувство, и мне стало понятно, почему в прошлом, в быту лесных кочевников, считалось, что новорожденный олененок приносит счастье. Несомненно, он как-то украшал своим присутствием суровую, однообразную действительность, а будучи выращенным, составлял благополучие семьи.

---

[42] *Баюткан* – потомок сокжоя и домашнего оленя.

Майку, как пленницу, старик привязал к лиственнице, а собакам Василий Николаевич пригрозил дубинкой, чтобы не трогали ее. До утра тревожно кричала мать, не понимая, почему теленок не желает покинуть лагерь и не обращает внимания на ее настойчивый призыв.

Первое свое путешествие новорожденная совершила на нарте со связанными ногами, завернутая в старенькую дошку Улукиткана. Вначале Майка протестовала энергично, силясь высвободиться, а когда из этого ничего не вышло, начала жаловаться, выражая протест криком. Но скоро, видимо, устала и крепко уснула. По прибытии на Маю она была освобождена и так обрадовалась, что стала резвиться, хотя в ее ногах еще не было силы и уверенности, – от этого ее прыжки были неуклюжими и вызывали у всех улыбку. Майка пыталась бегать, но ее пугали валежник, кусты, тени деревьев, шум реки. Собаки сдержанно наблюдали за нею.

Два последующих дня прошли в хлопотах. Окончилась зимняя дорога, и теперь нужно нарты сменить на вьючное снаряжение. Из упряжных ремней выкраивали подпруги, чинили уздечки, подбирали потники. Весь груз, доставленный на Маю в больших ящиках, тюках и мешках, следовало расфасовать на вьюки, удобные для перевозки на оленях, и с таким расчетом, чтобы каждая полувьючка весила не более двенадцати-пятнадцати килограммов. Кроме того, здесь, на стоянке, оставляем лабаз с запасом продовольствия для геодезистов и топографов экспедиции, которые придут сюда осенью.

Лагерь в эти дни не узнать: одни шьют, другие упаковывают, третьи колют доски для лабаза, каюры подгоняют и метят седла. Дни стоят на редкость солнечные, и так хорошо в тайге, что кажется, никогда бы ее не покинул!

На реке Мае мы увидели много перелетных птиц, уже прилетевших в районы гнездования. Сегодня утром, семнадцатого мая, слышали мелодичную песню седоголовой овсянки. За последние два дня я добыл для коллекции юрка, пятнистого сверчка, пеночку-королька. В коллекцию попала и седоголовая овсянка. Еще второго мая Василий Николаевич добыл бурую пеночку.

В погожий майский день мы распрощались с отрядом Лебедева. Его караван из сорока пяти вьючных оленей уходил на север, к безымянным вершинам Джугджурского хребта. Мы машем руками, провожая товарищей в далекий и тяжелый путь, машем им долго, пока караван не скрывается за поворотом реки.

Через час и мы покидаем стоянку. На месте недавнего жилья осталось большое пепелище, изломанные нарты, заботливо сложенные пирамидой, да надпись на толстой лиственнице о пребывании здесь экспедиции.

Наш путь лежит вначале вниз по Мае, дальше он свернет на запад, к реке Зее. Караван ведет Улукиткан. Его маленькая сгорбленная фигура плавно покачивается в седле на первом олене.

Часть четвертая

I

Бой орланов. Стойбище пастухов. Древняя старушка. Беспокойная ночь. Улукиткан холостит оленей

Наши планы были неожиданно разрушены. На второй день после того, как мы распрощались с Лебедевым, за мною на Маю прилетел вертолет. Я должен был вернуться в штаб по неотложным делам. Но поскольку поиски перевала оставались за нами, мои спутники ушли на Зею. Улукиткан повел отряд тайными проходами, известными только ему.

Итак, не сбылась моя мечта пройти вдоль южного склона Станового от верховьев Маи до истоков Зеи, по диким и неисследованным отрогам.

Двадцать второго мая мы снова вместе. Наш караван пробирается вверх по широкой Зейской долине. В поисках прохода он то исчезает под сводом могучей береговой тайги, то бьется с топями.

– Мод… мод… – подбадривает Улукиткан уставших животных.

Высоко над нами в прозрачном воздухе кружится пара белохвостых орланов. Мы узнаем их по двухметровому размаху крыльев, а также по маховым перьям, расположенным пальцеобразно, как у орлов. Из пернатых, обитающих в этих местах, орланы самые крупные. Они сегодня впервые попались нам на глаза. По словам Улукиткана, эти хищники обычно прилетают сюда с юга в конце апреля.

Распластав могучие крылья, орланы кругами поднимаются все выше и выше. До слуха доносится их клекот:

«Кик-кик-кик…»

Кажется, что птицы совершают первую прогулку, чтобы после долгой зимней разлуки взглянуть с высоты на родные горы и реку. Но вдруг они стремительно набрасываются друг на друга, взвиваются круто вверх и, сцепившись, камнем падают вниз. В яростной схватке хищники рвут друг друга когтями, бьют клювами.

Мы остановились и замерли, ожидая, что птицы вот-вот рухнут на землю. Но над самыми вершинами деревьев они успели разлететься в разные стороны и снова начали набирать кругами высоту.

Мы прошли, наверное, с километр, а птицы все еще продолжали подниматься ввысь. Когда я оглянулся на них в последний раз, с огромной высоты снова падал на землю бесформенный ком сцепившихся в драке тел, вскоре исчезнувший за вершинами скал.

По лощинам и склонам гор уже шагает хлопотливая весна, оставляя позади себя дружный говор пробудившихся ручейков да переполненный запахом отогретой земли воздух. К солнцу потянулись нежные ростки трав, тайга обновилась, заполнилась голосами певчих птиц.

Скоро, не сегодня-завтра, лопнут набухшие почки берез и еще больше помолодеет лес, одевшись в яркую зелень.

В голубеющем просторе неба мы не раз видели стаи журавлей, быстрокрылых уток, белоснежных лебедей, стремительно летящих к родным просторам тундры. А по тайге и марям перекатывалась лесная птичья мелочь.

Весна!

Пройдя километров десять, мы вспомнили про собак. Никто не заметил, как они исчезли. Они не заблудятся, нет. У сибирских зверовых лаек есть одна замечательная черта, позволяющая считать лайку непревзойденной в сравнении с другими охотничьими собаками. Как бы зверь далеко ни завел, скажем, Бойку и Кучума – на двадцать, тридцать и более километров, –

как бы по пути ни петлял, стараясь избавиться от назойливых преследователей, – они никогда не терялись. От зверя они непременно будут возвращаться своим следом. Какими же поистине чудесными чутьем и памятью надо обладать, чтобы не сбиться, проделывая в обратном направлении весь путь погони за зверем, повторяя бесчисленные повороты, петли, неоднократно пересекая один и тот же ручей. И не было случая, чтобы наши собаки заблудились!

Но куда же они исчезли? Что заставило их так надолго отлучиться? Напрасно мы прислушиваемся к знойной тишине, нигде не слышно их лая. Все-таки уж не случилось ли что-нибудь?

Караван с трудом поднялся на небольшую возвышенность. Заслоняя ладонью свет солнца, Улукиткан долго осматривал лежащее впереди пространство. Губы у него высохли и потрескались от жары, глаза вспухли и покраснели. Мы все собрались возле него. Тайга, полусонная, сбегала с гор, наплывала комелистыми листвягами на кочковатые бугры, рвалась, редела и выщербленным контуром обрывалась у края равнины. Строгой, недоступной чертой отделялись мари от леса и расплывались по сумрачной, унылой, разомлевшей от солнца и горячих ветров долине. Стылые, никем не тревоженные болота ржавели по марям в густом, непролазном троелисте. От них плыл едкий предупреждающий запах трясины. А дальше снова поднималась тайга, густая, высокоствольная, прижавшая стремительную Зею к правобережным отрогам.

Ласковая задумчивость долго не сходила с лица Улукиткана, когда он подолгу смотрел вокруг. Для старика в унылых и безрадостных картинах природы было, несомненно, что-то привлекательное, захватывающее. Может, время изменит наше восприятие и мы так же, как и Улукиткан, полюбим этот холодный, негостеприимный край. И может быть, покинув его, будем до боли в сердце тосковать по этим марям, по скрюченным от стужи лиственницам, по этой извечной тишине?

А старик продолжал стоять, всматриваясь в даль, как завороженный. Никто не проронил ни слова, чтобы не потревожить его радостной задумчивости…

Вдруг олени всполошились, скучились и, подняв настороженные головы, стали оглядываться. Нашим следом бежали собаки! Впереди, отмахивая сажени, – разгоряченный Кучум. За ним – Бойка… и еще какая-то чужая собачонка белой масти. Мы удивились: откуда она могла взяться? Но, всматриваясь, я заметил в ней что-то знакомое. Где мы ее видели?

Бойка и Кучум с разбегу налетели на нас, поласкались и тут же свалились от усталости на землю. Но гостья, не добежав метров двадцати, остановилась. Недоверчиво осматриваясь, она стала обнюхивать воздух.

– Узнаете? – обратился Василий Николаевич ко всем. – На зейской косе к нам прибегала. Ты, Улукиткан, говорил, что она – ироканских пастухов, лепешкой ее угощал. Помнишь?

А в это время собачонка, что-то почуяв, вытянула голову и, мягко ступая по мху, стала приближаться к нам.

Мы молча наблюдали за ней. Обойдя всех, она подошла к Улукиткану и дважды лизнула ему руку.

– Ну подумайте, узнала! – изумился Василий Николаевич. – Помнит, кто кормил!

Улукиткан улыбнулся.

– Собака всегда добро помнит, добром платит, – сказал он, внимательно осматривая морду гостьи и о чем-то размышляя.

На нас собачонка не взглянула. Но мы искренне радовались: встретить на этих пустырях знакомое существо поистине удивительно.

– Собаки медведя далеко держали, – наконец сказал Улукиткан, отпуская гостью.

– Откуда ты узнал?

– На, смотри! – И он подал мне черную волосинку, грубую, с пестринкой на конце. – На морде нашел, она от штанов медведя.

– Точно. А почему ты говоришь – далеко они его держали?

– Ну да, не близко – лай бы слышали…

Вдруг он набросился на собачонку, стал грозить ей палкой, кричать, гнать прочь.

Мы удивились. Собачонка, отбежав, недоуменно смотрела по сторонам, не понимая, что со стариком случилось.

Продолжая отгонять ее, старик пояснил:

– Даже самая злая собака ласку любит. Если ее сейчас же не прогнать, пойдет с нами. А чужую собаку уводить нельзя, упаси бог! Пастухам без нее не обойтись, будут искать, потом скажут: мы утащили ее. Нехорошо! – И он стал снова размахивать палкой, кричать.

Собачонка сдалась. Поджав смешной полуоблезлый хвост, она обиженно засеменила обратно своим следом и скрылась в чаще.

Караван тронулся, завилял по тесным просветам непролазной тайги. Заработала старая пальма в руках Улукиткана. От стука растревожилась глушь, и долго где-то под горою перекликалось эхо.

За чащей – редколесье с темно-зеленым ковром из брусничника, с просторным небом. Только мы вошли в него, как впереди, неизвестно откуда, появилась все та же белая собачонка.

Улукиткан задержал караван. Нахмурил жесткие брови – неладно получается.

– Худой собака, от хозяина бежит! – бросил он с досадой и снова стал кричать на нее, грозиться.

Но собачонка и не думала возвращаться, продолжала бежать впереди каравана.

Мы заметили, что она неплохо выполняла роль проводника; видимо, не раз бывала в этих местах и хорошо знала проходы по тайге. Это подкупило нас. Успокоился и старик. Но скоро мы заметили, что она уводит нас в боковое ущелье. Улукиткан, словно опомнившись, вдруг круто повернул влево. А собачонка осталась, не пошла за ним. Мы стали звать ее к себе, но теперь она заупрямилась, ни с места!

– Однако, дом ее тут где-то по ключу. Может, Осикта с Тешкой близко кочуют? Надо бы заехать к старикам, новостями обменяться. Как думаешь? – сказал Улукиткан и снова повернул караван.

Собачонка опять появилась и, уже не оглядываясь, бежала впереди.

За край просторного неба пряталось солнце. На дне обширных чащ уже копился прохладный вечерний туман. Слева звенел ручей. И ветерок, убегая навстречу идущей ночи, тревожил тяжелые кроны столетних лиственниц.

Мы еще не дошли до входа в ущелье, как откуда-то набросило дым, смешанный с теплым запахом человеческого жилья. Стали попадаться свежие следы оленей, и наконец послышался лай собак. Улукиткан заторопился.

Из чащи неожиданно вынырнули два чумазых мальчишки лет по пяти-шести. Увидев нас, они от страха буквально остолбенели. Большенький хотел что-то крикнуть, но звук застрял в открытом рту. Из беспомощных рук выпала чашка, доверху наполненная брусникой.

Мы не успели сказать мальчишкам ни слова, чтобы ободрить их, как они уже мелькали пятками, удирая без оглядки. Один из них, споткнувшись о валежину, со всего разбега шлепнулся на землю, оглянулся и, увидев нас, так заорал, будто его собиралось проглотить какое-то чудовище. Второй вдруг остановился, повернул назад. Страх на его лице сменился какой-то решительностью. Он подбежал к товарищу, помог ему встать, и, сцепившись друг с другом за руки, они исчезли за стеной густого стланика.

Последняя сцена растрогала нас. С раннего возраста эти ребята уже знают цену настоящей мужественной дружбы.

Мы перебрели ручей, вышли на поляну.

Вот и становище пастухов…

Дети предупредили о нашем появлении. Караван встретили жители чумов и пестрая стая собак. Вперед вырвался Кучум. Осадив свой бег у пня, он сделал на нем традиционную пометку и, окинув быстрым взглядом противников, шагнул им навстречу. Те расступились. Кучум прошел мимо оскаленных морд невозмутимый, горделивый, красивый. Вероятно, этим бы и закончилось их знакомство, но из-за дымокура выскочил огромный рыжий пес. На миг задержавшись, он быстрым взглядом окинул самоуверенного пришельца и бросился на него. Словно по команде, сомкнулась разъяренная стая. Заработали челюсти…

Геннадий с Василием Николаевичем бросились на выручку Кучуму, но старик пастух криком предупредил их:

– Постойте! Пускай сами, однако, решат, кто из них старший. – По голосу я узнал Осикту, который так ловко на Кунь-Маньё обманул нас волчьим воем.

Тем временем разгоряченная Бойка пробивалась на помощь сыну, грудью расклинивала пестрый клубок дерущихся собак, от ее коротких укусов с визгом отскакивали противники. Но вот в середине свалки высоко вздыбился Кучум, поднимая за горло рыжего кобеля. Затем опять все смешалось, налетело на чум, ворвалось внутрь.

В дверь выметнулся клуб дыма, что-то треснуло, послышался пронзительный женский крик. Он-то, видимо, и остановил дерущихся.

Первым из чума выскочил рыжий забияка – весь в золе, пораненный, волоча заднюю ногу. За ним – Кучум. Досталось ему, видимо, тоже крепко: слава нелегко дается! Но держался он геройски.

– Здоровый кобель! В драке даже хвоста не опускает, – говорит Осикта. Он обрадован нашим появлением.

А рыжий пес жалобно воет, зализывая укусы.

Я здороваюсь с Осиктой и Тешкой. Все мы искренне рады встрече.

Геннадий и Василий Николаевич выбирают место для палаток. Николай развьючивает оленей. Улукиткан в окружении пастухов ведет оживленный разговор. Я с интересом осматриваю становище. Оно состоит из одной палатки и трех берестяных чумов. От них убежала в лес немудреная поскотина, отсекая ущелье от Зейской долины. К поскотине прильнули загоны для телят, какая-то закутка. Поодаль от чумов, на широко расставленных жердях, собранных вершинами в узел, коптится лосиное мясо. Пол стойбища усыпан сохатиной шерстью, костями, стружкой. Возле палатки на раскинутой коже сушится кровь. На кустах ветерок треплет выстиранную одежду. Именно таким мне всегда представляется старинный табор кочевников-эвенков.

Со стариками Осиктой и Тешкой здесь живут две семьи ироканских колхозников.

К нам подходит женщина невысокого роста, но крепкая, хорошо сложенная.

– Здравствуйте! Хорошо, что заехали, а то ведь мы тут совсем людей не видим, – сказала она просто и искренне.

У эвенков женщина в быту всегда пользовалась большим влиянием и самостоятельностью. Но зато на ее долю выпадал непомерно тяжелый труд, а отсюда и преждевременная старость. Она пасла оленей, выделывала кожи, шила одежду и обувь, кочевала и ко всему этому должна была заботиться о продолжении рода. Мужчины же знали только промысел.

Эвенкийка и я какое-то время молча разглядывали друг друга. Ей лет тридцать пять. Кожа на плоском лице, шее, руках бронзовая. Она в сером поношенном жакете и в ситцевой юбке, из-под которой виднеются трикотажные шаровары. На ногах мягкие замшевые олочки, расшитые цветным узором. На голове плотным узлом громоздится толстая коса. В свободной манере эвенкийки держать себя с незнакомыми людьми есть что-то подкупающее. Я дивлюсь строгому выражению ее лица, ее нежности, застенчивости.

– Это все твои? – спрашиваю я, показывая взглядом на ватагу малышей, сопровождающих ее.

– Что ты! Мне хватит и трех. Потом видно будет, – добавляет она не без лукавства.

Женщину окружает детвора. Все они прячутся за ее юбкой, и мне видны лишь дочерна загорелые рожицы со страшно любопытными глазами. Среди них и те двое, что встретились нам в лесу, но и они все еще дичатся. Я достаю из потки коробку леденцов, чтобы угостить малышей. Упрямятся, не берут. Не могу уговорить. Неужели они никогда не пробовали сладостей? Хочу доказать им, что это очень вкусно: беру леденец, кладу себе в рот, громко жую, причмокивая губами. Чувствую, за каждым моим движением пристально следят пять пар узких, зорких глазенок. Вижу, как соблазн отражается на ребячьих лицах. Ну, думаю, теперь уже не вытерпят. Протягиваю им коробку. Опять не берут!

Мне ничего не остается, как передать коробку женщине. И тут вдруг произошло невероятное: детвора налетела на женщину и выбила из ее рук коробку. По притоптанной земле рассыпались леденцы. Тут уж не зевай, хватай что успеешь!

Нет, дети хорошо знают вкус конфет – иначе не было бы этой жаркой схватки.

Давно смеркалось. Ночь окутывала чумы теплой летней мутью. На пустынном небе вспыхнули тусклые огоньки звезд. Пала роса. Где-то далеко-далеко, за поскотиной, гуляет малиновый звон колокольчика. Две женщины, захватив ружья, уходят пасти стадо. Уснули дети. Огненный язык костра брызжет искрами в черное небо. Мы сидим полукругом, ждем ужина. Из котла несет жирным парным мясом. Беседу ведут старики. Им есть о чем поговорить. Воскресло далекое прошлое. Вспомнилось и хорошее и плохое. Не забылись Учурская ярмарка, медные иконки, зеркальца. До сих пор жалко старикам полношерстных соболей, тугие связки белок, уплаченных купцам за безделушки. «Значит, не поросли быльем обиды и унижения, коли до сих пор горько у них на сердце», – думал я.

Воспоминания стариков уносят и нас в навеки ушедшее прошлое этой еще не отогретой человеком земли. А берестяные чумы, дымящиеся дымокуры, тени пасущихся оленей и печальные лица эвенков как бы создают реальную обстановку тех далеких времен. Так долго мы сидим вокруг костра.

Наконец Василий Николаевич говорит:

– Мясо готово, можно ужинать.

Все зашевелились, стали усаживаться поудобнее.

– Завтра задержались бы на полдня, дело есть, – вдруг сказал Осикта, обращаясь ко мне.

– Какое дело?

– Надо бычков холостить. Нам с Тешкой не осилить, а мужики в колхоз ушли за продуктами, не скоро вернутся. Помогать надо.

– В этом деле мы плохие помощники.

– Ничего, поглядишь – научишься, может, пригодится. Улукиткан шибко мастер холостить оленей, его просить будем.

– А твои зубы разве притупились? – спрашивает Улукиткан.

– Не кусают, как нужно… Ну как, задержитесь?

«При чем тут зубы?» – подумал я и ответил старику:

– Если в этом есть необходимость, останемся на полдня.

Пока Василий Николаевич выкладывал пахучее оленье мясо в берестяной чуман, Геннадий разлил по кружкам спирт. Старики многозначительно переглянулись. Спирт для них и теперь остается магической приманкой.

– За ваше здоровье, старики, за гостеприимство, за долгие годы жизни! – сказал я.

– Спирт пьешь? – послышался вдруг сзади тягучий грудной голос.

Рядом стояла древняя старуха. Я даже вздрогнул, до того она была страшная.

А старуха перегнулась через костыль и, протянув костлявую руку, взяла у меня кружку негнущимися, узловатыми пальцами. Она долго заглядывала внутрь ее, щуря слезящиеся глаза.

– Спирт… – повторила она хрипло, и ее лицо перекосила кривая улыбка.

Широко открывая беззубый рот, она жадно глотнула из кружки раз, другой, но вдруг поперхнулась, затряслась в надсадном кашле и, не удержавшись на слабых ногах, повалилась на землю. Я усадил ее рядом с собою.

– Мать Тешки. Давно она старушка, – сказал Улукиткан сочувственно.

Геннадий подал ей кусочек мяса. Она пальцами растеребила его мелко-мелко и, бросив в рот, долго шевелила губами.

Все выпили, кожа на скулах стариков покраснела, они оживились.

Я не сводил глаз со старухи. Какая древность! Рука времени беспощадно разрисовала ее лицо морщинами. Желтое, сморщенное, оно как бы одеревенело. На голове копна нечесаных волос, жестких, серых. На костлявой груди висит металлический крестик. Старушка напоминает скелет, обтянутый кожей.

Она одета в такую же старенькую, как и сама, оленью парку и лосиные штаны, бог знает когда сшитые и, видимо, с тех пор не сменявшиеся. Вот и весь наряд. Нательного белья нет. Грудь открыта. Ноги босые.

– Сколько Тешкиной матери лет? – спросил я Улукиткана.

Он перевел ей мой вопрос. Она медленно, будто опасаясь, чтобы не скрипнула ее худая, негнущаяся шея, повернулась ко мне. Вблизи ее лицо показалось еще более ужасным. В нем почти не было признаков жизни. А голос шел откуда-то изнутри, словно по ржавой трубе, слова вылетали прерывисто, вместе с кашлем и хрипом.

– Жизнь не годами меряют, а делами, – переводил мне Улукиткан. – Иной человек не может добыть и одной белки, не умеет ножом разделать тушку зверя, не угадывает погоду, он даже не родил ребенка, а годы имеет большие. Что скажет тебе его седая голова? Вот я и толмачу: годы ни при чем. Ты лучше спроси, что останется после меня в жизни, как я жила, спроси…

И вдруг затяжной кашель оборвал ее голос.

Сознаюсь, я не ожидал такого ясного по мысли ответа.

– Неужели ее еще беспокоят какие-то заботы? – спросил я старика.

– Под старость сон отлетает, а забота живет, – ответил Улукиткан.

– О чем же ей заботиться?

– О детях.

– Но ведь они сами уже старики!

– Для матери все равно дети.

Мы замолчали, каждый думал о своем.

Черная ночь сковала тайгу. Несказанно широко распахнулось звездное небо. Влажно дуло с ключа. Кто-то подсунул в огонь головешку. Снова глубокая, немая тишина. И вдруг из-за поскотины донеслась песня, тягучая, грустная и долгая, как нартовый след по тундре. Ее пели женщины-пастушки. Песня наплывала из темноты волной, тревожа печальными звуками уснувшие дебри.

Старушка откашлялась, пожевала пустым ртом и снова начала рассказывать о себе. Улукиткан переводил каждое слово.

– Тешка был самый младший, а впереди еще пять, значит не даром прожила. Говорю, человек обязательно должен родить ребенка, научить его жить. Вот и думала: подрастут дети, женятся – и с плеч забота. Но забота не ушла. Однако, сыновья хорошие. Не обижаюсь, их доброту всегда чувствует мое брюхо. И все же не всегда они разумны. Видишь, вот уже и старость придавила, а сердце все еще болит за них. Все думаю: может, что случилось с ними, опыта у них мало, когда в тайгу уходят. Сломали сложенную прадедами жизнь, идут без тропы, не знают куда; говорю – не слушаются.

– Пора тебе не беспокоиться о детях, у них уже внуки, у них своя дорога. О себе подумай!

– Что ты! Зачем плохое говоришь? – И она погрозила кривым пальцем. – Я мать и хочу умереть матерью.

В чуме заплакал больной ребенок. Кто-то завздыхал, заворочался, и снова все стихло.

– И все же, сколько ей лет? Может, ты, Улукиткан, вспомнишь?

– Растеряла она их, свои годы, как олень прошлогоднюю шерсть. Ни счета, ни зарубок не осталось. Давно она старушка, шибко давно.

– Прошу, спроси ее еще раз, пусть вспомнит. Все же интересно.

Она внимательно выслушала Улукиткана. Задумалась, уронив голову на приподнятые коленки. Наконец снова раздался ее хриплый голос.

– К Становому пойдешь – увидишь гарь у речки Луча. Давно большой огонь ходи по тайге, все пожирал. Сколько мне лет было – не знаю, однако при моей жизни к той поре пять раз подыхали и нарождались новые олени. А случился пожар две зимы раньше, как мать Осикты медведь в чуме задрал. Спроси его, когда это было, потом сам скажешь, сколько лет мать Тешки топчет землю.

Пытаюсь разобраться в задаче, однако решить ее можно только с помощью самих же эвенков. Поэтому спрашиваю:

– Сколько лет живет олень?

– Однако, десять.

– Значит, старушке было тогда лет пятьдесят. А когда был пожар или когда погибла твоя мать, Осикта?

Тот повел плечами:

– Давно, не помню, память стала дырявая, ничего не держит. Но подожди… когда мать померла, тот год я сына таскал к попу-якуту крестить. Тогда самая большая цена на белку была. Ты, Улукиткан, наверное, помнишь? Почему тогда много давали за шкурки?

– Хороший год был, как не помнить, в турсуках белка не залеживалась. Все помню, только забыл, почему большой цена на белку была.

– Ну а когда все же это было?

– Сейчас думать будем, как тебе объяснить.

Я не стал мешать им вести свои подсчеты.

Летосчисление у эвенков было особое, связанное с какими-то памятными событиями, происшествиями в природе и в личной жизни кочевников. Миграция зверей, урожайные годы на белку или на соболя, большие наводнения, лесные пожары, сильные снежные зимы, крутые морозы, эпидемии, массовая гибель оленей, очень низкие или очень высокие цены на пушнину – вот приметные для них «затесы» на древе времени. Эти события и служили вехами, делившими прожитую жизнь на большие и малые отрезки. Такое летосчисление свидетельствовало о долгой изолированности эвенков от общей человеческой культуры.

– Спирт пьем, потом думаем, – говорит Тешка, пяля на меня посоловевшие глаза и с трудом ворочая языком. – Тешка говорить будет, как узнать, когда тайгу огонь кушай. Тешка знает. Мимо гари аргишить будешь, сруби там старый толстый дерево, узнай, сколько ему лет. Столько лет и гари. Ага, понял?

Да, я понял…

Старуха попросила еще немного спирта, выпила, поднялась и заковыляла в чум. Там долго ворчала, устраивалась возле дымокура.

Василий Николаевич, Геннадий и Лиханов тоже идут спать. Я один остаюсь со стариками. Бормочет ручей. Из тайги доносятся сонные вздохи. Щербатый месяц выплывает из-за густых вершин старых лиственниц, плывет по небу, обливая тусклым светом бледную хвою. Просторнее становится в лесу. И мне кажется, что это стоянка с древними чумами, старухой эвенкийкой, с тягучей пастушьей песней, – что все это находится не в реальном мире, а в моем воображении.

В костре догорают последние головешки. Старики не идут спать.

– Тащи еще спирт, гулять надо, – уговаривает меня Осикта, слизывая с губ олений жир.

– Сегодня хватит, болеть будете, а завтра утром рано работать надо.

К Осикте присоединяется и Тешка. Никакие отказы не помогают. Уж и не рад, что угостил их спиртом. «Какое же раньше это было страшное орудие в руках купцов, чиновников, проходимцев; ведь в таком состоянии, как сейчас, эти старики за спирт ничего не пожалеют, с покорностью примут любые условия, подпишут себе смертный приговор, ноги целовать будут, благодетелем назовут подлеца», – думаю я и остаюсь глухим к просьбам стариков.

– Сегодня хватит, не дам, – заявляю я категорически и, пожелав им спокойной ночи, иду в палатку спать.

Лунный свет полосами голубого дыма льется по просветам уснувшего леса, белые совы бесшумно скользят по воздуху…

Я уже засыпал, когда чья-то тяжелая рука легла на спальный мешок.

– Кто это?

И слышу тоненький голосок старика:

– Не обижай Улукиткана. Он не хочет тебе плохо. Может, больше я не увижу Осикту, Тешку, тропа наша короткая стала. Они просят спирт, я не должен их обижать. Дай маленько!

Разломились мои мысли, отмякло сердце, жаль стало Улукиткана. Может быть, действительно это последняя их встреча, стоит ли ее омрачать из-за глотка спирта? К тому же что особенного случится со стариками здесь, в тайге: выпьют, вспомнят былое и уснут.

– Ладно, Улукиткан, налью полкружки, и на этом кончайте. Пора отдыхать.

– Отдыхать обязательно надо. Потом ходить будем Становой. Улукиткан перевал покажет, – говорит он охмелевшим языком.

На короткое время наступает тишина. Затем опять будят меня. Я поднимаюсь.

Осикта, щуря глаза, показывает кончик указательного пальца.

– Ма-а-лень-ко уважь. Дай вина, завтра жирный олень режу, угощать буду, – говорит он, и из-под узеньких век смотрят просящие косые глаза.

– Вина нет, идите спать, ведь утром работать надо.

Слышится обиженный голос:

– Вперед гуляем… Потом Улукиткан холостить олень будет, ево зубы острый… Хе-хе!.. Дай спирту…

– Не дам… – И забираюсь поглубже в мешок.

Уже на исходе ночи я услышал возню и приглушенный стон. Пронзила страшная мысль: Осикта с Тешкой душат Улукиткана. Вскочил, как ужаленный, выбрался из палатки. Но увидел другое. У затухающего костра сидя дремал Улукиткан, уронив на грудь седую, словно заиндевевшую, голову. Рядом комок сцепившихся в драке тел Осикты и Тешки. Старики уперлись лбами по-звериному, сопят, дышат прерывисто, пальцы запутались, перевились в жестких волосах, ноги беспомощно роют землю.

– Кэ-ты!.. – вырывается из охрипшего горла у одного.

– Кэ-ты!.. – кряхтит другой.

– Улукиткан, ведь они же изуродуются! – кричу я и бросаюсь к дерущимся.

Старик очнулся и жестом руки остановил меня.

– Ничего, они просто гуляют, хорошо гуляют, – протянул он спокойно.

– Да ты посмотри, что они делают!

– Говорю, не мешай, они гуляют, скоро кончат.

И я действительно вижу, как мякнут руки дерущихся, остывает их злоба, стихает пьяная перебранка. Наконец старики угомонились, мягким комком припали к застывшей земле, да так и уснули, не вытащив пальцев из чужих волос.

Улукиткан, нетвердо держась на ногах, подошел к уснувшим, прикрыл их дошкой, подоткнул полы под бока, и скоро по становищу поплыл их мирный храп.

– Тебе тоже надо поспать, – предложил я старику. – Иди в палатку.

– Я тут у костра маленько сплю. – И он, подсунув в огонь два бревна, стал готовить постель: под бока бросил старенькую телогрейку, в голову – седло, осмотрел небо, прислушался, сказал твердо: – Скоро утро, – и тут же уснул.

В далеком небе застенчиво мигают звезды. И над притихшей тайгою плывет с ржавых троелистовых болот лиловый холодный туман, плывет не торопясь к краю ночи.

Мне тоже хочется вздремнуть, но я глушу в себе сон. Поправляю костер, усаживаюсь поближе к теплу. Раскрываю дневник. Беру в руки карандаш, и события последних дней словно оживают, мысли текут нестройной чередой…

Сквозь прозрачный туман уже скупо сочится рассвет. И ночь бежит на запад, поспешно сдирая с пробудившейся тайги кое-где зацепившиеся складки своего черного полога. Уже почти не видно звезд. Только запоздавшая луна застряла посреди неба.

Пробуждается становище. В чумах людские голоса, детский плач. В лесу птичья перекличка.

Пришли пастушки. На их лицах следы бессонной ночи. Молча здороваемся за руку. Рукопожатие обязательно у эвенков. Они осматривают спящих стариков, удивляются и вопросительно смотрят на меня.

– Пьяный? – спрашивает старшая, та самая, что вчера подошла к нам с ребятами.

– Вчера немножко выпили.

– Худой ты люди, зачем давал! – И обе женщины уходят от костра легкими, бесшумными шагами.

Я обескуражен. Я бы не удивился, если бы они тоже попросили у меня спирта, как это всегда бывало раньше. Но оказывается, теперь эвенкийки сами не пьют и мужей оберегают.

…А на востоке, в оранжевой мути, рождалось солнце. Навстречу дню молча летели разрозненные стаи воронов.

Дымились островерхие чумы. Возле них детвора уже готовила в путь свой «караван». Вот они гуськом двинулись к нам, волоча за собой на ремешках костяные бабки, изображающие оленей. У костра остановились, осмотрелись и, осмелев, присели, плотно прижавшись друг к другу. Все наше для них ново, интересно. Ведь их представление о жизни, о людях пока ограничивалось только лесом, горами и тем, что происходит в родном становище. А сейчас перед ними странные, вероятно кажущиеся им уродливыми, лица: детишки до сих пор, вероятно, не сомневались в том, что все люди с плоскими носами, скуластые, узкоглазые. Сейчас они видят иные лица, иную одежду, обувь, незнакомые предметы, слышат непонятную речь. Все это поражает детей, возбуждает их любопытство, смешанное со страхом.

Старики спят. Мы садимся завтракать. Из чума выходит мать Тешки. В руке у нее туесок, в другой – посох. Она направляется к нам, торопится.

– Уходи в лес немедленно, – шепчет Василий Николаевич.

Я оставляю чашку с бульоном и спасаюсь бегством. Детвора роем кружится возле меня. Нас догоняет табун собак.

Все вместе бродим по лесу. На зеленом ковре брусничника – темно-красная россыпь ягод. Это прошлогодний урожай, сохранившийся под снегом. Ягода от длительных морозов засахарилась, стала сочной, мягкой. Мы едим ее с наслаждением.

Дети теперь словоохотливы. Я пытаюсь заговорить с ними. Но никто ни слова не понимает. Они родились здесь, в тайге, в семьях кочующих пастухов, и знают только свою тайгу. Здесь они будут жить до семи лет, а потом им придется переселиться в интернат, чтобы учиться.

Но оказывается, один из них, самый старший, уже умеет считать. Его, вероятно, научила мать. Может, нам удастся побеседовать?

– Тебе сколько лет? – спрашиваю я.

– Раз, два, три, четыре, пять, – отвечает он скороговоркой.

– Нет, тебе больше.

– Раз, два, три, четыре, пять, – повторяет он.

– Как тебя звать?

– Раз, два, три…

Это весь его запас слов, и он их выпаливает обоймой, все разом.

Остальные в восторге, они явно завидуют товарищу, весело смеются. И всем весело. Так мы долго бродим под сводом могучих лиственниц, собираем бруснику, перекликаемся.

А солнце начинает пригревать. Из глубины леса бегут на становище мелкие гурты оленей. Пора возвращаться и нам.

Стадо сгрудилось на стоянке, как будто стоянку накрыли серым войлоком. Ожили дымокуры. Едкий дым окутывает животных, чумы, ближние деревья.

Старики пьют чай. Я подхожу к ним, здороваюсь. У Тешки во всю щеку багровый блин, от рубашки оторван перед и на голом животе большой отек. Глаза его виновато смотрят на меня. Видно, крепко досталось от Осикты. Но и Осикта хорош. У переносицы рана – след Тешкиных зубов, рот перекосило. Штаны порваны и обгорели.

– Как плохо получилось, – сказал я с искренним сожалением. – Зачем вы подрались?

– Что ты, что ты, – завопили оба старика разом. – Давно так хорошо не гуляли. Голова лечить надо, давай вино…

– Если будете еще приставать – мы сейчас же уедем.

Осикта и Тешка приуныли.

– Сегодня, наверное, холостить бычков не будем? – спросил я.

– Как не будем! Чай пьем и начинаем, – отвечает Улукиткан.

Признаться, мне очень хочется посмотреть, как старики будут холостить бычков, и я их поторапливаю.

Молодых бычков отделили от стада, согнали в шестигранный загон, сделанный из толстых бревен. Собрались все жители становища – не часто увидишь такое зрелище.

Дети облепили изгородь, а мы все в середине. Ланчаки[43] настороженно сбились в кучу.

Поднялся маут. Старики торопятся. Просвистел в воздухе ременный аркан, высоко вздыбился пойманный петлей белоногий олень.

Он кинулся вперед, но вдруг замер, расставив широко передние ноги, как в поединке. Остальные бросились вдоль загона, попробовали перескочить изгородь, да где там, высоко!

Белоногого свалили, прижали острым хребтом к земле. Забился бычок, в глазах ужас. Улукиткан сбросил с плеч дошку, засучил рукава. Лиханов с Василием Николаевичем растянули бычку задние ноги.

– Держите, а то ударит, ишь надулся, баловник, – сказал ласково старик, приседая на корточки.

Поймал рукою мошонку оленя, подсек ее горстью, затолкнул в рот горячие шарики, дважды стиснул зубы…

Вздрогнул ланчак, глаза его выкатились из орбит, он жалобно простонал.

– Пускайте, – сказал Улукиткан. – Кажется, не забыл, как нужно делать.

А олень так и остался лежать на спине, раскорячив вытянутые задние ноги и весь дрожа. Но вот он вскочил, затряс головой, будто угрожая кому-то.

– Дурачок, тебе же лучше! Давайте другой, – разохотился старик.

---

[43] *Ланчаки* – годовалые животные.

Снова взметнулся маут…

Через два часа опустел загон, разбежались молодые олени. Под старой лиственницей детвора оскопляла своих игрушечных ланчаков.

Мы собираемся в путь, Лиханов со своими оленями и с Геннадием ушли вперед.

И опять нас удивляет Улукиткан: как можно в этом огромном стаде оленей, удивительно похожих друг на друга, безошибочно угадать своих? Для нас все это еще непостижимо.

Пора и расставаться. Вдруг захотелось еще побыть со стариками, снова совершить с ними путешествие в прошлое. Жизнь и быт эвенков все больше и больше интересуют меня. Ведь многие полезные черты этого быта, удивительный опыт лесных кочевников исчезнут вместе с этими последними стариками. Надо бы остаться хоть дня на два, многое записать. Но и наша работа не ждет.

Все собрались у костра. В дорогу следует выпить по кружке чаю. Мне хочется сделать что-то приятное старикам. Я обращаюсь к Осикте:

– Что бы ты хотел получить от меня на память о нашей встрече?

Тот повел плечами, долго, внимательно рассматривал вещи, лежащие возле костра, еще не сложенные в потки. Затем повернул ко мне голову, помигал глазами, сказал:

– Все это тебе самому надо будет. А у меня нужды нет. Ты не думай, что я бедный, в тайге имей руки, ноги – будешь сыт и одет. Большой богатство зачем старикам?

Подумать только!.. Ведь он стар, одежда его давно износилась, пищей ему служат мясо да чай, а все богатство состоит из ветхого чума, нескольких оленьих шкур для подстилок да ружья – и все-таки он считает себя счастливцем. Ему ничего больше не надо!

Все-таки я подарил ему свою большую фаянсовую кружку, с которой не расставался много лет. Тешке – ременный пояс, женщинам – плитку чая, всем ребятам – по куску сахара.

Когда олени были навьючены, Улукиткан обменялся с Осиктой ездовыми быками.

Мы прощаемся. Я искренне обнимаю стариков. Затем подхожу к матери Тешки. Она стоит у чума, склонившись грудью на посох, старая-престарая, словно придавленная тяжестью прожитых лет, в жалком рубище, с разлохмаченными волосами, босая, точно памятник безвозвратно ушедшему прошлому. Рядом молодая женщина с добрыми светлыми глазами. Она как будто нарочно, для контраста, остановилась возле старушки.

А караван уже растянулся, выходит на поскотину. Нас провожают все обитатели становища. На лицах взрослых сожаление, ведь мы взбудоражили их одинокую жизнь, внесли какое-то разнообразие и теперь снова оставляем на этом далеком от жилых мест стойбище. Конечно, грустно им расставаться с нами.

– До свидания, Осикта, Тешка! Кто знает, может, еще встретятся в тайге наши дороги!..

Теперь под Улукитканом огромный бык с непомерно широкими рогами. Правда, они не украшают, а уродуют его длинную, приземистую фигуру. Два года назад он был племенным производителем. Но однажды с ним случилась непоправимая беда.

– Напали на него волки, – рассказывал Осикта. – Он шибко отбивался, долго не сдавался. Два волка поранил. Пока я прибежал к нему, хищники его охолостили. Теперь он у нас лучший учаг[44]. Пусть старик ездит, у нас еще есть хорошие олени.

В походке учага, в манере держать голову, угрожающе ее наклонив, в постоянной настороженности есть что-то от прежнего могучего самца. Как легко он несет на крепкой спине старика! Мы еле поспеваем за караваном.

---

[44] *Учаг* – верховой олень.

II

Брошенный олень. «Задержись я чуток – и поминали бы Василия!» Наш путь идет к Становому. Неожиданный гость. Пожар в тайге. Осикта уходит на охоту

Солнце в полном накале. С низовий Зейской долины бегут неровные волны горячего, душного воздуха. По выцветшему сиреневому небу плывут на запад дозоры туч. За ними по лесу ползут их бесконтурные тени. В тайге пусто и дико.

Мы снова во власти кровопийц-паутов. Животные, груженные вьюками, не в силах отбиваться, тянутся на поводках, безнадежно понурив головы. Да и нам приходится беспрерывно отмахиваться руками.

Наш путь по-прежнему тянется левобережной стороной, далеко от реки. Идем по следу Лиханова. Пейзаж заметно меняется. Долина становится более волнистой. Мари отступают к Зее и прячутся за стеной позеленевшего леса. Боковые отроги явно поднимаются, принимают более зазубренные очертания. Станового все еще не видно, но глаза уже настораживаются, все кажется – вот сейчас, вот сейчас за поворотом блеснет в небесной синеве заснеженный выкрой долгожданного могучего хребта.

Василий Николаевич идет позади всех, стучит топором, метит затесами наш путь.

Сюда, к Становому, пойдут отряды топографов, нивелировщиков, географов, астрономов. Им не нужно будет, как это делаем мы, выискивать проходы, они воспользуются нашим следом, отмеченным далеко видными затесами.

Пройдет время – и этот почти недоступный район будет освоен для страны и хочет не хочет, но начнет отдавать ей все, чем богат!

Солнце уже минуло полдень, когда караван подошел к небольшой возвышенности, сложенной из крупных обломков некогда развалившихся скал. Мы попытались перейти ее, но увы, препятствие оказалось совершенно непроходимым для каравана. Пришлось продолжать путь по следу Лиханова, по кромке возвышенности. Он скоро привел нас к обрыву, за которым, по дну глубокого каньона, неслась Зея.

Мы задержались. Улукиткан решил проверить проход, по которому ушел дальше Лиханов.

Василий Николаевич стал разжигать дымокур для оленей.

Я не мог оторвать взгляда от реки. Зею тут не узнать – стала недоступная, чужая. С глухим рокотом рвется она из-за скалы, бросается всей массой голубой воды на оскаленные перекаты. Сквозь радужную пыль видно, как бьются тугие струи о груди непокорных валунов, как кипит, бушует вода и, высоко вздымаясь, снова падает на них. И так, неудержимыми скачками, Зея проносится мимо обрыва, прыгает влево, за утес. И оттуда, будто из преисподней, доносится непокорный, угрожающий рев одичавшего потока.

Улукиткан вернулся скоро. Он проверил вьюки, подтянул подпруги.

– Каждый бери немного оленей, место худой, ямы, камень, шибко нехорошо, – говорит старик озабоченно.

Мы сразу двинулись по направлению к реке – круто под обрыв. Выветренная почва под ногами осыпается. Вьюки на оленях сползают на шею, животные упрямятся, не идут. Но удерживаться на крутизне невозможно, и мы одним бесформенным клубком катимся вниз, увлекая за собою мелкие камни.

За спуском начался подъем. Нужно было взобраться на край все той же возвышенности и обойти ее слева. Теперь под ногами крупные обломки скал. Ноги не знают, куда ступить. Олени идут на подъем тяжело. Они часто заваливаются, сбрасывают вьюки. Местами груз приходится перетаскивать самим, а животных проводить поодиночке.

На следу прошедшего впереди каравана Лиханова появилась кровь. Она тянулась по камням непрерывной полоской, уже почерневшей на солнце. Это озадачило нас: что могло случиться?

Когда мы подходили к последнему повороту, оставив позади каменистую возвышенность, неожиданно показалась струйка дыма.

«Значит, стряслась беда, иначе зачем было Лиханову и Геннадию останавливаться на ночь так рано и так далеко от воды, да еще в таком неприветливом месте?» – подумал я.

Но, выбравшись из чащи на крошечную полянку, мы увидели дотлевающий дымокур и рядом с ним стоящего одиноко оленя. Он низко опустил голову.

Достаточно было взглянуть на животное, на потерявшие блеск и выразительность глаза, на болезненно покосившееся туловище, чтобы догадаться, что с ним случилась беда. Олень встретил нас равнодушно, он даже не повернул головы, стоял, как обреченный. У него была переломана передняя нога. Лиханов с Геннадием наложили лубок, тщательно забинтовали ногу; словом, сделали все возможное и бросили животное в тайге, предоставив в дальнейшем ему самому решать свою судьбу.

Мы поправили огонь, подложили сырого мха, осторожно погладили беднягу, прощаясь с ним, и тоже ушли.

А позади, над зеленой кромкой леса, долго маячила струйка дыма, навевая грустное раздумье.

Снова перед нами распахнулась долина. Всюду лес и лес. Над головою бездонное небо. Путь открыт, хотя он и таит много неприятностей. То заросли гигантского стланика встанут непролазной стеною перед караваном, и тогда только острый топор да опытный глаз проводника помогут выбраться из этой необыкновенно душистой кедровой чащи. То неожиданно на пути появится давнишний бурелом, намертво переплетенный цепкими лиственничными сучьями. С ним лучше не связываться, обойти, иначе напорешь оленей, сам изранишься, ни одежды не останется, ни поток, все изорвешь… А ключи, россыпи, топи?!

Наш путь – это непрерывная борьба с препятствиями, постоянный риск, иногда очень опасный. Но он приносит и постоянное удовлетворение достигаемым, радость преодоления. Да, именно радость преодоления! Она знакома, вероятно, всем исследователям.

Маленькая тучка, случайно пробегавшая по небу, заслонила солнце, и пейзаж помрачнел. Где-то слева на озерах перекликаются гагары. Олени устали, да и мы с трудом передвигаем ноги. След Лиханова заметно отклоняется к реке, туда убежали собаки. Значит, лагерь близко.

Мы проходили мимо очень интересных останцев, торчащих поверх болотистой почвы, словно окаменевшие растения доисторических времен. Форма их разнообразна: одни подняли высоко усеченные шпили, другие возвышаются в виде отполированных столбов, третьи основательно выветрились, как бы осели, и на их уступах примостились лиственницы. От многих остались только развалины, теперь переплетенные корнями стланика.

По кромкам болот, окружающих останцы, вырос густой полевой лук. Его яркая зелень странно подчеркивает суровый облик осиротевших скал и освежает стальную гладь воды, в которой отразились и стебли лука, и останцы, и голубое небо с тучкой, заслонившей солнце.

Мы с Василием Николаевичем отстаем, набрасываемся на лук. Едим только перо, оно очень вкусно, даже без соли и хлеба. Затем набираем его несколько пучков и догоняем караван. Издалека доносится шум реки. Видим пасущихся оленей. Нас встречают Бойка с Кучумом. Они облизываются, видно, уже успели поужинать.

Лагерь расположился на небольшой поляне. Ее правый край обгрызла Зея, а слева стена высокого леса. Уже поставлены палатки, заготовлены дрова, горит костер. В воздухе запах перепревшей ухи, значит, нас давно поджидают.

– Чего задержались? – встречает нас упреком Геннадий, а в глазах у него, вижу, какая-то радость. – Гляньте, каких ленков выхватил! – И он, раскрыв мешок, показал нам две черные, крапленные золотом рыбины.

Василий Николаевич, как бы между прочим, скользнул взглядом по ним, не удивился, не похвалил. Видно, рыбацкая зависть кольнула его в сердце…

Уснуть в эту ночь нам было суждено очень поздно. Василий Николаевич, конечно, не удержался – тоже отправился на рыбалку и… едва избежал страшной участи. Через полчаса после его ухода мы услышали дикий вопль. Кинулись на этот крик и нашли Василия возле убитого им медведя. Но и он сам был еле жив. Потом рассказал:

– Я знал, что у медведей гон начался, а когда они паруются, ходят злые. Стою я у заливчика, удилищем помахиваю, глаза на воду пялю, да чего-то оглянулся, а их два высунулось из кустов и ко мне шагают. Впереди этот, убитый, за ним самка, ничего не видят, от любви ослепли, что ли! Я винтовку сдернул с плеча и выстрелил в переднего. Он было повернул назад, да заспотыкался, упал. А самки – как не было с ним. Думаю, подожду собак, пусть над мертвым потешатся, а тогда свежевать начну. Сматываю я это леску, слышу, собаки залаяли, перехватили самку, теперь их, думаю, не дождаться. Достал нож, хотел шкуру снимать, а зверя-то не оказалось. Прислушался – ни треску, ни шороху, как провалился. Дай, думаю, посмотрю, куда же это он след свой потянул? Кровищу на траве далеко видно, иду без опаски, винтовка наготове. А он, язва косолапая, вернулся своим следом и залег за кустом. Мне и невдомек – глаза на след таращу, уж проходить стал, он и выскочил, страшный да злющий. Вот тут-то у меня гайка и ослабла. Завопил, что было духу, криком на секунду его задержал, успел повернуться и бахнул в упор. Даже к плечу не успел ружья приложить. Хитрая скотина… Да-а… Задержись я чуток, и поминали бы Василия… – закончил он. – Вот оно как, братцы!

Зверь оказался в плохом «одеянии» и старый. Внутри и под кожей мы не нашли и капельки жира.

Кажется, медведь – единственный зверь, который вступает в брачную пору полуоблезлым, худым, и от него несет в это время отвратительным запахом. Тут уж природа за что-то обидела его. А ведь других она готовит к любовной поре с большой заботой. Посмотрите, какими красавцами выглядят олени, снежные бараны, тэки, лоси. Все на них от жира лоснится, сколько гордости появляется в их походке, сколько страсти и нежности в их взгляде, устремленном на самку. А медведь, как нарочно, именно в этот период своей жизни особенно непривлекателен.

Приключение Василия Николаевича, хотя сама по себе встреча с медведем была нам не в новинку, взбудоражило нас. Вот поэтому-то заснули мы уже глубокой ночью. А проснулись рано… Осевший за ночь туман вздыбился, полез по отрогам и затянул небо.

Наскоро позавтракав, свертываем лагерь, вьючим оленей и покидаем стоянку.

Когда нет солнца, когда тучи давят на горы и шальной ветер рыщет по тайге, какая-то неизмеримая печаль ложится на землю, а окружающие нас горы и лес становятся еще более суровыми.

Одиноко чувствуешь себя в этих забытых местах. Человек не оставил здесь ни могил, ни огнищ, ни брошенных чумов. Только изредка увидишь уже сгнивший пень и с трудом различишь на нем давний след топора. Значит, когда-то сюда заходили люди, хотя и ненадолго. Какая нужда гнала их и какой же надо было обладать приспособленностью, чтобы просуществовать здесь, среди скупой природы? Но все это было, конечно, давно. Нынешние потомки бывших кочевников не пожелают повторить горькую судьбу своих отцов.

Человек еще не взял нужную дань с этого сурового края. Но он возьмет.

Непременно возьмет! Недаром же мы пришли сюда.

К полудню мы добираемся до устья Лучи. Небо прозрачное, теплая тайга живет своей шумной суетою: перекликаются птицы, всюду шныряют бурундуки, в воздухе носятся стрекозы.

На пути первая скала, преграждающая путь. Даже при низком уровне воды ее нельзя обойти со стороны реки. Пришлось брать штурмом. Бедные животные, с каким трудом они поднялись наверх, карабкаясь по крупным камням!

За скалой черным пологом стелется лохматый ельник. Разросся он до невероятной плотности, прикрыв топкую почву густым сумраком. В этом лесу редко вспорхнет птица, не увидишь следа зверя, не держится и белка. В мягком зеленом мху глохнут шаги каравана.

Идем следом Улукиткана. В поисках лучшего пути он обходит болота, топи и проделывает замысловатые петли между стволами упавших деревьев. А там, где молодой ельник непроходимой стеной преграждает путь каравану, на помощь приходит пальма или топор.

После долгих блужданий по лесу мы выходим к маленькому озерцу, чудесному по своей дикости, неповторимому по красоте. Из леса на него наплывает бархатистый густой брусничник, а тени береговых елей, опрокинувшись острыми вершинами, четко отражаются в зеркале воды, и кажется, на дне озера лежит расплавленным серебром огромное солнце. Какой-то удивительный покой в этом уголке. Кажется, что именно отсюда он и разливается поздними вечерами по необъятной тайге. Но вот зеркальная гладь озерца подернулась рябью, побежали круги, словно стая черных духов, потревоженная нашим появлением, поднялась над нами, задевая воду своими невидимыми крыльями.

Километра через три мы перебрели Лучу, вышли к новой протоке, промытой последним наводнением. Ельник остается позади, обрываясь высокой стеной у реки. Протока приводит нас к Зее, там Улукиткан свернул вправо, ушел на север, по могучей лиственничной тайге.

После ельника здесь светлее, уютнее, много свежей зелени. Даль манит к себе грядами заснеженных гор, черными скалами, нависающими над дикими ущельями. Это Становой вылез из-за боковых отрогов! При мысли, что мы вступаем в пределы этих таинственных гор, невольно поддаемся особому настроению, пожалуй даже торжественному, будто близка награда за пройденный нелегкий путь. Хочется знать, что готовит нам этот мрачный великан, распластавшийся затаившимся зверем на пути к Алданскому нагорью.

Возвышенность, наплывающая справа на долину, теснит нас к озеру. Улукиткан со своим караваном несколько раз пытался пробиться к реке, но туда не пускает болото. Мы точно копируем его неудачи, сами ищем переход и наконец бредем буквально по пояс через трясину, добираемся до берега Зеи. Тут и ночуем.

Мы все у костра. Теплый медленный закат сквозит по лесу, за рекой воркуют горлицы. Для путешественника есть особая прелесть в этих тихих, навевающих раздумье вечерах. Усядешься поближе к костру, к приятно ласкающему пламени и смотришь, как шалит огонь, как в синеватых вспышках тлеют угли, а в голове рой воспоминаний. Нигде и никогда эти воспоминания не бывают такими милыми, как здесь, в безлюдных пустырях.

После ужина мои спутники укладываются спать. Я брожу по берегу ночной реки с мыслями о том, как расточительно мы относимся ко времени, как быстро улетают дни, проходят годы, а сделано слишком мало.

Хочется большего, хочется такого, чтобы от натуги лопалась рубашка на спине и чтобы даже минуты нас не обогнали.

Меня встречает Кучум. Река уносит мысли. Темноту сверлит огонек костра, такой одинокий и далекий, будто он на краю света и будто ты идешь к нему и никак не можешь дойти…

…Лагерь рано разбудила непогода. По лесу ходил предупреждающий гул. Черные тучи придавили рассвет. Надо было торопиться, иначе придет дождь, взбудоражатся ключи, и нам сегодня не попасть к Становому. Как только задымился костер, из тайги стали собираться олени. Мы наскоро позавтракали и завьючили животных.

Вначале наш путь идет густым лесом вверх по присмиревшей Зее. Чаща черна, переплетена густой порослью, с крон старых деревьев свисают длинные космы лишайников. Олени то и дело задевают вьюками за сучья, с трудом протискиваются между стволами, и нам часто приходится браться за топоры.

Сворачиваем к левобережному отрогу в надежде найти там более легкий проход. Высокоствольный лес внезапно обрывается, резкой границей упираясь в трясину. Здесь нас встречает уже другая тайга – редкая, чахлая, вскормленная вечной мерзлотою. И диву даешься: на совсем крошечном клочке земли мы видим то могучий лес, дружно поднявшийся на благодатной береговой почве, то рядом, за двадцатиметровой полоской болота, чахлые лиственницы, дуплистые, полузасохшие березы.

Такой пейзаж характерен не только для Зейской долины, он встречается на огромном пространстве, омываемом реками, берущими свое начало в восточной оконечности Станового, с его северных и южных склонов. Мы уже привыкли здесь к контрастам и не удивляемся, когда, выбравшись из болота, попадаем на хорошо дренируемую почву, прикрытую бархатом бледно-бледно-желтого ягеля, с чудесным березовым лесом, по которому рассыпалась темная зелень кудрявых сосен. Но не успевают еще глаза насладиться удивительно нежной белизной березовых стволов и пышными кронами, а обоняние – разобраться в смешанном аромате разнеженной на солнце хвои и дурманящего багульника, как впереди появляется кочковатая марь, и у вас невольно вырывается проклятье. А за марью неожиданно попадаешь в стланиковые заросли, настоящие джунгли. И если за стлаником или за болотом увидишь стену высокого леса, знаешь – там река. Только по берегам ее здесь и растут эти высокоствольные деревья, поражающие человека своею величавостью и красотой.

Чем глубже мы проникаем в мрачное пространство Зейской долины, тем с большим удивлением оглядываемся на прошлое этого края: что же все-таки заставляло эвенков бродить по бесплодным пустырям, таиться зверем, жить без надежды на помощь в беде, мириться с постоянной нуждой, неудачами? Вряд ли в те времена, когда эвенки заселяли низовья Зеи, берега Амура и богатейшую тайгу за пределами гор, кто-либо тут жил, на этой скупой, болотистой и очень бедной земле. Безжалостный закон колонизаторов лишил эвенков искони принадлежавших им угодий, но не сломил воли к свободной жизни, и они, постепенно отступая, селились в пустырях, на которые никто не претендовал и куда очень рискованно было добираться.

Наш путь неизменно идет левобережной стороною долины. Минуем последнее озерцо, затянутое осокой, небольшую гарь и наконец вступаем в узкое ущелье. Нас встречает ветерок запахом тающих снегов, замшелых скал, чащи. Еще с километр петляем по густой лиственничной тайге, и вдруг впереди, за поредевшим лесом, – вот они, горы! Ущелье обрывается, упершись в гигантские откосы Станового, спускающиеся к нам с небесной высоты. Направо и налево, вдоль подножья хребта, легли глубокие щели, по дну которых бегут основные два истока Зеи.

Вблизи Становой поражает своей дикостью, давит мощью скал и крупными россыпями, замаскированными стланиковыми крепями. Везде громоздятся кручи самых причудливых форм, испещренные старческими морщинами, и по ним – полчища лиственниц. Деревья цепляются за выступы и, с трудом удерживая равновесие над пропастью, поднимаются все выше и выше и вдруг остановились, как бы испугавшись суровых вершин, безжизненных гольцов. Извилистые щели, все больше сужаясь, врезаются в литые стены хребта, и из невидимых глубин, как ворчание разъяренного зверя, доносится угрожающий рокот потоков, ниспадающих каскадами с бешеной высоты.

Первое впечатление встревожило меня. Разве можно найти перевал среди этого хаоса нагромождений и подняться к нему по крутизне, доступной разве только снежным баранам! Громады черных туч нависают над хребтом, еще более подчеркивая его и без того мрачный облик.

И все же мы рады этой близости. Как-то вдруг легко зашагали ноги, свободно вздохнула грудь при мысли, что ты уже у цели. Я стараюсь не думать о предстоящем, приятного ничего не будет, да и не угадаешь, какой сюрприз готовит нам Становой. Если погода нам не помешает, завтра непременно начнем штурм хребта.

Я долго стою на краю протоки, словно привороженный. Угрожающая непокорность Станового растревожила во мне профессиональный дух геодезиста, непримиримый ко всему недоступному. Что мы перед этим распростертым великаном? Горсточка упрямых людей, не больше. Но тем сильнее растет желание проникнуть в глубь этих гор, развеять миф об их недосягаемости. Теперь никакие обстоятельства, никакие события не заставят нас повернуть назад!

Улукиткан с Геннадием организовали лагерь на берегу Зеи, близ слияния двух ее истоков. Место тенистое, глухое, из щелей веет промозглой сыростью. Но Улукиткана, видимо, соблазнили хороший корм для оленей по склону левобережной горы и тальники, листья которых в это время года особенно вкусны и питательны для животных.

– А где Улукиткан? – спрашиваю я Геннадия.

– Еще утром ушел по правому истоку, место не может узнать, беспокоится.

– С кем установлена связь?

– Сегодня вечером явятся все станции, кроме Шантарской. Есть много радиограмм.

– Сразу примешь сводки от начальников партий и информацию из штаба, предупредишь всех, что ночью работаем, пусть станции следят за нами.

В тучах, за макушками лиственниц, поблескивает молния. Дождь с громом обходит нас стороной и долго мутит горизонт над главными вершинами Станового. По ущелью мечется холодный ветер, зарождающийся где-то высоко у тающих снегов.

Мы обосновываемся капитально, здесь нам придется прожить несколько дней. Ставим палатку, пологи, делаем навес для груза и, пользуясь свободным временем, заготавливаем дрова.

Сгустившиеся тучи чернотой заливают горы. Все ближе пляшет молния. Рокот, сначала смутный, спускается по откосам хребта тяжелыми раскатами и вдруг разражается безжалостным треском, потрясая стены ущелья. Ливень загоняет нас по палаткам, заливает костер и, довольный своей шуткой, убегает вдаль, но мелкий, приятный летний дождичек долго еще сыплется из туч. Окружающая лагерь тайга, сонная зелень чащи замирают в истоме, насыщаясь влагой, и туман, сползая с утесов на дно провалов, тает, исчезает бесследно.

– Что-то собаки вскочили, кого-то слышат, – говорит Василий Николаевич, выглядывая из палатки.

Бойка и Кучум стоят рядом, вытягивая морды по направлению ущелья. И вдруг с лаем бросаются вперед.

Мы все выходим из палатки. Дождь затихает. За рекой дразнятся кедровки, а желтенькая трясогузка уже бегает возле костра, собирая букашек. С сухой галечной протоки доносится четкий стук копыт быстро идущего оленя.

– Кто-то едет, – говорю я.

– Но это не Улукиткан, чего бы он на оленя забрался, – замечает Василий Николаевич.

Чаща раздвигается, и перед нами верхом на крупном олене – старик Осикта. Вот уж его-то мы никак не ожидали! «Что заставило эвенка догонять нас?» – подумал я с тревогой.

Осикта сползает с оленя, снимает с него узду, седло и отпускает пастись. Затем он подходит к нам и, здороваясь, подает каждому свою загорелую старческую руку. Вид у него страшно усталый, глаза ввалились, и глубокие морщины густой сеткой затянули лицо. На одежде он привез следы долгого пути.

– Насилу догнал, думал, за хребет ушли, – произносит он хриплым голосом. И обращается ко мне с неожиданным вопросом: – Ты что потерял?

– Кажется, ничего, все при мне.

– А это, думаешь, не твой?

Запустив руку глубоко в карман, он достает сумочку, сшитую из бересты, а из нее – туго свернутую тряпочку. Старик бережно развертывает ее и подает мне кассету от фотоаппарата.

Я растерялся, не знаю, что ответить. Эту кассету я выбросил на стойбище кочевников вместе с засвеченной пленкой. А Осикта стоит рядом, маленький, худенький, с птичьим носом, смотрит на меня открытыми глазами, весь преисполненный чувством огромной радости. Вздох облегчения вырывается из его груди, и скопившаяся в глазах усталость тает в улыбке, как утренний туман.

– Да, это моя вещь, – говорю я, – спасибо, что привез. Где же ты ее нашел?

– Дети притащили в чум. Глаза мои никогда такое не видали. Тешка говорил, однако, это начальника. Догонять надо, может, без нее не обойдутся. Вот я и погнал оленя. Человек человеку помогать надо.

– Очень хорошо, что ты привез ее, мне она необходима!

Я заворачиваю кассету, как большую ценность, в носовой платок и опускаю в боковой карман гимнастерки. Чувство глубочайшей благодарности к этому человеку растет во мне. Что же мне сделать? Сказать еще раз спасибо? Мало и неубедительно. Дать денег… Зачем они ему?

Я снимаю с плеч телогрейку и отдаю Осикте. Она ему велика, она поношенная, со следами дождя, ветра и солнца, но, судя по тому, как он бережно свертывает ее и приторачивает к седлу, я вижу, что старик доволен.

Василий Николаевич угощает Осикту крепким чаем, виновато объясняет ему, что давно живем без мяса, но если тут задержимся, то не позже как завтра или послезавтра он непременно добудет дикого барана или сокжоя и рассчитается со стариком за гостеприимство.

Осикта утвердительно качал головою, говорил, что на Становом очень много баранов и что нет вкуснее бараньего мяса, но что остаться он не может.

Улукиткан пришел поздно, в сумерках. С собою он принес усталость и большое раздумье. Что-то серьезно тревожило старика.

С Осиктой он поздоровался молча. Опускаясь на колоду возле него, тяжело вздохнул.

– Что у тебя хорошего? – спросил я, пытаясь оторвать его от неприятных дум.

– Стар я, никудышный, – ответил Улукиткан после минутного молчания, и лицо искривилось от внутренней боли. – Ты не ругай шибко, если не найду перевал. Улукиткан не хотел обман… Улукиткан хотел помогай…

– Да ты что, успокойся, еще рано говорить об этом. Поживем здесь, обследуем ущелья, попытаемся взобраться на вершины, может, и вспомнишь, где переходил хребет.

Он посмотрел на меня теплым и долгим взглядом:

– Однако, старость шибко задавила память, место совсем не узнаю. Может, напрасно пришел? Отец мой так говорил: сила нет – не надо драться!

– Тебе, Улукиткан, нужно отдохнуть и пока не думать о перевале. Утро вечера мудренее. Поговори вот со старым другом.

Старики стали о чем-то шептаться на своем языке, с беспокойством поглядывая на убегающее солнце. Затем Осикта разулся. Николай принес ему пучок прошлогодней травы, он затолкал ее в олочи и снова обулся. Судя по тому, как он тщательно завязывал ремешки на олочах, можно было догадаться: готовится в путь. Улукиткан, порывшись в своей кожаной сумочке, достал из нее три патрона и передал их вместе с берданой Осикте. Оба поднялись и стали внимательно всматриваться в крутые склоны гор, поросшие густым лесом с прожилками поднимающихся над ним скал.

Долго молчали.

– Однако, тут лучше! – сказал Улукиткан, кивнув головою на склон левобережного отрога, под которым расположен наш лагерь.

Осикта еще раз взглянул на дотлевающее солнце, на ельник, убегающий высоко по склону, и торопливо зашагал по мягкому моховому «полу», скрываясь за стволами низкорослых деревьев.

– Куда вы с Николаем его отправили? – спросил я Улукиткана.

– Охота пошел, мясо надо добыть.

– Да ведь скоро ночь, а поблизости ничего для ружья нет, всех разогнали стуком да криком.

– Осикта шибко мастер, зря не пойдет.

С каким удовольствием я ушел бы с ним в горы, чтобы посмотреть, что это за мастер, о котором так хорошо отзывается несомненно талантливый охотник Улукиткан, но меня уже зовет Геннадий к микрофону.

Трудно даже представить, какое огромное облегчение принесло радио экспедициям. Ведь совсем недавно наши подразделения, уходя ранней весной в тайгу, были предоставлены самим себе. Не всегда на длинном и тяжелом пути геодезистов-топографов попадались селения, в лучшем случае встречались пастухи с кочующими стадами колхозных оленей. Люди за лето в какой-то степени дичали. Их постоянным спутником была неопределенность… Конечно, связь не облегчает самый труд людей, но вселяет в них уверенность, ведь в случае опасности или какого несчастья они могут получить помощь, а главное, с радиостанцией люди не чувствуют себя оторванными от мира.

Мы с Геннадием сидим в палатке. Он принимает радиограммы. Я слежу, как быстро из-под его пера плывут слова, складываются фразы, как на лице радиста отражается их смысл. Уже приняты сводки, и я на карте отмечаю передвижение полевых подразделений, разбросанных по обширной Приохотской тайге. Затем выслушиваю информацию Хетагурова – главного инженера, только что посетившего топографов, работающих по кромке Охотского моря.

Геннадий еле успевает записывать. Вдруг в нашу волну врывается вторая станция, начинает забивать передачу. Глухо слышится:

«Я РУЛС, отзовись, ПОСТ, я РУЛС, отзовись, ПОСТ…»

Геннадий нервничает, в журнале появились пропуски слов. Наконец он бросает прием, отвечает:

«Я ПОСТ, РУЛС – отойди, явись после; я ПОСТ, РУЛС – отойди, явись после», – и продолжает прием. Но станция упрямо выстукивает:

«Срочно нужен ПОСТ, срочно нужен ПОСТ, я РУЛС, я РУЛС».

– Узнай, в чем дело, – советую я Геннадию.

– Как только вылезешь в эфир, у всех срочные дела, – отвечает он и просит Хетагурова подождать. В эфир летит его позывная:

«Я ПОСТ, отвечай, РУЛС, что нужно; я ПОСТ, отвечай, РУЛС».

«…Срочно, срочно. Начальнику экспедиции: второго июня мое подразделение было застигнуто ночью лесным пожаром в клину слияния Удыгина с Удой, погибла часть снаряжения, двенадцать оленей, остальные неизвестно где. Из огня не вышел один рабочий. После его нашли в тяжелом состоянии, нужна срочная помощь. Пришел на базу партии, чтобы связаться с вами. Закусин».

Мне живо представилась ночь, тайга, охваченная бушующим пламенем пожара, бегущие люди, олени и пойманный огнем человек, ожидающий помощи.

«…Можно ли на месте пожара или вблизи посадить У-2? Как далеко река?» – запрашиваю Закусина.

«…Площадки близко нет. До реки километров пятнадцать».

«Составьте списки, что вам нужно из снаряжения, продовольствия, чтобы продолжать работу. Явитесь через полчаса».

Мы вызываем штаб. Там все известно. Уже проведена консультация с врачами и на утро подготовлен самолет, который сбросит медикаменты для пострадавшего. После короткого совещания приходим к выводу: если больной способен вынести передвижение на носилках, нужно немедленно доставить его к реке, затем на плоту на устье Шевли, где имеется посадочная площадка на косе для У-2. Там его встретит врач и доставит в больницу.

Затем связываемся с Закусиным. Я передаю ему наше решение. Прошу как можно скорее доставить больного на устье Шевли. Советую немедленно вернуться в подразделение для выполнения этого задания. Обещаю завтрашним самолетом сбросить недостающее снаряжение и продовольствие.

«…Если больной дождется меня, перенесем его к реке на руках. Прошу два часа на отдых, и я отправляюсь в обратный путь», – отвечает Закусин.

«…Согласен. Оставьте подробные координаты для У-2, где искать подразделение, чтобы сбросить медикаменты и все, что нужно вам. Коротко расскажите, как случилось?»

«…Шли почти сутки по свежей гари, где не было корма для оленей. Кое-как выбрались в живую тайгу и заночевали. Все уснули как убитые. Но где-то близко, видимо, горела колода. Ночью поднялся ветер и раздул пожар, да так быстро, что мы не успели вырваться из огня. За ветром прошел дождь и затушил пожар, но уже было поздно, парня нашли в ельнике в бессознательном состоянии».

«Когда ждать вас в Шевле?»

«Не раньше как через шесть дней».

«Тогда свяжетесь с нами. Счастливого пути».

Геннадий стал вызывать Хетагурова, а я вышел из палатки.

В ущелье унылый сумрак. Тишина. Становой нависает над лагерем сплошной черной стеною. Из-под него вырывается беспокойная Зея. Она проносится мимо и, будто сердясь на нас, бросает в темноту свой гневный рев. А на площадке дотлевает костер. Беспомощное пламя вдруг вспыхивает ярко, и на миг в полумраке вылепляются бронзовые лица людей, убогая утварь, необычное жилье… Все это напоминает картину далекого прошлого, кажется, будто я попал на стоянку древних людей.

Но вот сидящие у костра настораживаются, приподнимаются, поворачивают головы в одну сторону…

Из темного леса выходит странный человек, одетый в шкуры, с убитым зверем на скрюченной спине, и, кажется, я готов поверить, что действительно нахожусь на древнем становище лесных людей.

Мягкими, бесшумными шагами человек подходит к костру, устало склоняется на посох. Его окружают собаки.

Кто-то бросил в костер головешку. Взорвавшееся пламя расшвыряло блики света вокруг. И я узнал в охотнике Осикту, принесшего со склона горы убитую кабаргу. Ее черные тонкие ноги с крошечными копытами туго связаны вместе и две задние перекинуты через правое плечо. Голова с белыми тонкими клыками свисает низко, почти до земли, с левой стороны.

Василий Николаевич помогает старику снять добычу, берет у него бердану, усаживает на свое место к огню.

Мы рассматриваем кабаргу при свете костра. Это самец. О его преклонном возрасте свидетельствуют пожелтевшие у основания клыки и черные рубцы на спине от недавно заживших ран, нанесенных ему соперниками. Жизнь свою он закончил похвально, героическим поступком, бросившись на жалобный зов теленка, чтобы защитить его от врага. Но самец жестоко ошибся, это кричал в знакомом ему ельнике старик Осикта, подражая телку. Он-то и послал в него, вместе с огненным пучком света, кусок горячего свинца.

Кабарга – это самый маленький олень. Какие изящные у него ноги – тонкие, стройные, и, когда видишь животное быстро скачущим по утесам, кажется, вот сейчас они сломятся и

зверь, сорвавшись, соскользнет темным комочком в пропасть. Но нет! Ноги у кабарги сильны, хорошо натренированы в беге и прыжках по скалам и заканчиваются крошечными копытцами, удивительно цепкими.

Хотя кабарга относится к семейству оленей, но во внешних формах у них нет ничего общего. Когда я вспоминаю оленя, невольно передо мною встают заснеженные вершины гор, окутанные редеющим туманом, альпийские луга, обставленные поднебесными зубьями, и ущелья, залитые густым вечерним сумраком. И, как бы дополняя эту грандиозную картину гор, воображение непременно вылепит оленя.

Вот он еле слышно ступает по мокрой росистой траве и вдруг, чутко прислушиваясь, поднимет настороженную голову, весь замрет в непонятном ожидании. Какое это грациозное животное! Как удивительно гармонично все в нем: голова, ноги, туловище пропорциональны и даже шерстинки нет лишней. Сколько дикой непокорности в его взгляде, в его торопливых шагах, как гордо несет он свои ветвистые рога! Надо отдать справедливость, в олене природа показала, какая она мастерица.

В кабарге уже нет той красоты, грациозности, что у оленя, даже больше: по сравнению с ним она кажется уродливой. Ее передние ноги намного короче задних, и от этого крестец выше холки, как у кенгуру. Спина дугообразно выгнута.

Но посмотрите, как дьявольски приспособлено это животное к жизни в скалах! Как легко оно носится по зубчатым гребням, с какой ловкостью прыгает по уступам скал!

Живет кабарга в хвойных лесах вблизи рек и холодных ключей, но непременно там, где есть скалы или россыпи. Это очень пугливое и очень осторожное животное. Только ноги и уносят его от опасности. Никто из врагов, а их у нее очень много, не смог бы завладеть ею в честном поединке. Если в беге нет спасения, то кабарга спрыгивает со скалы на уступ, недоступный ни для рыси, ни для росомахи, ни для волка. Я не раз видел ее на таком отстойнике. Собрав на крошечном пятачке выступа все четыре ноги, она считает себя вне опасности, и даже появление человека не очень смущает ее. В этот момент ее и выручает изогнутая дугой спина, иначе ей долго не удержаться бы на острие утеса.

В лагере оживление. Все мы удивлены расторопностью Осикты. Как просто получается у эвенков: нужно мясо, отлучился на час-два – и, пожалуйста, пируй всю ночь.

Теперь наше внимание привлекает Улукиткан. Он вырезает мускусный мешочек, который бывает на брюхе только у самца. Это небольшое, хорошо заметное вздутие, толщиною до пяти сантиметров, с железой, выделяющей мускус – густое студенистое вещество с сильным запахом. Старик вешает на сук мешочек для сушки и берется свежевать кабаргу. Не прошло и пяти минут, как из темной шкуры вылупилась красная туша. Улукиткан разделил ее на мелкие части, отхватил несколько кусков свежей печенки, подал Осикте, угостил Николая, попробовал сам.

Василий Николаевич вешает ведро с мясом на огонь, поджаривает на вертеле мякоть. Кучум грызет кабарожьи кости и дико косится на повара, не даст ли он более мягкий кусочек из котла – ничего, что горячий…

Мы с Геннадием еще часа два ведем переговоры с начальниками партий. Затем садимся в общий круг ужинать.

Пылает костер. Уже полночь. Где-то над холодными вершинами Станового тайком обнялись вечерняя заря с рассветом, и какая-то малюсенькая пташка пропела сонно в тальнике свою последнюю ночную песню.

А как довольны старики! Боже, как мало надо этим людям: полоска синего неба, лоскут древней тайги, костер, кусок мяса, и они счастливы безмерно. Нелегкая жизнь кочевника приучила их довольствоваться малым. Они долго пируют. Вижу, Улукиткан уже сыт. Но еще далеко до конца трапезы. Перед ним чашка с костями. Вот он берет самую большую кость, внимательно рассматривает ее, вертит перед глазами, как ювелир редкую вещь, и начинает

отделывать ее. Как ловко он выскребает ножом из складок студенистую массу, скоблит зубами суставы, припадает влажным ртом к круглому срезу кости, высасывает мозг! Удивительно, как у него согласованно работают руки, губы, язык, нож, глаза, мышцы лица, и все это сопровождается таким сочным причмокиванием, что даже Кучуму и Бойке невтерпеж. Они ловят каждое выражение и беспрерывно смахивают языком набегающую слюну. Но Улукиткан работает теперь не ради желудка, а ради искусства, и все мы долго наблюдаем за ним.

…Глухой предутренний час. Осикта с Николаем, свалившись на землю, досыпают короткую ночь. Улукиткан пьет чай. Тени пляшут на его морщинистом лице, и от их прикосновения плоский нос старика дрожит студнем, кривятся губы, странно искажая дочерна смуглое лицо.

Утро было сумрачное. В тучах, за зеленой стеной листвягов, за краем мрачных скал Станового, вспыхивали короткие зарницы, на миг освещая одинокий лагерь, приютившийся у подножия высоченных гор. Где-то стороной обходил нас дождь.

После завтрака провожали Осикту. На этот раз Улукиткан со стариком прощались трогательно. Предчувствие, видимо, предсказывало, что их тропы уже больше не сойдутся на этой родной им земле. Они долго жали друг другу руки, но уста не открывались – зачем, когда без слов понятно. А в глазах сожаление, что быстро и неповторимо пробежала жизнь…

Когда Осикта скрылся за лохматым краем береговых тальников и вдали смолкли торопливые шаги оленя по гальке, я почувствовал, что старик заронил мне в душу что-то теплое, человеческое, идущее из глубины простого сердца, не запятнанного мирскою суетою.

Мы больше никогда с ним не встречались.

III

В поисках прохода. Первая попытка подняться на седло. Мы на вершине. Откуда ты, зайка? Встреча с медведем

Вспомнить! Вот что сейчас для Улукиткана главное. Тогда и задача будет решена.

Наш лагерь все еще вблизи слияния истоков Зеи. Один из них течет с запада по более или менее доступной ложбине с галечным дном. Второй пробивается с востока навстречу первому, образуя глубокое и дикое ущелье, над которым с двух сторон нависают исполинские скалы чудовищных форм. Улукиткан предлагает подняться на скалистую и очень высокую вершину левобережного отрога этого ущелья, которую мы видели еще издалека.

Он рассчитывает, что с высоты увидит панораму хребта и, может быть, вспомнит, где лежит перевал.

В девять часов утра мы со стариком покидаем лагерь. Путь сразу идет круто в гору. С нами карабкается на высоту низкорослый ельник, прикрывая волнистой чернотою развалины скал. Под ногами крупная россыпь, шаткая, еще не совсем улежавшаяся, затянутая ярко-зеленым мхом, по которому небрежно разбросан бледно-желтый ягель да кое-где сиротливо торчат тощие кустики папоротников. Ели кажутся одногодками, еще не повзрослевшими, не способными оставить потомство. Стланиковые заросли перехватывают крутизну широкими поясами, наплывают на щели и склоны непролазной чащей. Подъем изматывает силы.

Как я рад, что в глуши не потревоженных человеком гор со мною Улукиткан! Я снова и снова поражаюсь, какая у него удивительная способность находить лазейку там, где ее, по всей видимости, нет, угадывать опасные места там, где их, казалось бы, и подозревать невозможно. Как ловко он пропихивает свое маленькое, с виду хлипкое тело между камней, какие цепкие у него руки. Его движения осторожны, а шаги спокойны, будто идет он по хорошо знакомой тропе.

Ельник постепенно мельчает, выклинивается, упираясь в стены мрачных скал. На смену из боковых ложбин поднимаются лиственницы вместе с низкорослым ольховником и полярной березкой. Только стланик не отступает и, поднимаясь ввысь, пенится по крутизне. Здесь, как

нигде, заметна титаническая борьба растительного мира с мертвыми громадами скал. Наиболее упорна в этой борьбе лиственница. Но какой ценою она платит за дерзкую попытку подняться на безжизненные вершины гольца и расселить там свое потомство!

Вот перед нами одна из старейших лиственниц. Она выросла под скалою, на голом камне, будто нарочно подложенном под нее. Поблизости нет ни мха, ни кустика, ни травинки, только она одна среди серых развалин. Корни дерева у основания толще ствола, они как бы расплылись по холодной подстилке и цепко обняли со всех сторон камень – только так и можно удержаться на губительном ветру. Концы же корней прячутся в глубине щелей, и кажется невероятным, как они без почвы спасаются зимою, в пятидесятиградусный мороз. Лиственница сгорбилась в три погибели, как от мучительной боли, ветки ее больше чем наполовину засохли, вершина сломалась, а там, где были сучья, чернеют дыры. В лютую зимнюю погоду из этих дыр старого дерева вырывается душераздирающий вой, одинокий и печальный, как сирена погибающего корабля. А посмотрите, как гордо держит над россыпью это одинокое дерево свою единственную зеленую ветку, обращенную к макушке гольца, будто призывает потомство к борьбе с мертвыми курумами, неумолимо надвигающимися сверху на лес.

Улукиткан устал. Рот открыт, на шее вздулись синие прожилки, грудь дышит часто, тяжело, но ноги еще передвигаются.

– Ую-ю… ую-ю… – все чаще вырывается из его уст звук изнеможения.

Становится просторней. Россыпи широкими полосами расчленяют и без того скудный растительный покров склона. Теперь перед нами тянутся заросли приземистых ив, обглоданных ветром, и мелкого ерника, чередующегося со стлаником. Уже начинаются прилавки, усыпанные щебнем глинистого сланца, с мочажинами и со снегом в чашинах.

Мы взбираемся на один из выступов, присаживаемся отдохнуть. Скоро полдень. В воздухе сырость. Ветер с диким посвистом мечется по склонам гольца. С востока наплывают тучи, заливая голубизну неба мутью. На дне ущелья копится белесый туман, клубясь в складках рельефа, и от него поднимается аркой радуга чудесной раскраски.

В строгом овале радуги виден южный край Станового. Улукиткан, сдвинув седеющие брови и сощурившись, прощупывает глазами складки гор. Ветер роется в его жестких волосах, губы шепчут что-то невнятное. Со дна ущелья, над которым мы находимся, доносится приглушенный туманом грохот водопадов.

На противоположной стороне ущелья высится гигантская скала в несколько сот метров. Ее стены, изъеденные зимними обвалами и отполированные до черноты, угрожающе нависают над узким провалом. Левее этой скалы, за крутой каменистой ложбиной, перехваченной тремя террасами, столпились другие скалы. Они, будто сбегая вниз по крутому склону хребта, столкнулись друг с другом, да так и застыли над пропастью.

И дальше на запад – все скалы и скалы, подступы к которым заплетены непролазным стлаником…

– Ты смотри сюда, – говорит Улукиткан, указывая крючковатым пальцем на скалы. – Там, однако, низкий перевал есть. Как думаешь?

Действительно, в том месте, куда показывает старик, заметна какая-то брешь в рельефе, но седловина ли это – рассмотреть трудно, надо подняться на вершину гольца.

– Ты узнаешь место? – спрашиваю я проводника.

– Нет, память дырявый стал, ничего не держит, только глазам верю. Думаю, там есть перевал.

– Еще немного поднимемся, увидим.

– Да, да, ходить надо, скоро ходить, однако, дождь будет, – беспокойно озираясь, говорит старик.

Подъем крутой. По россыпям. Улукиткан отстает, все чаще приседает отдохнуть и с тревогой прислушивается к ветру. Где-то за бесконечными грядами гор бушует Охотское море,

рождая непогоду. Я оглядываюсь: туман на дне ущелья вспучился, залил молочной гущей боковые лощины, поднимается на верх отрогов. Надо бы возвращаться, но вершина манит к себе…

Ветер усиливается. Облака заслоняют солнце. Хотя еще нет дождя, но лишайники уже напитались влагой, рвутся под ногами, обнажая скользкие корни, – того и гляди упадешь. Улукиткан по пути перевертывает камни.

– Для чего ты это делаешь? – спрашиваю.

– Так надо делать, когда идешь по новому месту, по россыпи, – отвечает старик.

– Примета, что ли, какая?

– Нет. Ты тоже так после будешь делать.

Нас торопит непогода. Ветер несет влажную пыль и холод. Снизу густой испариной давит туман. Небо свинцовое.

Мы выходим на последнюю террасу, за которой совсем близко пологие вершины гольца, заваленные обломками развалившихся скал. Улукиткан опускается на камень, коленки дрожат, голова безвольно падает на грудь, дыхание прерывается сухим кашлем.

– Ты подожди здесь, – говорю я проводнику, – я сам выйду наверх…

– Кажется, пришла старость, ходить не могу. Однако, тебе одному не надо, придет туман – горя наберешься. Маленько отдохнем, потом пойдем вместе. Я похожу еще! – закончил он уверенно.

Какая воля к жизни, к борьбе живет в этом хилом на вид старике! Какая непобедимость! Мне невольно вспоминается лиственница, упрямо вцепившаяся в скалу и горделиво нацелившаяся единственной зеленой веткой на вершину гольца!..

На западном горизонте дождь прикрыл мутной завесой Становой. Но в контуре ближних отрогов мы теперь хорошо видим глубокую седловину, замеченную стариком еще с прилавка.

Может быть, это и есть перевал?!

Однако подступы к нему и дно седла прячутся под плотным туманом. К сожалению, даже с этой высоты нам не удается взглянуть на вершину восточного истока – ее заслоняют гребни гольца, на котором мы находимся. Мы должны подняться на вершину, чтобы узнать, нет ли и тут прохода через водораздельную линию хребта.

– Идем, – тихо произносит Улукиткан. И встает.

Мы берем последний подъем. Мокрая нижняя рубашка липнет к спине. Ноги с трудом удерживаются на шатких камнях. Но у самой вершины крутизна вдруг переламывается. Идти легче, можно лавировать между каменных глыб, наваленных друг на друга.

Отяжелевшие тучи падают на горы, но ветер поднимает их, толкает дальше. Все же нам удается, хотя и ненадолго, опередить разгулявшуюся непогоду.

Как оказалось, голец, на который мы поднялись, не имеет отдельной вершины, он представляет собой изорванный гребень, сложенный все из тех же угловатых обломков скал и простирающийся вначале на восток, а затем круто поворачивающий почти на север. И там, где он сливается со Становым, заметно какое-то понижение главной линии хребта; есть ли это седловина, за которой пойдет спуск к Алданскому нагорью, угадать нельзя все из-за того же тумана.

Стоять наверху невозможно, ветер осатанел, рвет и мечет. Мы находим минутный приют под камнями. Намечаем план завтрашнего дня. Решаем со стариком прежде всего обследовать западную седловину, она как будто вселяет надежду. А Василий Николаевич с Геннадием направятся на вершину восточного истока определить, что это там за понижение рельефа.

Пока мы отдыхаем, голец захлестывается туманом.

Не собьемся ли мы с пути, возвращаясь в лагерь? В пяти шагах ничего не видно, куда ни обернись. Улукиткан уверенно идет впереди, наклонив голову, а мне кажется, что он уже сбился с нужного направления и увлекает меня в бездну какого-то таинственного мира.

– Однако, неладно идем, надо левее, – советую я старику.

Но он будто не слышит, не оглядывается, не отвечает. Я окончательно убеждаю себя, что мы спускаемся в боковое ущелье и можем попасть в такие трущобы, откуда непросто выбраться, и в тревоге кричу:

– Слышишь, Улукиткан, кажется, не туда идем!

Он вдруг останавливается, поворачивается ко мне и, тыча пальцем под ноги, говорит с досадой:

– Этот камень узнаешь? Его я перевернул, когда мы наверх шли. Понял? Улукиткан раньше думал, как нам не заблудиться в тумане… Вперед думать надо, потом рот открывать, а ты ни один примета не положил на своей тропе, а говоришь – не туда идем… Как можно? – сердится старик.

Безжалостно уничтоженный, я, чтобы успокоить старика, обнимаю его узкие плечи.

Перевернутый камень действительно заметен вблизи – даже сквозь туманную дымку, на светло-сером фоне россыпи, ибо нижняя его сторона, всегда спрятанная от солнца, темнее верхней. И все-таки нужен удивительный опыт и наблюдательность Улукиткана, чтобы безошибочно улавливать любое нарушение гармонии местности.

Спускаемся ниже. Туман не выпускает нас из своего плена. Ветер немилосердно хлещет дождем. Все на нас промокло до нитки, липнет к закоченевшему телу. Мимо проплывают толпы низкорослых деревьев, но Улукиткан ведет ниже, в ельник, и только там разжигает костер.

Какое блаженство огонь, да еще в такую мерзкую погоду, когда все на небе и на земле пропитано водою! Костер сразу рождает чувство соприкосновения с чем-то уютным, своим, будто ты к родному гнезду приблизился.

– Хорошо-о… – шепчут посиневшие губы старика.

Я достаю из котомки лепешку, отогреваю ее у костра. Как хорошо она пахнет; кажется, ничего нет на свете вкуснее этого подрумяненного пшеничного куска!

Даю половину лепешки Улукиткану, и мы молча жуем, наблюдая, как весело пляшет пламя костра. Огонь, как и свет, приманивает к себе все живое. Поползли к теплу букашки, откуда-то вылез жук-усач, чья-то пара любопытных глаз смотрит на нас из дупла соседней ели. Улукиткан откусывает крошечные дольки хлеба, долго жует, а в думах пестрой чередой проносятся, вероятно, воспоминания, навеянные костром.

Ветер затихает. Слабеет дождь. Мы покидаем гостеприимную ель.

…В лагере нас ждали горячий ужин, баня – жаркая, со стланиковым веником – и сон под пологом в спальном мешке…

…Раннее утро. Как быстро оно наступило!..

На темногрудых горбах Станового играют алые блики холодной зари. Одинокое облачко, легкое, пушистое, бежит навстречу солнцу по чистому голубому простору. Свежо, как всегда после ночной непогоды.

Вчера вечером не пришли к дымокурам два оленя, и это нарушило намеченный нами сегодняшний план. Василий Николаевич с проводником Николаем и собаками отправятся на поиски оленей, а Геннадий останется на таборе.

Мы с Улукитканом покидаем стоянку последними. У меня за плечами рюкзак с двухдневным запасом продовольствия, папка для гербария и топор с котелком. Старик идет налегке, только с берданой. Голубоватые туманы, разбуженные поднявшимся солнцем, копошатся на дне лощин и тают. Небо безоблачное, синее-синее. В чистом звонком воздухе – утренний птичий гомон.

Переходим вброд Зею. Как холодна ее вода в июне!

Поднимаемся по западному истоку.

Улукиткан часто останавливается и, склонив на посох грудь, подолгу всматривается в суровые черты склонов Станового. Его маленькие, быстрые, как у соболя, глаза ищут в складках мертвого великана что-то знакомое, давно потерянное памятью.

Забыл старик, где переходил с матерью и сестрой через Становой. Вот и шарит он глазами по складкам склона, напрягая притупленную временем память, стараясь угадать, где лежит этот единственный во всем районе проход. Но как его вспомнить среди тысячи перевалов, что лежали на пути Улукиткана?

Над нами зреет солнце. С вершины сползает свежий ветер и, разбиваясь о зубчатые громады откосов, растекается неровными волнами по ущелью. В воздухе комариный гул. После ненастной погоды гнус не дает дохнуть. И сколько же его здесь в лесу, особенно в мелких зарослях! Меня спасает волосяная сетка, но идти в ней душно, тем более на подъеме. Улукиткан не признает никаких защитных мер, кроме терпения. Голова его открыта, только лоб перехвачен тряпочкой, будто это у него единственное уязвимое место. Лицо облепляют комары, страшно смотреть, а он хоть бы что, идет и идет. И только изредка смахивает рукавом впившихся насекомых, а вернее, размазывает их по лицу.

– Улукиткан, да надень ты, ради бога, накомарник, ведь всего изъели! – говорю я.

– Мала-мала ничего, идти можно, – покорным детским голосом отвечает он.

Хребет вздымается перед нами лесной чащобой, щелистыми грудами камней, руинами развалившихся скал. Навстречу с невидимой высоты падает бешеными скачками холодный поток воды. Сколько шума, сколько необузданной силы в этом ручье, пропилившем узкую щель в монолитных стенах гранита.

Мы поднимаемся на небольшой прилавок, останавливаемся, чтобы осмотреться. Улукиткан неодобрительно качает головой, сомневается. То, что мы видим, с трудом может быть преодолено человеком, но совершенно недоступно для каравана. Что делать? Пытаемся подняться выше по ручью, авось найдем какую-нибудь лазейку и выберемся на верх седловины!

Карабкаемся между скользкими глыбами по дну щели. Здесь холодно и мрачно, как в подземелье. Все пропитано сыростью. С отвесных стен, полуприкрытых стлаником, вечно капает вода. Камни одеты слизью. И над всей этой неприглядной картиной висит гул неуемного потока. Где-то выше из теснины наплывает поток. Разбиваясь о шероховатую поверхность валунов, он вздымается над ними массой голубой воды. Облитая светом полуденного солнца, вода льет на стены, на лес каскады огня, блеска и с ревом падает в пропасть. Ей покорно вторят скалы.

Мы долго бьемся с крутизною, карабкаемся по склонам в обход водопадов и окончательно убеждаемся, что каравану здесь не пройти, а тем более геодезистам с тяжелыми инструментами.

Еще остается последняя надежда – найти проход на седловину по склону хребта, хотя ни я, ни Улукиткан в это уже не верим.

За щелью нас встречает лесная чаща. Что водопады, валуны по сравнению со стланиковыми зарослями, перемешанными с полярной березкой? По ней идти еще хуже, чем по щели, а местами можно передвигаться, только наступая на стелющиеся стволы, не касаясь земли. Но и здесь те же террасы, те же угловатые обломки скал и та же крутизна. Мы с трудом пробираемся вверх.

Для Станового и вообще для горных районов Приохотского края стланик, пожалуй, самое характерное дерево. Оно редко достигает четырехметровой высоты и растет в виде кустов, иногда покрывая склоны хребтов сплошными зарослями, совершенно недоступными ни человеку, ни зверю. В подгольцовой зоне, где стланику приходится выдерживать единоборство с суровым климатом, он мельчает, липнет к жесткой подстилке, недолговечен. Для путешественников стланик – самое неприятное препятствие: не везде по нему пройдешь, не всюду он тебя пропустит, даже с топором. А уж попал в эти заросли, то знай: поползешь и на четвереньках, и

на животе, и всяко, да изорвешь одежду и поранишься. Лучше обойти его, тем более на крутизне, да еще по крупной россыпи.

К полудню, измотав силы, заканчиваем восхождение, отказавшись от попытки найти для оленей проход к седловине. И вот, спускаясь в ущелье, неожиданно натыкаемся на торную медвежью тропу, идущую вверх. Звери – хорошие дорожные мастера и не раз выручали нас из беды. Они-то знают, где в скалах скрыта доступная щель, как обойти непролазные дебри, гари, где можно перейти вброд бурную реку. В самых трудных местах не надо лучшего прохода, чем тот, по которому идет звериная тропа. Доверься ей – и она поможет обойти препятствия.

Следует сказать, что медвежья тропа вообще не похожа на обычную звериную тропу. У нее нет сплошной борозды, как у той, а есть только глубокие вмятины – «пятна», расположенные на расстоянии шага друг от друга. Это подтверждает, что медведи на своих тропах ходят строго след в след, как волки, когда они сбиваются в стаи, и прокладывают эти тропы в труднопроходимых крепях, по карнизам скал, если через них идет единственный проход.

Улукиткан недоверчиво осматривает тропу, бросает молчаливый взгляд на террасу, куда она убежала. Кажется, он уже ни во что не верит.

– Пойдем по следу, да только перевал не тут, – бросает он, и в его тоне – безнадежность.

Мы идем по узкому гребешку, но выше тропа отклоняется влево, как бы обходя нависающую над нею террасу. Видим свежие отпечатки лап крупного медведя. И Улукиткан для бодрости вкладывает в бердану патрон, шагает неторопливо, настороженно.

Тропа тянется по узкой лощине террасы и снова набирает высоту. Нас это обнадеживает, и мы шагаем смело вперед. Но дальше все внезапно меняется, будто медведи решили показать, какие они акробаты. Тропа поднимается на прилавок, скачет по крупной россыпи, зарывается в щели и наконец уходит под стланик. Мы лезем под этот мрачный свод, нависающий над узкой промоиной, ползем на четвереньках, на животе, и наконец Улукиткан застревает между толстых корней, плюется, ругается.

– Только дурной люди да медведи тут ходи, – говорит он с досадой и ползет назад.

Я с облегчением следую за ним. Мы молча спускаемся под террасу и разводим костер, закусываем.

Солнце давно убежало за полдень. Над Становым, над бескрайним океаном тайги, в чистой лазури неба плывут редкие облака. В неподвижном воздухе, насыщенном запахом кедровой хвои, висит комариный гул да издалека доносится несмолкающий рокот водопадов. Ветерок бежит мимо, шевеля дремлющие кроны стлаников. Хорошо на этой черной крошечной вершине гребня. Но время напоминает: нужно торопиться.

– Куда же мы пойдем? – спрашиваю я старика, будучи далеко не уверен, что он еще в состоянии передвигаться.

Улукиткан глядит на солнце, на горизонт, как бы прикидывая, сколько еще времени осталось до заката, смотрит на хорошо виднеющийся перешеек в вершине истока и, показывая на него, говорит уверенно:

– Туда пойдем, а завтра подниматься будем на голец, хорошо смотреть кругом надо… Вспоминать надо!..

Мы спускаемся в ущелье и, свернув вправо, поднимаемся на второе седло, куда идет звериная тропа. Предстоит ночевка где-то за перешейком. Хочется сегодня подняться как можно выше. Я с тревогой слежу за стариком. Но он идет и еще что-то напевает себе под нос.

– Ты что поешь?

– Так, всяко-разно, что голова моя не знает, куда ноги идут, что свой след не могу найти, что старый стал, как гнилой пень…

– Давай вместе петь, может быть, легче будет.

– Два человека, даже если живут в одном чуме, едят из одного котла, ходят по одной тропе, думают все равно разно; как можно вместе петь?! – отвечает он. – Нет, ты пой свой песня, я – свой.

Перед нами крутой склон гольца, весь в трещинах, убегающий щербатыми гребнями в неведомую за изломом высоту.

– Ую… ю-ю… – стонет устало старик, но идет и идет.

В синеющем небе черными лоскутами парят два хищника. Они поднимаются все выше и выше, как бы не желая расстаться с солнцем, и оттуда бросают на землю печальный крик, оповещая жителей гор о надвигающейся ночи. Все стало стихать, куда-то на ночевку убрались кедровки, исчезли бурундуки, не осталось гнуса. Еще последние усилия, и я помогаю старику подняться на верх террасы.

Нас приютила крошечная площадка над обрывом, окруженная стлаником. Пока Улукиткан отдыхает, я таскаю сушник, приношу воду для чая, разжигаю костер. Внизу засыпает тайга. Музыка природы, только что наполнявшая пространство величавых гор, смолкла в высоком комарином аккорде.

Гаснет лиловая заря, небо теплится звездами.

Старик устал, помрачнел, какое-то раздумье занозой застряло в его голове.

– Может быть, нам, Улукиткан, вернуться утром в лагерь? Тебе плохо?

Он отрицательно качает головою.

После чая я делаю ему постель из стланиковых веток, заслон от ветра, и старик быстро засыпает, свернувшись в комочек и прикрыв спину телогрейкой.

Я долго сидел за дневником. Последние дни моя тетрадь собрала богатую дань. В непрерывных походах у меня почти нет свободного времени для записей, и нужно быть беспощадным к себе, чтобы урывать для них часы от своего отдыха, и без того слишком короткого. Но что все это по сравнению с тем огромным удовлетворением, которое испытываешь спустя годы, когда в кругу близких друзей прочтешь эти страницы и перед тобою, как наяву, возникнут тяжелые взмахи Станового, развалины древних скал, стойбище лесных кочевников со столетней старушкой; Осикта с кабарожкой за плечами, задумавшийся Улукиткан… Все снова воскреснет – и как дороги будут тогда эти карандашные записи, что рождаются с таким трудом!

Полночь. Холодное безмолвие. Дремлют каменные сторожа. Спят в лесной чащобе птицы, звери. В лунном свете теплятся бесконтурные дали. Сколько свежести, сколько красок, какие нежные оттенки живут в ночном пейзаже! Кто подбирал эти тончайшие цвета, кто мешал их и, наконец, кто с таким тонким вкусом прикрыл их дымчато-голубоватой вуалью? Нужна необыкновенная кисть или язык для передачи этой неповторимой ночной картины, созданной величайшей мастерицей – природой!

Перед сном я еще выпил кружку чая. Рядом спит Улукиткан, с его головы сползла шапка, грудь нараспашку, голые ноги заиндевели. Старик улыбается, на лице детский покой. Бедняжка, ему, наверное, приснился жирный кусок мяса снежного барана, о котором он давно мечтает. Ну спи, друг мой, спи, пусть пир твой длится всю ночь!

Перед утром я пробудился от холода. Ветер, пробегая по склонам, теребит стланиковую чащу. Улукиткан пьет чай и подкармливает огонь сушником. Что-то новое в его посвежевшем лице, в его теплом обещающем взгляде. Неужели он вспомнил, где скрыт проход через хребет? Иначе что могло обрадовать старика?

– Надо скоро кушать и ходи… Тут, может, наша удача, – говорит он, поторапливая меня.

– Думаешь, найдем перевал?

– Обязательно!.. Я хороший сон видел, он не обманет.

– Какой же именно?

– Наши старики говорили: давно-давно Харги украл у эвенков их счастье и спрятал тут, где-то на Становом, в скалах. Сильные люди не могли терпеть обиды, ходили к скалам, хотели

отнимать свое счастье, да никто назад не вернулся. Одни говорили, будто его Харги положил в пасть большого зверя и оттуда достать нельзя. Другие думали, что он спрятал его в болоте под скалой. Однако точно никто не знал, где оно лежит. И вот снится мне, я тоже хожу по горам, ищу счастье. Вижу: высокий скала, выше неба, под ней ровное место и цветы всякие разные, шибко красивые, раньше такой не видал. Догадался, что это и есть счастье. Беру один, а он каменный, тяжелый. Кладу в котомку. Смотрю, откуда-то птица большой появился, стала кружиться возле меня. Надо бы уходить, да, думаю, еще один цветок положу, людям шибко надо счастье. Беру его – и тут же еще одна птица прилетела. Оба серчают на меня, бросаются, хотят ударить. А я не ухожу, надо, думаю, больше счастья взять, пусть люди хорошо живут. Кладу в котомку третий цветок и четвертый уже поднял, тут налетели на меня птицы, свалили на землю, больно били крыльями и расклевали все цветы в котомке, а четвертого, что был в руках, не увидели, так я и унес его с собой… Хороший сон, наше счастье где-то тут, близко…

– Ты веришь в сны?..

– Как не верить, если они правду говорят!

Конечно, меня его сон не обнадеживает, но я рад за старика. Пусть верит, это придаст ему силы и, возможно, поможет найти перевал.

Мы пьем чай с горячими лепешками и покидаем стоянку. С востока наплывает заря, гасит звезды… Но еще крепко спит тайга, обласканная ночной прохладой, еще не слышно пернатых музыкантов, еще не поднялся на крыло комар – день начинается глубоким молчанием.

Впереди крутизна. День обещает быть солнечным, тихим. Как легко дышится на этой высоте! Воздух насыщен необыкновенной сладостью, буквально упиваешься им и чувствуешь, как он проникает в кровь, разливается по телу бодрящей струей. Не дышишь им, а глотаешь его, как ключевую воду. А то вдруг ветерок дунет на тебя такой свежестью, что невольно остановишься и оглянешься – не дыхание ли это теплого моря?

Поднимаемся по гребню, заваленному крупными обломками скал. Каменные столбы, точно истуканы, возвышаются над развалинами. Какому страшному разрушению подвергся хребет, вернее, его южный склон! Но создается впечатление, будто эта грандиозная работа не была доведена до конца, что-то помешало намеченному плану. Часть скал осталась нетронутой. Они теперь возвышаются над обломками, как бастионы, преграждая нам путь к вершине. Какие сложные обходы приходится нам делать, чтобы отнять у склона лишний метр высоты!

С нами поднимаются ввысь разрозненные толпы стлаников. Уже недалеко и их граница. Лепятся по склону приземистые белолистые ивки, мелкий ерник, золотистые рододендроны. Сюда, на простор, к вечным туманам, выползли лишайники, осочки, папоротники и даже лук. А вот елочка, будто в страшном испуге прижавшаяся к земле. Все они здесь живут только под защитой камней. Своим существованием они обязаны ветру, птицам и зверям. Это они заносят сюда, в гольцовую зону гор, их семена.

Но посмотрите, какую борьбу за существование выдерживают здесь представители растительного мира и какая чудовищная приспособленность у этих удивительно скромных жителей россыпей. Ивки, рододендроны, ерники местами растут сообща, компактно, словно в драке, вцепившись друг в друга и прижавшись к земле. Они не смеют высунуть веточки за границу каменного барьера, под которым поселились, – там смертоносная стужа. Вот почему кустарники эти чаще всего имеют вид подстриженных шпалер.

Здесь, на гольцах Станового, можно наблюдать разительную картину борьбы. Вот передо мною елочка. Я ее узнаю только по хвое. Она будто в страшном испуге прижалась к земле и прикрыла уродливый ствол жесткими веточками. В высоту она поднимается всего лишь на двадцать сантиметров, ровно на столько, на сколько поднимается грань камня, защищающего ее от ветра. В длину эта елка растянулась по земле метра на два. В таком положении ее даже трудно заметить. Ветер все вокруг не облизал, обточил, но достать затаившееся за камнем деревце не может. И елка живет, да еще силится продвинуть свою полузасохшую вершину под

соседний камень. Смотришь на нее – и создается впечатление, будто это разведчик пробирается тайком в глубину мертвых курумов.

И все же эти жалкие, уродливые представители растительного мира не смягчают своим присутствием сурового облика гор. На всем лежит печать бесплодия и беспощадной стужи.

Улукиткан устает.

– Мяса нет, сала тоже нет, – жалуется он. – Пока под кресало не подбросишь камень – огня не будет. Не могу ходи.

– Вот уж перевал найдем, непременно поохотимся на баранов.

– Конечно, перевал найдем, обязательно, – раздраженно заявляет он. – Только без мяса брюху худо, ноги ходи не могу, – добавляет он.

Мне мучительно жаль старика.

– Ты останься здесь, а я поднимусь на вершину, осмотрюсь.

– Что ты, что ты, обязательно сам ходить буду. Чужой глаз как узнает место?

Трудно старику примириться со своей физической немощностью.

– Давай бердану, я понесу ее…

– Э-э-э… – тянет он печально. – Старый люди все равно что маленький, помогать надо, а то упадет. – И Улукиткан передает мне ружье.

Но и это не помогает, через каждые двадцать шагов делаем передышку. Ничего не остается, как снять пояс, дать один конец Улукиткану, а другой перекинуть через свое плечо и так тянуть старика наверх.

Но тут нас поджидало горькое разочарование: мы поднялись всего лишь на боковую вершину, а главная, с выщербленным конусом, возвышается еще впереди. К ней ведет узкий гребень, заваленный обломками и снегом. Улукиткан, собрав остатки сил, вдруг выпрямляется, смотрит вперед, и его лицо от досады перекашивается. Ноги старика не выдерживают, подламываются, и он безвольно опускается на россыпь, а выпавший из рук посох катится вниз, но, к счастью, застревает между двумя небольшими выступами.

Я постилаю свою телогрейку под камнем, усаживаю на нее обессилевшего Улукиткана и сам сажусь рядом. Мы молчим. Жаль старика, жаль потому, что в нем живет вечно юная душа, любящая жизнь, способная тонко чувствовать и понимать природу.

– Стар я, совсем стар, даже на гору ходи не могу… – произносит он дрогнувшим голосом и, откинув назад голову, смотрит влажными глазами в пустое небо; одна скорбная слезинка выкатилась наружу, пробежала по обветренной щеке и застряла в глубокой морщине. Мне почему-то показалось, что эта слеза и есть та самая капля, что переполнила море…

Мы жуем лепешку. К старику постепенно возвращается бодрость духа. Он снова говорит о сне, убеждает меня, что перевал непременно найдем.

До вершины – метров четыреста крутого подъема. Как я ни уговариваю старика, он все же хочет идти со мною. Тут уж сказалось его упрямство, желание доказать себе и мне, что еще не все потеряно.

Идем не торопясь, с частыми передышками. На карнизы старик взбирается с моей помощью. Уже остается метров полтораста, как вдруг справа вырывается нестройный стук камней и, не смолкая, ползет вверх. Вот что-то серое мелькнуло в просвете на вершине, за ним второе, третье. Это снежные бараны. Последний, выскочив наверх, задержался над обрывом, повернув к нам настороженную голову. Один короткий миг – и пугливое животное исчезает.

Эта мимолетная сцена взволновала нас. Значит, мы не одни здесь, среди каменистых потоков.

Еще усилие – и мы на вершине. На часах без десяти одиннадцать. Наконец-то сбылась давняя мечта увидеть под собою Становой во всей его суровой красоте, во всей его первозданной дикости. От радости хочется взорвать таким же диким криком тишину этих мест.

Я сбрасываю котомку, усаживаюсь на камне, достаю тетрадь, но внимание мое по-прежнему привлекает старик.

Улукиткан подходит к краю обрыва да так и замирает, тоже пораженный грандиозной панорамой. Молчаливым старческим взглядом он обнимает лежащее под ним пространство. Может быть, старик не умеет вслух разложить на цвета красочный пейзаж, нарисовать величественные скалы, чудовищные провалы и весь этот хаос, но он, кажется, слышит дыхание самой природы. Долго-долго стоит он молча. Я не нарушаю его глубокого раздумья.

– Там… вон там – Альгома, моя родина, – наконец произносит он, показывая пальцем на северо-запад. – С тех пор, как я ушел оттуда, много раз покрывались льдом и таяли реки, зеленела тайга, прилетали и улетали птицы, линяли звери. А сердцу все равно больно, когда думаю об Альгоме. Правду старики говорили: птица как далеко ни летает, а свое гнездо не забывает. – И он долго всматривается в синеющие гряды гольцов, а в думах, должно быть, отрывки безотрадного детства, пустая Альгоминская тайга, что прячется за далью, больной отец, брошенный у последнего костра, где-то вот тут, близко, в глубоких складках Станового.

Ветер стал затихать. Улукиткан приседает за камень и продолжает осматривать горы, пытаясь среди нагромождений угадать проход.

Мы находимся на одной из главных вершин Станового. Перед нами расстилается необозримая горная страна, затянутая мглистой голубоватой дымкой и усеянная то конусообразными, то сплюснутыми вершинами или грузными обрубками обнаженных пород. Хребет тянется с запада на восток, отбрасывая далеко к югу волнистые отроги. Алданское же нагорье скрыто далью. Перед нами – царство ветров и неумолимой стужи. Немой мир гигантских горбов планеты.

Я заглядываю с обрыва вниз. Исполинские стены, спадающие на дно провала, заершились бесчисленными шпилями, обращенными остриями к небу. Под ними глыбы развалившихся скал. А ниже потоки россыпей. И только далеко внизу, где в смертной схватке сцепился лес с камнями, взор ласкает светлая полоска ручейка, спадающего по карнизам верхней террасы куда-то в пропасть. Больше ничего не видно.

Но какие неисчерпаемые склады драгоценных металлов, какие сокровища скрыты под этими каменными нагромождениями! Люди, для которых мы прокладываем сюда первую тропу, для которых составим первую карту, промоют наносные речные пески, внимательно осмотрят остатки в виде мельчайших крупинок, принесенных с гор водою, – следы драгоценных металлов. Эти люди, словно опытные врачи, выстукают скалы, обследуют дно провалов, проложат шурфы. Затем прорубят в непроходимых местах тракты, по которым пойдут груженые машины, техника.

С вершины, на которой находимся, не видно седловины, куда нам хотелось попасть: ее заслоняет боковая гряда гольцов. За ней виднеются далекие горы. Это дает основание предполагать, что между грядой и далекими горами лежит глубокая впадина, может быть, самая пониженная часть хребта. Как жаль, что на нее нельзя взобраться с караваном.

На север от нас тянутся бесчисленные ущелья – по ним с бешеной высоты падают ключи – истоки рек, текущих уже к Алданскому нагорью. Над ущельями громоздятся высоченные гольцы, образующие далекий горизонт и сохраняющие на всем видимом пространстве значительную высоту. С первого же взгляда напрашивается вывод, что водораздельная линия Станового в этом районе проходит у южного края хребта и что реки, берущие свое начало с северных склонов, глубоко врезаются в хребет, расчленяя его своими притоками на многочисленные отроги. Оказывается, вся дикость и недоступность гор начинается непосредственно от водораздельной линии. Может быть, тщательно обследовав южные склоны, мы все же найдем перевал, поднимемся на него с караваном, но пропустят ли нас ущелья к нагорью?

Ко мне подходит Улукиткан:

– Тут близко нет прохода, это место мои глаза никогда не видели.

– Меня смущает и другое: слишком узкое ущелье идет от хребта на север к Алданскому нагорью, пройдем ли по нему?

Старик долго молчал, прощупывая острым взглядом глубокую щель.

– Нас люди много, пройдем, – ответил он, явно стараясь рассеять мое сомнение.

– Ну а если не найдем перевал?

– Говорю, сон не обманет. Может, ты скажешь, почему птицы три цветка расклевали, а четвертый оставили? К чему это?

– Не знаю.

– Цветок обязательно к счастью, – заключил он уверенно.

Мы начинаем готовиться в обратный путь. В душе таится маленькая надежда – авось сон сбудется. И сам уже начинаю быть суеверным! Я подхожу к краю обрыва, чтобы последний раз взглянуть в глубину провала, и неожиданно обнаруживаю несколько шариков помета. Не веря глазам, говорю Улукиткану:

– Смотри-ка!

Он удивляется не меньше меня:

– Муникан[45], зачем он сюда ходи?

Действительно, что привело сюда зайца, на такую высоту, так далеко от родного ущелья, где он живет? Не хищная ли птица занесла его сюда, чтобы пообедать? Мы задерживаемся. Все это загадочно, даже для такого следопыта, как Улукиткан. Кто мог думать, что встретит здесь, в поднебесье, среди каменных громад, следы зайца?

Я спускаюсь ниже и там нахожу на снегу двойной след, значит заяц добровольно поднялся на голец и ушел восвояси по северному гребню в ущелье. Больше нам ничего не удалось обнаружить. Для чего же нужно было ему преодолевать такую крутизну, стланиковые заросли, россыпи, если здесь, на вершине, нет и щепотки зелени или чего-нибудь съедобного?

– Однако, он дурной, а может, экспедиция работает, сюда ходи мало-мало чего-нибудь смотри, как и мы, – шутит старик.

А я подумал: «Как все же мы мало знаем жизнь зверей, их повадки, их связь с окружающим миром, и не ограничиваемся ли мы зачастую слишком простыми формулами, дошедшими до нас от времени Брема! Может быть, в натуре этого четвероногого трусишки-зайца живет беспокойный бродяга? Не взобрался ли он на вершину, чтобы полюбоваться широкой панорамой, просторным небом?»

Время перевалило за полдень, когда мы спустились к границе леса. Ветер стих. С востока придвинулись кучевые облака и загромоздили небо, а у горизонта нависла сплошная пелена, имеющая зловеще-темный оттенок. Улукиткан с тревогой поглядывает на взбунтовавшиеся тучи и явно торопится. Солнце еще удерживало за собой треть неба.

Миновав двугорбую седловину, мы спускаемся к правому истоку Зеи. Хорошо заметная звериная тропка ведет нас по густому ельнику, убранному длинными космами свисающих с крон лишайников. Улукиткан замечает свежий след кабарги.

– Сейчас пикать буду, может, самец придет, мясо достанем.

Мы подходим к толстой ели и под ней останавливаемся. Старик снимает с плеча бердану, достает из кожаной сумочки патрон, заряженный крупной пулькой, и не торопясь вкладывает его в ружье. Из внутреннего кармана телогрейки он вынимает пикульку – несложный инструмент для подражания голосу телка кабарги. Она сделана из березовой коры, а по форме и по размерам напоминает сплюснутый наперсток с разрезом по овалу и одной стороне. (Осикта тоже в тот раз добыл кабаргу таким же способом – Улукиткан потом разъяснил мне это.)

Он подает мне знак затаиться, кладет пикульку в рот прямым срезом наружу и прижимает ее языком к небу.

---

[45] *Муникан* – заяц.

– Пи-пи… пи-ии… – раздается тягучий звук высокого тона и расползается внезапной тревогой по ельнику. Его подхватывает эхо, несет дальше по склонам, в глубину расщелин. – Пи-и… пи-ии… – повторяет старик и замирает, прижавшись спиной к корявому стволу, держа бердану наготове.

Лес вдруг переполняется какими-то таинственными шорохами, а вывернутые корни упавших деревьев, обросшие мхом, кажутся чудовищами, наблюдающими за нами из сумрака.

Старик через две-три минуты повторяет свой жалобный призыв. Именно так кричат оставленные матерью телята кабарги, если с ними стрясется какая-нибудь беда. Вот мы и ждем, надеясь, что на крик прибежит самец. Кажется, сейчас из-за валежника выдвинется его морда и, выскочив на тропу, он застынет на мгновенье, а старик успеет прицелиться. В самку Улукиткан, конечно, стрелять не будет.

– Пи-ии… пи-ии… – расползается по лесу крик, не отличимый от крика теленка. Неужели поблизости никого нет? И еще более томительным кажется ожидание: уж очень хочется посмотреть на живую кабаргу. Но вдруг чуткое ухо улавливает где-то внизу легкий шорох, в другое время его, пожалуй, и не уловил бы, но при этой напряженности ничто не ускользает. Улукиткан подает мне знак не шевелиться, а сам поднимает бердану, пристраивает ее к плечу, смотрит влево на тропу, ждет, затаившись. Вдруг слева, где тропка огибает огромный камень, вздрагивает ольховый куст, раздваивается, и показывается огромная голова… медведя!.. Пока мы приходим в себя, зверь высовывается всей своей облезлой тушей на тропу, сбочив голову, прислушивается, нюхает воздух, знает, что где-то близко теленок, и тихо крадется к нам.

Словно молния, меня поражает страшная мысль: в бердане Улукиткана патрон с осечкой и заряд совсем маленький, с круглой пулькой, ею только разозлишь медведя. Горько сожалею, что нет со мною карабина. Какой у этого зверя огромный череп и как бы он украсил мою коллекцию! Все это проносится в голове мгновенно, с нарастающей тревогой. А медведь совсем близко, поднимается к нам по тропе, то осторожно вышагивая, то замирает, пытаясь разгадать, где затаилась добыча. И кажется, пошевелись, и он мгновенно накроет тебя.

Я глубоко убежден, что в открытом поединке медведь не посмеет напасть на человека, даже больше: достаточно ему уловить его запах, как он немедленно обратится в бегство. И все же при неожиданной встрече с таким огромным зверем, да еще если у тебя, кроме посоха, ничего нет в руках, невольно по телу пробегает холодок. Тут уж надо уметь собрать всего себя, чтобы не растеряться.

Вот медведь совсем уже близко от нас, остановился, прядет короткими ушами, видно, понять не может, почему теленок не кричит. В его приземистой фигуре, коротких, чуточку вывернутых наружу передних ногах, в низко опущенной голове – чудовищная сила. Как он уверен в себе! И от этого у меня сердце бьется часто-часто. Мне ничего не остается, как ждать, доверившись Улукиткану. Перевожу свой взгляд на него. Старик спокоен, лицо его непроницаемо. Вдруг его осеняет какая-то мысль, и улыбка раздвигает губы. Подумать только, ему еще смешно!

А в это время зверь, обходя ели, скрывается в чаще. Старик опускает бердану, торопливо достает из сумочки два патрона. Я, еще более обеспокоенный, принужден молчаливо ждать, чем все это кончится.

Еле уловимым движением Улукиткан бросает один патрон вниз, в медведя. Патрон перелетает его, глухо ударяется о камень. Зверь мгновенно замирает. Он обескуражен, настороженно ждет, не понимая, что это за звук, но на всякий случай спружинил спину, готовый прыжком накрыть жертву. Подними медведь свою лобастую морду кверху, он, конечно, заметил бы нас. А старик бросает в него второй патрон, тот падает на тропу, и зверь, тяжело подпрыгнув, накрывает его передними лапами, как лиса – мышь. Но вдруг он улавливает запах человека, что-то страшное отражается на его морде. Одно мгновение – и будто какая-то адская сила тол-

кает медведя на камни. Зверь упал, рявкнул, вскочил и, охваченный паникой, уже не разбираясь, что впереди, рванулся сквозь чащу на дно ущелья. Следом за ним катился, затихая, треск сломанных веток.

– Ух… ух… ух… – доносится снизу медвежья жалоба.

Улукиткан обнял корявый ствол ели, места не найдет, смеется от всей души и что-то кричит вслед зверю на своем языке. Да и как тут не рассмеяться! Надо же было придумать такую шутку!

– Как прыгал, видал? Все равно что его кто ножом ткнул… Большой медведь, шибко большой, а испугался, даже упал. – И старик снова громко смеется.

Так неожиданно заканчивается наша охота на кабаргу.

Спускаемся на дно ущелья. За величавыми вершинами лиственниц, за гранью скал хлещет полотнищами дождь. Ветер в вышине гонит взлохмаченные тучи. Тайга гудит, чуя непогоду. Мы заторопились, чтобы успеть добраться до лагеря.

Утром перед нами снова встал все тот же вопрос: где искать перевал? Горы по-прежнему кажутся недоступными, а на седловины, которые мы обнаружили в вершинах истоков, не подняться с караваном. И все-таки где-то тут Улукиткан переходил Становой…

Я достаю карту масштаба 1:1 000 000. Она издана в 1927 году и составлена частично по рекогносцировочным данным, а больше – по рассказам охотников и, конечно, далеко не соответствует действительности. К тому же масштаб карты настолько мелкий, что на ней изображены только основные русла рек, и то приблизительно. Она нередко подводила нас, и мы уже давно ею не пользовались. Да в этом и не было надобности при таком проводнике, как Улукиткан. На карте из всех истоков Зеи нанесен только один, названный Тас-Балаган.

Когда я вслух прочел это название, сидевшие у костра проводники вдруг повернулись ко мне.

– Ты что сказал? – спросил Улукиткан.

– Вот здесь на карте указан только один ключик – Тас-Балаган.

Старик встал, потом снова сел и долго смотрел на карту, ничего не понимая.

– Это мой Тас-Балаган, другой люди тут не жил! – в необычном для него возбуждении вскричал он.

– А что означает это слово?

– Каменный балаган. Где он тут? Покажи.

Он привык ощущать зримо, натурально, в естественном освещении, а тут огромная горная территория изображена на площади, которую можно прикрыть спичечной коробкой.

– Такой ключ есть километра два-три отсюда, только по нему не пройти, – вмешался в разговор Василий Николаевич.

Улукиткан задумался: где-то близко почти семьдесят лет назад он с матерью и сестрою сложил этот балаган! Кто-то из топографов, делая первый абрис этой местности, назвал ключ или весь исток Тас-Балаган.

Как жаль, что я не знал до сих пор значение этого слова, может быть, это помогло бы нам скорее найти проход.

– Ходи надо, хорошо смотри надо. Ты пойдешь со мною? – вдруг спросил меня Улукиткан, загораясь надеждой.

– Пойду.

– Тогда торопись, чай пьем – ходи будем.

– А мне с Лихановым разрешите подняться на голец, может, барана добудем, – попросил Василий Николаевич. – Без мяса ноги еле носишь.

Я не возражал, тем более что нам давно пора было подумать о пополнении поскудевших продовольственных запасов.

IV

Тайна старой ели. Проводник узнает местность. Улукиткан покидает наш табор. На подъеме к перевалу. Снова у нас радость! Неприятная радиограмма

Мы с Улукитканом уходим первыми. Он – налегке, но с берданой. У меня за плечами карабин и рюкзак с лепешками, котелком, кружками.

День начинается погожим утром. С неба льется благодать – золотая, горячая. Пробудились птицы, букашки, на перекатах веселее зазвенел хрусталь реки.

Идем по левому берегу восточного истока, сжатого крутыми обрывистыми склонами. С шумом он проносится мимо, рассыпается белыми кипящими каскадами. То справа, то слева чередуются оголенные утесы, и нам часто приходится переходить реку вброд.

Вскоре русло круто поворачивает на север, и мы видим ту самую гигантскую скалу, которой любовались с гольца три дня назад. Отсюда она кажется еще более могущественной, еще более мрачной. Сколько понадобилось тысячелетий или миллионов лет, чтобы вырезать в сплошном массиве и отточить с двух сторон такое чудовище!

За крутой излучиной в русле стали попадаться обломки белого мрамора. Они, будто огромные хлопья снега, виднеются сквозь прозрачную воду истока. Неожиданно выходим к водопаду. Какое чудесное зрелище! Представьте себе русло реки, перехваченное отвесной мраморной стеною. Вода, падая сверху тугой скользящей струей, разбивается вдребезги о белые обломки и снова поднимается ввысь столбами радужной пыли, чтобы повторить свое чудесное падение. В изумительной белизне мрамора, в хрустально-чистой воде, в звонких брызгах купаются лучи горячего солнца. Сколько тут света, ярких красок и как удачно все они мешаются.

Добавьте к этому еще голубое небо, темные откосы скал, ярко-зеленый береговой брусничник, окаймляющий белизну пышным бордюром…

Но за водопадом снова нас окружает угрюмая природа. Улукиткан часто останавливается, осматривает все, оглядывается, но тщетно: ничто не напоминает ему место, где когда-то сложил он каменный балаган.

У ручья мы задерживаемся.

Усевшись на камнях, старик стал перематывать на олочах ремешки.

Ручей ворчит, будто на кого-то гневаясь, сползает по шероховатому дну глубокого каньона. Над ним нависает чаща, дыбятся кривобокие лиственницы и стоят поодаль утесы-сторожа. Стланиковые крепи надежно заслонили проход и прикрыли густым сплетением стволов. Буйная лесная поросль карабкается по уступам боковых склонов до карнизов, широкими зелеными волнами перехлестывая через границу видимого излома.

– Будем тут искать, – говорит Улукиткан.

Пытаемся подняться по руслу ключа. Как он извивается, глубоко врезаясь в монолитную стену откоса! Нам приходится тратить много усилий, чтобы пробираться по узкой щели между огромными глыбами, пролезать под ними или карабкаться на их отполированную поверхность. Ручей скачет с невидимой высоты, то разбиваясь о выступы скал, то зарываясь в разноцветную щебенку, то снова появляясь, чтобы совершить гигантский прыжок вниз. Стены потные. С нависающих над щелью кустарников капает вода. Камни покрыты слизью. Да и сам воздух пропитан промозглой сыростью.

Мы упрямо продвигаемся вперед, хотя и очень медленно и очень тяжело. Чаще стали попадаться водопады. Вот и совсем не осталось прохода, и мы вынуждены выбраться наверх. Теперь нас окружает густой непролазный стланик, прикрывающий крупную россыпь. Стволы так густо переплетены, что даже лиственницам здесь негде поселиться, и они, чтобы прорваться вперед, обходят заросли высоко по склону.

С чувством какой-то неуверенности, почти слепо, мы погружаемся в это огромное море задыхающейся растительности, способной в короткое время измотать силы человека, изорвать одежду, привести его в отчаяние.

И все же мы, шаг за шагом, поднимаемся выше и выше. Сам себе удивляешься, как согласованно работают ноги и руки. Да и не так уж плохо передвигаться по переплетенным стволам на четвереньках. Правда, это очень утомительно, но не безнадежно.

На первой прогалине мы остановились передохнуть. Каравану по нашему следу ни за что не пройти, но нас обнадеживает другое: расщелина, что прилегает непосредственно к гигантской скале, по крутизне доступна оленям, если, конечно, прорубить проход сквозь стланиковую чащу, и наша сейчас цель – идти вперед до тех пор, пока не наткнемся на непреодолимые препятствия или не достигнем вершины ключа, а возможно, и водораздельной линии Станового.

Снова проделываем сложные упражнения на стланике. Солнце высоко, тепло. Природа нежится в пахучей зелени и звуках. Глаза радуют бездонная синева неба и южные дали, повитые тончайшей лазоревой дымкой.

Еще час мы боремся с чащей. Но вот она стала редеть, появились пятна ягеля, и неожиданно кончилась крутизна. Мы оказались на верху первой террасы и удивились, увидев перед собою почти ровную местность, пересекающую всю расщелину шириною чуть ли не в два километра. За ней виднелась вторая терраса, прикрытая густым зеленым лесом. Уж никак мы не рассчитывали увидеть здесь такой красивый уголок. Сразу за краем стланика начинается бугристая марь, прикрытая волнистым бледно-желтым лишайником. За ней тайга – густая и пышная! Темные ели, белоствольные березы, угрюмые лиственницы, и, как ни странно, тут же целым полчищем живут стройные осины! Такое смешение редко здесь встречается. Но самое главное – впереди уже нет сплошных стланиковых зарослей, и это радует нас.

Мы вышли к краю мари, остановились. Улукиткан внимательно осмотрел местность.

– Смотри, шибко хороший ягель. Если когда-нибудь это место ходил люди, они непременно тут кормили оленей. – Он задумывается. – Скажи, где бы ты стал табором? – И, не дожидаясь ответа, продолжает: – Вон внизу, видишь, толстый ель, под ней чистый место, сухо, там бы я ночевал.

– А для чего это тебе?

Он удивленно посмотрел на меня:

– Человек, как бы далеко ни ходил, а след от него не отступает. Говорю, если ходил когда-нибудь сюда люди с оленями, они там под елью ночевали или обедали. А ты как думаешь?

– Я бы тоже там остановился. Пойдем посмотрим.

Мы подошли к краю леса, где стояла эта толстая ель, гостеприимно склонившая перед нами свою темную крону. Под ней лежала толстым слоем осыпающаяся годами хвоя, а рядом пластом зеленый мох – вот и все, что мог заметить глаз. Но я заранее внимательно приглядываюсь ко всему, хочется в наблюдательности не уступить старику. Однако тут не оказалось ни пней, ни старых затесов, ни брошенных палок от чумов, ни остатков огнища, и я тороплюсь сделать вывод:

– Видно, эвенки никогда здесь не переходили Становой, иначе они действительно должны были бы остановиться под елью, чтобы покормить оленей.

Но Улукиткан будто и не слышал моих слов, он не умел так быстро решать задачи. Как оказалось, его малюсенькие, но быстрые глаза искали не прямых доказательств пребывания здесь людей, а каких-то непонятных для меня нарушений общей гармонии местности.

Прежде всего Улукиткан обратил внимание на бугорок под мхом, рядом с елью. Он был чуть заметен и по форме ничем не отличался от тысячи бугорков на марях.

Я подошел к старику и помог ему содрать мох. Под ним оказались два продолговатых камня, положенных на расстоянии полуметра друг от друга. Старик улыбнулся.

– Видишь? – сказал он, обрадованный.

– Вижу. Камни.

– Камни-то камни, однако, близко таких нет, их носил люди, – убежденно говорит старик.

Я смотрю на них и сверху, и с боков, но, хоть убей, ничего не могу подметить – обыкновенные камни, необтесанные. А сам думаю: хорошо бы на этот раз мне ошибиться. Улукиткан безнадежно качает головой и, не говоря ни слова, продолжает свое обследование. Мне ничего не остается, как наблюдать за ним. Наконец он подходит к ели, и снова улыбка освещает его лицо.

– Иди, смотри и думай, как это получилось, – говорит старик, ткнув в нарост на стволе ели примерно на высоте немного меньше двух метров от земли.

Нарост продолговатый, напоминает сжатые губы и еле заметен на стволе.

– Тут была какая-то рана, со временем кора затянула ее. Ты думаешь, ее сделал человек?

– Зачем думаю? Знаю. Он вбил в дерево колышек, котелок вешал, ремни вешал, всякий разный вещи. Потом колышек сгнил, упал, а место заросло корою. Давай хорошо смотри, может, колышек еще не пропал совсем. – И старик стал посохом разрывать под елкой многолетние наслоения хвои.

В выемке между толстых корней он нашел кости. Время изъело их, они позеленели, но без труда можно было угадать, что это остатки седла. Теперь не было сомнения: здесь когда-то были люди! Внимательно рассматривая, мы нашли на кости вырезанные два креста. И Улукиткан вдруг помрачнел. Что-то они напоминали ему или он прочел на жалких остатках кости какую-то трагедию?

Старик с еще большим вниманием осматривает ель, топчется возле камней, что-то додумывает, видимо, ему еще не все ясно. А я доволен, что найдены следы пребывания здесь людей, что наконец-то, может быть, мы находимся на правильном пути к перевалу. Снимаю котомку, собираю сушник, разжигаю костер. На душе вдруг становится необыкновенно легко, и даже окружающие нас скалы потеряли свой суровый облик.

– Чай варить будем, это хорошо… – говорит Улукиткан, снимая с плеча бердану и присаживаясь к огню. – Как думаешь, если люди был тут и надо было тут надолго вещи положить, какое место он выбирал для лабаза?

– Я бы сделал лабаз вон там, в чаще. – И показываю ему на густой ельник.

– Ага. Может, и там… Мало-мало кушаем, потом искать будем.

– Что искать?

– Лабаз.

– Какой? – удивляюсь я.

– Ты хорошо смотрел, а голова работай плохо. Помнишь, Осикта говорил, один люди, имя его Карарбах, давно-давно ходил через Становой, назад не вернулся. Это он тут табором стоял.

– Да ты что, Улукиткан! Ведь это было лет тридцать назад, а то и больше, как можно угадать, что тут была стоянка Карарбаха?

Он смеется:

– Говорю тебе, где бы человек ни ходил, след от него не отстанет. Разве не видишь? Рог, что лежал под елью, он от седла. А на нем что вырезано? Два креста. Это родовая метка Карарбаха, я знаю. Хороший люди был, шибко жалко.

– Он что, умер? – удивился я.

– Однако, пропал. Тут ему беда случился, большой, вот и не вернулся…

И старик стал рассказывать, последовательно восстанавливать картину происшедших здесь так много лет назад событий. Никогда еще он так меня не поражал своей способностью логически анализировать неприметные для нас факты.

– Если глаза твои не знают, что видят, пусть уши помогут им. Слушай, старик будет толмачить. Я искал тут огнище, а его нет, значит у Карарбаха не было чума. Однако, без огня люди жить не могут. Как думаешь, зачем он сюда два камня принес, рядом положил?.. Не

знаешь? Тут стояла его палатка, а на камнях железная печь. Посмотри, с какой стороны около камня железная печь. Посмотри, с какой стороны около камня есть уголь. В той стороне у печки дверцы были и выход из палатки. Теперь ты понимаешь? Иди, найди уголь.

Действительно, возле одного камня я под мхом нашел несколько угольков и легко представил, как стояла печь и палатка.

– Теперь слушай и думай: почему Карарбах оставил тут на колышке седла? Оленей потерял! Такие седла из рога и кости эвенк зря не бросит. Вот я и думаю: если он всех оленей потерял, то вещи бросил тут в ельнике; не всех потерял – ушел через перевал дальше. Но Карарбаха потом у нас ничей глаз не видел, значит пропал он за перевалом. Ай, жалко! Хороший люди был. Ты вари чай, а я смотреть буду, нет ли близко лабаза…

И старик ушел в ельник.

Уже полдень. Млеет тайга, облитая золотой благодатью солнца. Резвясь, шалят сквозные ветерки. В небесной лазури ни единого облачка. В природе – сонливый покой. Кажется, надолго установилась погода.

Где же взять воды для чая? Ручей шумит далеко и глубоко в щели. Разве посмотреть, нет ли на мари льда? Беру топор, сдираю толстый мох. Под ним оказывается вечная мерзлота. Это уже выход из положения! Срубаю верхний слой, добираюсь до коренного льда, набираю его полный котелок, а сам думаю: вот это будет чай! Ведь льду, вероятно, много тысяч лет!

В те далекие времена, вероятно, здесь, где сейчас марь, было озеро. Может быть, перед тем, как ему замерзнуть навечно, из него пили воду мамонты, гигантские олени или какие-нибудь другие доисторические животные…

Улукиткан вернулся с находками: принес изъеденные ржавчиной кусок железа от печки и котел, роговые кольца от узд и всякую мелочь.

– Видишь? – говорит он. – Улукиткан не зря думал. Карарбах потерял всех оленей, вернулся назад на Зею. Без оленей зачем ему идти за перевал? А потки положил на маленький лабаз, видно, хотел скоро прийти за ними, но смерть поймала его раньше. Лабаз давно упал, все сгнило, только это осталось. – И старик бросил все на землю.

Решаем подняться на вторую террасу, чтобы окончательно убедиться в наличии прохода. Пересекаем ельник, выходим к шумливому ручью. Он падает с террасы, дробится о подстерегающие его внизу камни и прозрачными струями сочится между валунов. Столбы пыли окутывают водопад, береговую зелень, и кажется, будто здесь, в каменной щели, купаются призраки, взмахивая прозрачными крыльями.

Мы еще не подошли к водопаду, как ветерок набросил какой-то знакомый запах цветов, да такой сильный и приятный, что мы с Улукитканом остановились. Здесь, в суровом крае, цветы почти без аромата, это не юг, где растительность соревнуется не только в формах, но и в запахах. И вот такая радость – где-то близко живет пахучее растение! Где оно? Какое? Мы без сговора идем навстречу запаху.

«Да ведь это душистый рододендрон!» – вдруг осенила меня мысль. С этими цветами я встречался на белогорьях Восточного Саяна. Даже там, среди пышных альпийских лугов, среди благоухающей зелени, он – самый душистый цветок, и запах его человек улавливает на большом расстоянии.

Запах привел нас к водопаду. На высоком каменистом борту, среди мелкого стланика мы увидели заросли душистого рододендрона. Это низкорослое многолетнее растение, характерное для гольцовой зоны гор, растет по россыпям. Мелкие бледно-розовые и белые цветы издают резкий запах. В нем и ванильная пряность, и гвоздичная свежесть, и еще что-то, присущее только этому виду рододендрона. Я набиваю им рюкзак.

Как обрадуется Василий Николаевич, увидев этот цветок! На Восточном Саяне, где он родился и где в погоне за соболем и в охоте на марала прошли его молодые годы, души-

стый рододендрон называется «белогорским чаем». Его заваривают кипятком и пьют как чай. Бледно-розовые цветочки напомнят моему другу родные горы…

Ниже водопада переходим ручей и начинаем подниматься за террасу. Подъем крутой, по густому ельнику. Пол мягкий, почти нет камней. Это радует и обнадеживает нас. За крутизной снова равнина с ворчливым ручейком, видна третья терраса, вероятно последняя. По ней лепится мелкий лес, спускаются к подножию «свежие» полосы россыпей. Теперь хорошо обозначилась седловина, образовавшаяся между сильно разрушенными скалами. Тут глазу простор.

Нет сомнения, мы находимся на том самом пути, по которому шел в детстве Улукиткан. Но старик все еще присматривается, прощупывает напряженным взглядом рельеф, что-то ищет.

Мы поднимаемся на одну из возвышенностей (морену) на краю террасы, смотрим на свой след, на юг, и перед нами распахивается даль, вправленная с боков в строгую рамку ближних скал. Темные хребты с облезлыми вершинами пересекают широкое пространство, поднимаются крепостными валами, грозными утесами, чтобы преградить путь Зее, священной дочери эвенков. Но не укараулили ее, недосмотрели: убаюкали их ветры весенние да туманы долгие. По эвенкийским преданиям, проточила Зея гранит, раздвинула горы и вырвалась на простор. И мы видим с террасы, как убегает вдаль, меж темных хребтов, ее текучий голубой хрусталь.

Улукиткан садится на камень и долго смотрит вдаль, протирая дрожащими руками глаза. Жесткие брови хмурятся, а в глазах блестит что-то хорошее, теплое, словно он сделал какое-то важное открытие. Хочет старик что-то сказать и не может, кажется, вспыхнувшие мысли затуманили ему голову. Но вот он выпрямляется и, ткнув кривым пальцем в пространство, взволнованно произносит:

– Все это я видел давно-давно, когда с матерью переходил Становой. С тех пор прошло много времени, я стал совсем другой; эти скалы, вот тот голец и все-все как было раньше, так и осталось. Значит, сон не обманул, нашли перевал. Теперь ходить дальше нам не надо, поверь старику, проход через хребет тут!

– Ты уверен, что сон помог нам?

– Что ты за люди, – возмутился старик. – Три каменные цветка, что я во сне положил в котомку, расклевали птицы. Правда? Это – три дня, что мы с тобою напрасно ходили по горам. Четвертый цветок я унес с собою – это наше счастье. Скажи, разве не на четвертый день мы нашли проход? Как можно сну не верить! Без веры даже сильный человек все равно, что упавший лист: куда хочет, туда и несет его ветер.

Солнце косыми лучами греет костлявую грудь старика, ветер, теплый, южный, ласково шевелит седеющие пряди волос на его голове. А вокруг так хорошо, так просторно, как никогда не было в этих горах.

Отдохнув с полчаса на верху второй террасы, мы отправляемся в обратный путь. Улукиткан идет впереди. Теперь в его движениях уверенность, он спокоен. Старик намечает между камней будущую тропу для каравана. Я делаю топором затесы на деревьях. На этот раз мы окончательно убедились, что подъем на верх первой террасы вполне возможен с оленями, но придется приложить много усилий, чтобы прорубить проход сквозь чащу леса, покрывающую эту террасу.

Так был открыт забытый эвенками проход через Становой, сослуживший добрую службу в течение многих последующих лет нам и другим экспедициям, работавшим в этом районе.

В лагерь вернулись до захода солнца. Василий Николаевич с Лихановым ушли на охоту на тот самый голец, куда ходили мы с Улукитканом в первый день, но еще не вернулись. Вспыхнул костер, закипел чайник; мы еще не успели взяться за кружки, как вскочил Кучум и насторожился. Из чащи появилась Бойка. Она с разбегу бросилась ко мне, лизнула Улукиткана, затем подошла к сыну. Тот обнюхал ее всю: губы, шею, бока, грудь, и я подумал: вероятно, Кучум

пытается угадать, где была мать, какие события ее сопровождали и довольна ли она своей прогулкой.

– Геннадий, – говорит Улукиткан, – надо много дров готовить, сегодня долгий ночь будет.

– Почему долгий, разве ты не устал?

– Устал, да ничего. Василий зверя убил, зубам работы хватит на всю ночь. Мясо есть, так сон в обиде не бывает.

– Откуда ты узнал? – удивляюсь я.

– А разве ты не видишь, как долго Кучум обнюхивает Бойку, она принесла запах убитого зверя, иначе он даже не подошел бы к ней. Василий обязательно убил, – уверенно заявляет старик.

А в это время слышится треск сучьев, шаги, раздвигается чаща. На поляну выходят Лиханов и Василий Николаевич, на сгорбленных спинах они несут по полтуши барана.

Мы помогаем охотникам снять добычу. Лагерь оживляется. Вспыхивает обновленный костер, гремит посуда. От радости не знаем, куда посадить Лиханова и Василия Николаевича. Они принесли в лагерь запах свежей баранины, растревожили наши аппетиты. Да разве только наши? Посмотрите, как Кучум нацелил глаза на куски, облизывается, сгоняя с губ набегающую слюну.

Над огнем повис тяжелый котел. Пополз по тайге запах парного мяса. Люди повеселели и оттого, что наконец-то найден перевал, и оттого, что к ужину будет наконец подана ароматная баранина именно в этот торжественный день! Тут уж было за что выпить по стопке коньяку.

Я не ошибусь, если скажу, что среди парнокопытных зверей, заселяющих обширную Сибирь, мясо снежного барана по вкусу не имеет себе равного. В нем к знакомому запаху обыкновенной баранины примешивается тонкий, свежий аромат альпийских лугов.

Мы долго сидим за ужином. Над лагерем трепетно и ярко мерцают звезды. Дремлют утесы-великаны. Молчит, задумавшись, старушка тайга. Живет только костер да людской говор… Вот когда я за много дней нашего путешествия усну спокойно, с полным сознанием того, что наши усилия увенчались успехом.

– Ты что-то, Улукиткан, грустный? Нездоров, что ли?.. – спрашиваю я старика, когда мы остаемся вдвоем у затухающего костра.

Он смотрит на меня спокойно, но глаза печальные. Молчит; хмурятся густые брови. Мысли где-то далеко. Но вот морщины на его лице как бы оживают.

– Улукиткан обещал тебе показать перевал? Показал. Теперь сердце старика не болит, можно оставить твой табор. Стар я идти дальше. Зачем уносить свою могилу так далеко от мест, где вся жизнь…

– Неужели ты, Улукиткан, решил нас покинуть? Ты же хотел на перевале поохотиться за бараном… – перебиваю я его.

– Человек хочет много, да руки короткие. У оленя одна думка – ягель; у меня одно горе – старость. Куда мне с ней идти? Кому надо мое горе!

– Ты плохо себя чувствуешь? Скажи, что болит, я дам лекарство, а утром вызову по радио врача.

– Нет, не надо. Сколько латок ни клади на старые штаны, они новыми не будут.

– Почему же ты так вдруг засобирался?..

– Далеко уйдем – не выдержу, опять беды со мною наберешься. Отпусти старика. – И он строгим, просящим взглядом посмотрел на меня.

Рядом гасли последние вспышки костра. От реки полз туман седыми лохмами. Наступило самое глухое время ночи: без звуков, без шороха, и только где-то за темными грядами лиственниц невнятным шепотком играли бубенцы да изредка властно ухал филин.

Мы оба молчим. Меня этот разговор застал врасплох. Я не ожидал, что старик преподнесет мне такой неприятный сюрприз. Ведь и ему не так легко проститься с нами. И мне

невольно вспомнился наш длинный тяжелый путь по скупой, забытой людьми земле: купуринские наледи, пурга на перевале, сон под снегом. Мысль о том, что нас покидает человек, которому мы все обязаны своим успехом, а я и жизнью, – больно сжала сердце.

Но имею ли я право уговаривать старика? За восемьдесят лет своей жизни он научился управлять собою. Пусть решает сам, как ему лучше поступить.

Все это нагрянуло неожиданно, и я не могу прийти в себя. А старик, понурив голову, сидит задумчивый, но живая игра морщин да содрогание ресниц и губ выдают внутреннюю борьбу, видно, и у него тугой косой сплелись мысли…

– Ты о чем сейчас думаешь, Улукиткан? – не выдерживаю я.

Он поднимает на меня печальные глаза:

– Надо бы самому проводить вас за хребет, да не вернуться мне одному. Вот и думаю, как пойдете дальше, – места дикие, горы, чаща. Не везде реки бродить можно. Сердце мое долго болеть будет.

– Нам нелегко будет без тебя, Улукиткан.

Старик проводит рукой по морщинистому лбу, словно хочет отстранить какие-то мысли:

– Ты напрасно думаешь, если дятел не стукнет, то день не начнется. Как-нибудь пройдете, а старика не тащи дальше… Когда нет пороха, ружье – только тяжесть.

– Хорошо, Улукиткан, ты поступишь так, как подсказывает тебе твое сердце. Ты слишком много сделал для нас, чтобы мы не согласились с твоим решением. Я верю в твое желание сопровождать нас и дальше, но ты действительно уже не в том возрасте, чтобы слепо подчиняться желанию. Уж если ты решаешься вернуться, скажи, что тебе нужно для обратного пути?

– Пусть Майка пойдет со мною, она принесла мне много счастья, больше старику ничего не надо.

– Майка пойдет с тобою, и ты возьмешь все необходимое, чтобы в пути не думать об одежде и пище, а об остальном мы побеспокоимся сами. Не думал я, Улукиткан, что сегодняшний счастливый день закончится для нас так печально… Тяжело расставаться с тобой…

– Когда я был слепой, то узнал своих друзей; мне тоже больно бросить их, да что поделаешь. Старый люди все равно что птица без крыльев. Ты не обижайся… – И Улукиткан, растревожив головешкой затухающий костер, долго смотрел, как тлели в синеватых вспышках угли.

Теперь я окончательно поверил, что старик всерьез решил покинуть наш табор. Жалко было расставаться и с Майкой. Уходит от нас самое пожилое, мудрое, чей опыт оберегал нас от многих неприятностей, и самое молодое, радовавшее нас жизненной свежестью, приносившее нам немало приятных минут!

Пора спать.

…Когда я проснулся, все были на ногах. Из тайги к дымокурам пришли олени. На огне доваривался завтрак. Первая мысль была об Улукиткане. Я оделся и вышел из палатки со слабой надеждой, что он за ночь изменил свое решение. Но старик уже собрался в обратный путь. Одет он был точно так же, как при первой нашей встрече на зейской косе: на нем была все та же старенькая дошка, вся в заплатках, без шерсти, со следами костров, дождей, длительных походов, и лосевые штаны, перехваченные ремешками ниже колен. На ногах новые олочи, будто нарочно припасенные для этого случая. Спецодежда, в которой он ходил последнее время, была упакована с продуктами и всякой дорожной мелочью в потках. Все это без слов говорило о непоколебимом решении старика.

Кто поведет теперь наш караван к перевалу, кто найдет проходы, переправы, кто предскажет погоду, кто теплыми словами отогреет наши загрубевшие сердца в тяжелые минуты! Конечно, поведет Лиханов. Но старик слишком избаловал нас своей заботой, чтобы мы могли скоро забыть о его отсутствии.

За завтраком решаем вопросы нашего дальнейшего путешествия к Алданскому нагорью. Выслушиваем длинное напутствие Улукиткана. Не надеется старик на наш опыт, тревожится

за нашу судьбу, обо всем хочет предупредить, и от неуверенности за благополучный исход нашего предприятия у него болезненно морщится лицо.

Но день торопит нас. Уже свернуты палатки, налажены вьюки. Все мы готовы покинуть лагерь, чтобы продолжить свое путешествие. Помощником Лиханову будет Василий Николаевич. Чтобы не задерживать караван на подъеме через заросли, я пойду с Геннадием вперед. Мы прорубим лазейку через стланик до верха первой террасы, а часа через три нашим следом Лиханов поведет завьюченных оленей.

И вот наступила минута прощанья с Улукитканом. Я чувствую, как что-то тяжелое клубком подкатывается к горлу, в мыслях чехарда, язык не находит нужных слов. А старик стоит у костра, сложив на животе сцепленные пальцами руки, все такой же маленький, щупленький и, как всегда, покорный. Он пытается улыбнуться, но глаза вдруг начинают мигать часто-часто и губы дрожат. Он подходит ко мне, обеими руками берет мою руку, хочет что-то сказать… И не может…

– Мы всегда будем вспоминать тебя, Улукиткан, как лучшего друга, – говорю я. – Ты много сделал нам, многому научил, ты заставил нас полюбить свой замечательный народ и этот дикий край. Спасибо тебе за все! На перевале мы выложим большой тур в честь нашей признательности тебе. В нем я оставлю записку: «Перевал этот открыт Улукитканом». Пусть те, кто будет пользоваться им, благодарят тебя. Скажи, что ты хочешь, и я выполню твое желание!

Улукиткан держит мою руку, пристально смотрит мне в глаза, и я вижу, как по его лицу расплывается теплота.

– Сердце лучше слышит, чем ухо, лучше видит, чем глаз, ему больно покидать ваш табор. Теперь наши дороги разные: твоя тропа уйдет далеко за хребет, а моя совсем в другую сторону. Ты спрашиваешь, что бы хотел Улукиткан? Пусть еще раз когда-нибудь мое сердце услышит твой голос. – Он помолчал, сдвинул жесткие брови и продолжал: – Помни, если на твоем пути будут удачи, даже много – не гордись. Но если постигнет горе, не теряй головы, без него счастья не бывает. Не забудь, что толмачил тебе старый Улукиткан…

…Я ухожу с Геннадием. В тайге тихо, лишь под ногами шуршит густой брусничник. На повороте оглядываюсь. У костра одиноко стоит Улукиткан, машет нам на прощанье шапкой. Он покинет лагерь последним, после того, как караван тронется к перевалу.

Наша задача – наметить более плавный подъем на перевал и прорубить проход сквозь стланиковые крепи, по которому можно будет пройти груженому каравану и по которому позднее полевые подразделения экспедиции смогут внести наверх тяжелые геодезические инструменты.

Потянулась тропа от табора по восточному истоку до исполинской скалы, полезла наверх по уступам в гущу зелени. От стука топоров пробудилась тайга. Заплясало по утесам голосистое эхо, пополз по ущелью чужой, незнакомый звук.

И, словно угадав в них шаги человека, в недобром предчувствии застонали скалы.

Ощетинился стланик, встал непролазной стеною. Поползли навстречу россыпи. Но невозможно сломить упорство людей, уже поверивших в благополучный исход дела.

В чистом, звонком воздухе не смолкает стук топоров, и треск падающих деревьев отдается в глубине ущелья глухим, недобрым ворчанием. Мы работаем с полным воодушевлением, с полным сознанием того, что делаем тропу в эти дикие, еще не потревоженные человеком горы. Может быть, этой тропою откроется первая страница большой летописи о покорении и всестороннем изучении Станового.

Руки давно устали. Много раз мы садились отдохнуть, пока не миновали крутизну. Как только оказались на верху террасы, стланики поредели, разорвались, и скоро показалась марь. Не успели еще мы выйти на нее, как снизу послышался крик погонщиков. Караван поднимается на верх террасы. Я иду ему навстречу…

Бедные олени! На них жалко смотреть: из открытых ртов свисают длинные языки, в глазах муть, при малейшей остановке они ложатся, и их очень трудно заставить встать.

После короткого совещания решаем заночевать здесь. Лиханов выводит караван на марь, ищет место, где бы поудобнее стать табором, и, так же как и мы вчера с Улукитканом, направляется к той самой ели, где была стоянка Карарбаха. Развьючиваем оленей, отпускаем их на корм. На стоянке всегда всем хватает работы: кто таскает дрова, кто бежит за водой.

Во время обеда я вдруг замечаю, что Лиханов, доставший уже не первый большой кусок баранины с костью и поднесший его ко рту, вдруг замирает с открытым ртом. Глаза устремлены вдаль, на склон горы. Мы все разом поворачиваемся и смотрим туда и тоже замираем: по нашей хорошо протоптанной тропе, запыхавшись, бежит усталая Майка! Все поднимаемся и ждем – не появится ли следом за ней и Улукиткан?

А Майка, выскочив на марь и увидав пасущихся оленей, палатки, дымокуры, людей – словом, все то, что окружало ее с рождения, к чему она привыкла, вдруг остановилась. В ее застывшей позе, в раздутых ноздрях, в больших черных глазах, даже в дыхании – радость.

Вот она уже возле оленей. Не знает, возле кого остановиться, протяжно кричит. Затем Майка подбегает к костру и долго осматривает всех нас своими большими наивными глазами.

– Ах ты, бездомница, раньше бросила мать, теперь вот и Улукиткана! – строго говорит Лиханов.

А та, будто вдруг вспомнив, что еще не все сообщила оленям, бросается к стаду, и оттуда долго доносится ее отрывистый крик.

Мы привыкли к ней, к ее шалостям, к ее крику, и присутствие ее нам приятно.

Но мы знали и другое: она своим исчезновением принесла большое горе Улукиткану! Ведь старик будет думать, что она ушла от него потому, что не в силах предотвратить несчастье, которое, значит, лежит на его пути домой.

– Что же будем делать с Майкой? – обращаюсь я ко всем.

– Надо ее вернуть старику… – говорит Василий Николаевич.

Лиханов неодобрительно качает головой:

– Как догонишь? Если Майку привязать к ездовому оленю – она задушится, не пойдет. Значит, надо гнать все стадо, а зачем напрасно мучать оленей? Старик теперь далеко. Он обязательно обманет злого духа Харги, как-нибудь попадет домой.

И мы решаем: пусть Майка остается с нами. После обеда мы с Геннадием взялись за топоры, чтобы прорубить тропу на перевал. А Лиханов с Василием Николаевичем отправились вниз за оставшимся грузом.

Верх первой террасы, где мы стали лагерем, представляет собою слегка наклонную площадку, прикрытую зарослями смешанного леса. Тут и ель, и береза, и лиственница, и рябина, и ольха, и неизменный стланик. Словом, все, что произрастает по обширной Зейской долине, собрано на этой небольшой площадке, и, несмотря на большую высоту по отношению к уровню моря, деревья чувствуют себя здесь неплохо. Вероятно, этому способствует почва, на которой они поселились, и то, что терраса защищена с трех сторон высоченными скалами и сюда не проникают губительные северные ветры.

Здесь нам идти легче. Тропа пронизала ельник, пробежала вверх по ключу почти до водопада, перебралась на правый берег и стала карабкаться по крутяку на верх второй террасы. Хорошо, что на этом подъеме нет россыпи.

Не торопясь, выискивая более доступный проход, мы поднимаемся все выше и выше. Тайга заметно редеет. С боков от полуразрушенных скал все глубже вклиниваются россыпи. Пятнами желтеет по склонам ягель. Становится просторнее. Но нас постигает неудача. Мы уже выбрались к границе леса и были совсем недалеко от перевала, как с восточных вершин сполз к нам холодный туман. Он принес мелкий, спорый дождь, и мы повернули обратно, не достигнув седловины.

Навстречу, из глубоких ложбин, выползает зловещая темень. Срывается ветер. Дождь усиливается, и, пока мы добирались до нижней террасы, он исхлестал нас так, что сухой нитки не осталось. Задурил и ключ. Промешкай немного, и нам трудно было бы его перебрести.

Мы в ельнике. Уже не идем, а бежим. Холод пронизывает тело. Тайга шумит глухо, сонно. Сгущается ночь. Но скоро табор, там затишье, горячий чай и теплая постель. Вот и огонек просверлил темноту, пронизал кроны деревьев. Он манит к себе. Свет костра отпугивает мрак наступившей ночи. Но… что это? По ягелю бродит Майка… одна… Не привиденье ли это? А где же олени? Наши, видно, еще не вернулись с грузом, часть которого оставили вчера ниже. Неужели Майка убежала и от них?

Мы выходим из чащи почти у самого табора. Никого нет, где-то далеко внизу слышатся крики погонщиков. Но, судя по тому, как весело пляшет пламя костра, как дружно потрескивают только что подложенные в огонь дрова, кто-то оставался на таборе. К тому же чьи-то заботливые руки приготовили возле огня вешала для просушки одежды. Мы в недоумении. Но вот из темноты к свету выходит человек… маленький, слегка сгорбленный… в знакомой одежде. В руках он держит ведро с водою.

– Улукиткан?! Ты ли это? – изумленно кричу я старику, охваченный радостью.

Он опускает ведро на землю, молча подает мне сухую руку. Я догадываюсь, что Улукиткан вернулся совсем, и не могу удержаться, чтобы не обнять, не дать почувствовать старому эвенку, как дорог он нам. Я крепко обхватываю руками щуплое тело Улукиткана и долго тискаю… Посторонний человек мог бы подумать, что мы не виделись с ним целую вечность.

– Майка убежала от меня, – тихо говорит старик, – и я вернулся. Может, верно, я не должен бросать вас в этих горах. Если счастье не хочет идти со мной, я должен идти за ним.

Уже близко слышится крик Лиханова, к табору подходит караван. Мы помогаем развьючивать уставших животных и отпускаем их на корм. А дождь все идет и идет. Запал, будто растаял, ветерок, поникла тайга. Все безнадежно опечалилось. Но под елью сухо. Как приятно тепло большого костра!

Огонь нагоняет сон, но прежде нужно обсушиться. Мы раздеваемся, развешиваем одежду и полуголые окружаем костер. Пламя весело лижет пугливую тьму. С веток падают тяжелые капли влаги. Освещенные дрожащими бликами огня, все мы кажемся странными существами: скорее походим на каких-то горных духов, спасающихся под елью от непогоды.

Утро встретило нас мелким дождем. Надо идти. Мы не имеем права в своих походах рассчитывать только на хорошую погоду, на надежную тропу. Нас ничто не должно пугать, мы должны быть достаточно привычны ко всяким неприятностям, тогда и сон возле костра, и трудности похода, и даже пригорелые остатки каши на дне котелка покажутся большим наслаждением, которое никогда не испытываешь, живя в городе.

Когда все было готово, Улукиткан надел плащ, подпоясался, подтянул ремешки на олочах и из потки достал свою старенькую шапку. Караван тронулся. Крик погонщиков, треск сучьев под ногами оленей, людской говор не могли разбудить эхо. На небе вдруг исчезли обнадеживающие просветы. Туман свалился в лощину и накрыл нас. Сразу стало холодно и сыро.

Олени еле плетутся по скользкому подъему. За туманом ничего не видно, кроме небольшого мокрого клочка земли под ногами да контура прорубленной вчера просеки. Настроение у всех кислое. Одно утешение, что с каждым шагом, пусть он тяжел и очень медлителен, мы приближаемся к перевалу.

Три часа продолжается подъем. За это время перестал дождь, и лучи солнца нижут голубые проталины. Мы уже высоко. Ближе синеет просторное небо. Подступ к перевалу свободен от леса. Некрутой каменистый склон заплетен полярной березкой, стлаником, ольхой. Выше кустарники редеют, мельчают и совсем исчезают. На седловину выбегают только низкорослые стланики, и там же, в камнях, можно увидеть густо сплетенные рододендроны.

Перевал представляет собою довольно широкую седловину, заключенную между расступившимися отрогами. Справа и слева глубокие прорезы, по которым можно, не поднимаясь на верх седла, пройти на противоположную сторону. Я останавливаюсь: куда идти? Снизу трудно угадать, по какой щели легче провести оленей. Левая мне кажется более доступной. Вижу, Улукиткан нацеливается пройти этой же щелью. Уже берем последнюю крутизну.

Вот мы и в щели. Она подводит нас к небольшому озерку, обросшему мелкой осокой и помутневшему от пробежавшего недавно по нему стада снежных баранов. Узнаем, что ручеек из озерка течет на север.

Значит, мы действительно на перевале.

В тишину врываются мой и Василия Николаевича выстрелы, громкое «ура». Улукиткан тоже закладывает в свою бердану патрон, приподнимает к небу ствол, долго чекает затвором, но ружье упорно молчит…

Караван спускается по ручейку и попадает на заболоченную площадку, почти ровную, усеянную кочками. Идти ниже нет смысла. Обходим болото по верхнему краю и останавливаемся всего в двухстах метрах от оставленного перевала, на крошечной лужайке, среди рослых стлаников.

Солнце еще высоко. Ставим палатки, развешиваем для просушки одежду, спальные мешки, вещи, продукты. Я пользуюсь безветрием, раскладываю на брезенте гербарий, добытых птиц. В таком цветном оформлении наш лагерь имеет совершенно необычный вид и напоминает цыганский табор. Мы не нашли здесь ни огнища, ни остатков чума, ни затесов. Может быть, впервые в этом диком уголке гор застучал топор, и появились пни, и землю обогрел костер.

Нам предстоит прожить на перевале несколько дней. Надо разрешить ряд технических вопросов, связанных с проведением геодезических работ в этом районе Станового. Да и люди заслужили передышку после длительной кочевой жизни.

Но чтобы передышка не была скучной, сегодняшний день посвящаем личным делам. Нужно серьезно заняться стиркой, починкой; да мало ли каких дел накапливается за время похода! Нашу обувь буквально съедают камни, сырость; одежду рвет чаща. Тут уж чуть прозевай, не зашей, не завяжи вовремя – и тайга вмиг разденет догола, не пожалеет. Необходимость научила нас без посторонней помощи вести хозяйство, каждый сам для себя и сапожник, и портной, и повар, и пекарь.

Среди всех я самый богатый человек – на моих штанах еще есть место для заплаток. Куда хуже дела у Василия Николаевича, он свои штаны износил донельзя, надо бы выбросить, так нет, жалко.

Хочется здесь пополнить свою коллекцию несколькими хорошими экземплярами снежных баранов, собрать растения, поселившиеся на этих скудных склонах гор, в цирках, на скалах. Все это, несомненно, сулит много интересных встреч, впечатлений, и при мысли об этом загораешься нетерпением скорее надеть на плечи рюкзак, взять посох, карабин и – айда к вершинам! Они зовут, манят. Главное, не разгневалось бы на путешественников небо, от него зависит наш успех. Затем мы продолжим свое путешествие дальше на север.

Наша цель в этом маршруте, как я уже говорил, – помимо технических задач, найти проход через Становой от Зейской долины до Алданского нагорья.

Половина задачи выполнена. Это радует, когда оглядываешься на пройденный путь. Будущее же по-прежнему остается неизвестным и тревожным. Но разве не в этой неизвестности завтрашнего дня заманчивость жизни путешественника?

От перевала на север тянется глубокое ущелье, сдавленное скалистыми гребнями. По нему-то мы и пойдем. Там, на севере, за синевой гор, где круто обрываются отроги хребта, покоится большое озеро Токо. От него начинается Алданское нагорье.

Мы успели пообедать, натаскать большой ворох дров, убрать просушенные вещи, но день еще не кончился. На западе копились перистые лоскуты разорванных туч, и, лишь когда солнце задернулось одной из них, кругом помрачнело.

Из каких-то глубин, словно дыхание настывшей земли, струями полилась прохлада, и тотчас же над горами, над темно-зеленым руном стлаников засинел воздух. Кукушка не торопясь отбила первый вечерний час.

Улукиткан молча зовет меня к себе, кривым пальцем предупреждает: будь осторожен – и таинственно показывает на восточный край седловины перевала:

– Смотри, там стадо баранов. Хочет ходить через седло на другой сторона, да нас заметил.

Действительно, там кто-то ходит. Достаю бинокль. Подсаживаюсь к старику. До края седловины метров шестьсот. В бинокль хорошо видно стадо из восьми голов: четырех самок, двух прошлогодних ягнят и двух малышей, недавно появившихся на свет.

Им хочется перебежать седловину, но их явно пугают палатки, дым, разбросанная для просушки одежда, пасущиеся олени. Они еще не знают, опасно это или нет, и топчутся на месте. Наконец одна из самок спускается вниз. Стадо кучится, направляется следом. Но у стланика, почти у края спуска, вдруг все разом шарахаются назад, выскакивают наверх, замирают одним серым пятном. Опять тревожно посматривают в нашу сторону, но не убегают. Уж очень хочется перебежать седловину!

Мы продолжаем неподвижно наблюдать. Животных одолевают насекомые. Они и минуты не могут постоять спокойно, беспрерывно мотают головами, чешут бока об угловатые камни, то ложатся, то вскакивают.

Нас привлекают два малыша. Они буквально ни на шаг не отступают от матерей, держатся рядом бок о бок, точно копируя поведение взрослых. Мать ляжет – и малыш непременно примостится рядом, та встанет – и он тотчас же поднимается, прилипает к ее боку. Удивительная привязанность! Но два прошлогодних ягненка ведут себя совсем иначе. Они беспрерывно ссорятся. Тот, который поплотнее и более подвижен, не допускает второго к матери, наскакивает на него, бьет передними ногами, гоняет. Второй очень худ, шерсть на нем от побоев помята, уши упали. Видимо, оттого, что его не пускают к матери, он с еще большей настойчивостью хочет попасть к ней, ходит вокруг стада, выжидает момент и за это получает новые и новые побои. У меня невольно закрадывается мысль, что это не близнецы, хотя и живут при одной матери. Не может быть, чтобы единоутробные ягнята так ссорились. Вероятнее всего – у худого погибла мать, ее заменила ему эта старая добрая самка.

Уже выползает сумрак, тускнеют горы, замирают звуки. Стадо будто ждало этого момента, посмелело. Животные, тесня друг друга, осторожно спускаются на дно седловины и, как только миновали подозрительную полосу стланика, пускаются вскачь всем скопом.

Вижу, как подпрыгивают по шершавому горизонту перевала серые комочки. Животные уже на середине, но вдруг обрывают свой бег, замирают на фоне потемневшего неба скульптурной группой. Смотрят в нашу сторону, а два малыша, воспользовавшись остановкой, припадают к материнским соскам. Теперь баранам хорошо виден весь лагерь, с палатками, с костром. Им кажется все так интересно, что они забывают об опасности, продолжают стоять. Я поднимаюсь, кричу, бью в ладоши, – но никакого впечатления, табун стоит, словно привороженный. Слышится пронзительный свист Василия Николаевича – тоже никакого впечатления.

Но вот закашлял старик, и стадо растаяло: самка с прошлогодними ягнятами бросилась назад, остальные побежали дальше. У края седла они выскочили на камень, дождались отставших и все сообща поскакали по склону, уже не оглядываясь и не останавливаясь.

На этом закончился памятный день нашего восхождения на Ивакский перевал (так он был нами назван в честь предстоящего маршрута по реке Ивак). От долгого и трудного пути сюда остались волнующие воспоминания и удовлетворение. Теперь все мы имеем право

поспать спокойно, не тревожась о завтрашнем дне. Огонь доедает лиственничные головешки, и над лагерем смыкается густой вечерний мрак. Все уснуло.

Но я подожду, пока стемнеет. Горы уже утрачивают свое величие. Снизу, словно выждав свой час, воровски крадется туман. Черным вороном распласталась в небе тучка. Тает пейзаж, вместе с болотом, с оленями, стланиковой чащей. Остаемся только я, потухающий костер да голодный комар, повисший в сонном воздухе.

Кажется, и мне пора спать. На этот раз хочется встретить утро без мыслей о делах, свободным и независимым, как птица. Я уже зарылся в спальный мешок, как послышались шаги Геннадия. Он поднял край полога, пролез внутрь.

– Неприятная радиограмма от Хетагурова. – И подал мне журнал.

– Что еще случилось?

– Читайте, только что принял. – И он осветил фонариком исписанную страницу журнала.

– «По последней сводке обстановка южном участке в партии Лемеш складывается неблагоприятно. Необходимо сделать перестановку подразделений, добавить строителей, иначе сорвем наблюдения. Эти вопросы необходимо решить вам на месте. Прошу отложить свой маршрут к Алданскому нагорью, вернуться к Мае и посетить подразделения, работающие близ Джугдыра. Я нахожусь Лилимуне. Хетагуров».

– Вот и выспались независимыми! – сказал я, выбираясь наружу.

Вспыхнул костер. Из-под пологов вылезли люди. Для всех все это неожиданно. Мысленно я взвешиваю, что важнее при этой обстановке: идти инспектировать работы по Алданскому нагорью или вернуться на юг, где назревает прорыв. Но ведь мы еще не уверены, что за перевалом открыт путь к нагорью. А если с оленями не пройти? И опять рой тревожных мыслей… Чувствую, что надо поворачивать назад. О, как это тяжело! Кажется, ничто так не угнетает путешественника, как повторные маршруты в обратном направлении. Видимо, не суждено нам в этом году увидеть дикий Утук, не топтать нам алданские мари, не ловить тайменей в Муламе. А ведь со всем этим мы уже давно сжились в своих мечтах.

– Дня бы на три задержаться, не пожар. Я бы с кем-нибудь пробежал по Иваку, посмотрел, что там за место, – говорит Василий Николаевич.

– Надо подумать, да что думать, можешь утром отправляться. Кого возьмешь?

– Поговорю с Николаем…

Я сообщаю Хетагурову о своем решении возвращаться.

Василий Николаевич укладывает котомки и бурчит себе под нос: полог положил, накомарник на голове, спички, табачок взял, крючки в кармане, а хариусы и ленки на месте, в Иваке; топор, починяльная сумка, ложки, кружка – тут.

– Как думаешь, Николай, дрова отсюда возьмем или там найдем? – спросил он громко, шутливым тоном.

– Маленько положи себе в котомку, – ответил тот, уже готовый в путь.

– От реки зря не ходите, – напутствует Улукиткан, – где прижмет, не торопитесь, хорошо смотрите, ищите обход. Упаси бог, лишний брод не делайте через Ивак, лучше через гору перелезть… Там где-то умер мой отец. Может, старое становище найдете, кости человека увидите, обязательно спрячьте их под мох. Теперь мне туда уже не ходить, – добавляет он грустно, кивнув головою в сторону Ивака, и его сухое, старческое лицо печалится.

Мы следим, как два наших товарища проходят марь и перед тем, как скрыться за стеной стлаников, оглядываются, машут нам на прощанье руками. Завидно, но на этот раз я не могу идти с ними.

К концу третьего дня с хорошими вестями вернулись разведчики. Путь к Алданскому нагорью открыт. С истинным облегчением я дал команду полевым подразделениям начинать штурм Станового.

Теперь можно и возвращаться на Маю. Жаль, что из-за тумана мне не удалось взглянуть с ближней вершины на хребет и не удалось, как хотелось, добыть для коллекции несколько экземпляров снежных баранов.

Но мы еще вернемся сюда, непременно вернемся!..

Часть пятая

I

Тайна старых пней. Незрячий ведет зрячего. Шумит, беснуется Купуринский перекат

В начале июня, после нескольких дней пути, мы вышли к Мае. Тут весна в полном разгаре. Зеленеет скупая земля. Распушились березы. В тайге не смолкают птичьи голоса.

Караван остановился на ночь до захода солнца. Завтра наш отряд разделится. Мы с Улукитканом решили проникнуть к истокам Большого Чайдаха, перевалить Джугдырский хребет и по пути проинспектировать полевые отряды. Затем по рекам Лючи, Зея пробраться к устью Джегормы, где стоит лагерем наше геодезическое подразделение. Руководитель – техник Трофим Королев, бывший беспризорник, воспитанник экспедиции и близкий мне человек. Но чтобы не везти с собой весь наш груз по этому сложному маршруту, сберечь силы оленей на будущее, мои спутники – Василий Мищенко и Геннадий с каюром Николаем – пойдут к устью Джегормы более прямым путем, через безымянные отроги Станового хребта и там дождутся нас. Встречу назначили на 23 июня.

Вечером долго сидели у костра. Улукиткан изображал на брезенте тонкими веточками ерника карту той местности, которую придется пересечь нашим товарищам, пробираясь к Джегорме, и подробно рассказывал о проходах, перевалах, своротах.

– К Пакче-речке спуститесь, – толковал он, – сразу звериный брод будет – не ходите, обманет: вьюки намочите, а то и оленей потопите. Идите выше, у второго утеса перебродите реку. Там и ночуйте. Дальше гари пойдут, корму оленям не будет до Джегормы…

Старик все больше и больше удивляет нас своей памятью. Кажется невероятным, что в его маленькой, слегка приплюснутой голове вмещается с мельчайшими подробностями огромный край, по которому он бродил восемьдесят лет, мытаря горе кочевника. Все, что видели его глаза за эти долгие годы, – а видели они очень много, – память бережно и свежо хранит в своих тайниках. Улукиткан не страдает старческой рассеянностью, ему чужда забывчивость.

В долине заметно холодало. Затухал на потемневшем небосклоне багровый закат. Стихало в тайге. Лишь осторожный дрозд, усевшись на макушку темной ели, робко посылал в пространство чудесные звуки своей вечерней песни.

В десять часов утра девятнадцатого июня мы распрощались. Товарищи ушли на запад по безымянному ключу, а мы с Улукитканом направились на юг. В хлопотах и сборах я забыл привязать Кучума, и он вместе с Бойкой убежал следом за Василием. Когда же вспомнил про него, кобель был уже далеко. Ничего не оставалось, как только подосадовать на себя – скучно будет в походе без преданного четвероногого спутника…

Улукиткан едет верхом, ведя за собой груженый караван из восьми оленей. На правом плече у него висит бердана – постоянная спутница его таежных походов. Я иду следом. На душе необыкновенно легко и просторно. Бывают минуты, когда сознание становится ясным, светлым, а окружающий мир доступным, запоминающимся. Век бы так шел навстречу раскрывшимся желаниям! С таким радостным настроением я шагал следом за караваном, но, если бы я мог заглянуть хотя бы на один день вперед, мы бы с Улукитканом немедленно повернули бы обратно и бежали бы отсюда, как звери от пожара.

Проехав километра три от стоянки, мы вышли к левобережному ключу. Старик слез с оленя, ощупал глазами брод, стал переводить в поводу караван. Но вдруг у него поскользнулась нога, и, падая, он ушибся головой о камень. Я подбежал к нему. На его лице отражалась нестерпимая боль. Он пытался что-то сказать, хватал открытым ртом воздух и дико таращил на

меня глаза. С трудом мне удалось вытащить его на берег. К счастью, рана на голове оказалась неглубокой. Отдохнул он с час под лиственницей и настоял на том, чтобы ехать дальше.

Еле заметная звериная тропа ведет нас по широкому распадку к подножию плосковерхой сопки. Темные лесные дебри неохотно пропускают караван. На пути стеной встает кедровый стланик необычайной для него, почти четырехметровой высоты.

Кедровый кустарник почти сплошь покрывает склоны Джугдырского хребта. Местами стланики здесь образуют совершенно непролазные заросли. Их стволы толщиной нередко до пятнадцати сантиметров так переплетаются между собою, что только на четвереньках и пробьешься сквозь них. А местами вообще не пройти ни человеку, ни зверю. Надо было удивляться умению Улукиткана находить лазейки в этой чаще.

Мы пробирались очень медленно. Подъем становился все круче. Но вот поредел лес. Появились мелкие проталины, и после двухчасового пути буйная растительность осталась позади. Мы вступили в гольцовую зону – в область лишайников и мхов.

Под ногами пушистым ковром расстилается бледно-бледно-желтый ягель, мягкий, как губка. Несмотря на то, что много дней не выпадало осадков, дуют теплые ветры и почва уже давно просохла, мхи и лишайники обильно пропитаны влагой. Эти неприхотливые растения из тайнобрачных обладают способностью добывать влагу не из почвы, а непосредственно из атмосферы, особенно ягель: его пористые, густо сплетенные ростки накапливают столько воды, что ее можно легко отжать рукой, как из губки. В засушливое же время года, когда не бывает источника влаги – туманов, ягель так высыхает, что мнется и рассыпается под ногами, точно вермишель.

…На седловине мы дали оленям передохнуть. Тайга пустовала без ветра, без птичьих песен, без звериного шороха, лишь изредка пропищит бурундук, вспугнутый караваном, да с неба долетит одинокий крик коршуна. Сегодня мы впервые увидели стаю казарок, молчаливо пролетавших над нами к Становому.

– Обедать где будем? – спросил я своего спутника.

Улукиткан, прислонившись к стволу карликовой ели, прикладывал к глазам тряпочку и на мой вопрос не ответил.

– Что, глаза болят? – встревожился я.

– Ничего… мало-мало не видят.

– Раньше у тебя было так?

– Нет. Да ты не беспокойся, у старый люди всяко бывает, пройдет, – проговорил он обнадеживающе-ласково.

Но моя тревога оказалась ненапрасной. Присматриваясь к его глазам, спрятанным глубоко в разрезе век, я не увидел в них обычного огонька, оживляющего его лицо. Тонкая, полупрозрачная муть затянула зрачки.

– Ты все видишь вокруг себя или нет? Может быть, они болят у тебя от солнца, как тогда, зимой, под Кукурским перевалом, или от ушиба о камень? – допытывался я.

Старик беспомощно отвел руки от глаз, посмотрел на меня, огляделся вокруг и в испуге присел на корточки.

– Однако, ветер дурной глаз портил, – с горечью признался он. – Ладно. Немножко отдохнем и пойдем дальше. Обедать в ключе будем.

– Не лучше ли остановиться здесь на ночь? – предложил я, не на шутку встревоженный случившимся.

– Что ты! – запротестовал он. – Если на все болезни старику откликаться, не то что работать – даже кушать ему некогда будет. Не та удача, что легко дается. Садись ко мне близко и слушай. Может быть, Улукиткан последний раз видит тайгу, горы, стланик. Помни, хорошо помни: твой путь к людям лежит так… – И он, проткнув пальцем солнечный день, показал на юго-запад. – А меня бросишь тут, в тайге.

– С чего это у тебя такие мысли мрачные? Напрасно тревожишься, Улукиткан. Глаза поправятся, и все будет хорошо. Тебе еще долго надо жить.

– Только жить – это шибко мало, надо уметь работать, чтобы жить хорошо было.

– Ты уже достаточно поработал.

– Я ничего больше не говорю. Кедровка много кричит, да кто ей верит?.. Смотри, там должна быть высокая гора, возле Маи, а я ее не вижу… – И старик, кивнув головой на восток, долго щурил глаза, протирая их тряпочкой.

Тяжелая печаль легла на добродушное скуластое лицо с устремленными вдаль потускневшими глазами. В глубине моего сознания нарастает тревога: неужели проводник ослепнет? Что тогда я буду делать в этой незнакомой глуши, да еще так далеко от жилья? Как выведу слепого? Стараюсь гнать прочь эти страшные мысли. Хочется как-то поддержать старика, ободрить его – и не могу найти подходящие слова.

– Однако, пойдем, надо торопиться, – прервал Улукиткан долгое молчание.

В его голосе прозвучала безнадежность. Неуверенно он поднял с земли конец повода, перекинул через плечо бердану и неохотно, медленно, словно обреченный, сел на оленя.

– Ты видишь, куда ехать? Может быть, мне идти вперед? – осторожно спросил я.

– Куда след тянуть надо – вижу, – ответил он, толкая ногами оленя в бока, и наш маленький караван тронулся дальше.

Мы спустились в ключ по крутому склону. Ниже россыпи нас враждебно встретил стланик и захламленная буреломом тайга. Идти стало еще труднее. Но Улукиткан, не теряя направления, с обычной ловкостью пробирался сквозь чащу, обходил промоины, завалы, и у меня постепенно рассеялось беспокойство. Я решил, что его слепота была временной, вызванной, скорее всего, солнечным светом.

За ключом лес оборвался, и мы вышли на марь, широкой полосой протянувшуюся вдоль отрога. Кое-где на ней виднелись одинокие лиственницы, чахлые, горбатые, измученные непосильной борьбой с длительной стужей. Видное глазу пространство сплошь покрывали черные высокие кочки, словно расставленные в беспорядке цветочные горшки. Старая, пожелтевшая трава на кочках свисла, уступив место свежей зелени, уже потянувшейся густой щетиной к солнцу. Это черноголовник. Он раньше всех выбросил свои ростки.

Олени, выйдя на марь и уловив запах первой зелени, всполошились. В это время года они предпочитают черноголовник любому корму.

– Однако, чай пить надо. Вон у той лиственницы должно быть сухо, пойдем туда, – сказал Улукиткан, по-юношески спрыгивая с оленя.

Старик провел караван вдоль кромки леса и уже подходил к лиственнице, но вдруг остановился, стал беспокойно озираться по сторонам. Не понимая, что случилось, я тоже задержался. А старик с необычайной поспешностью вскочил на верхового оленя, стал тормошить его поводным ремнем, толкать ногами и торопливо проехал дальше, минуя лиственницу.

– Ты что же, Улукиткан, чай пить не хочешь? – спросил я.

– Эко не видишь, место тут худое! – крикнул он мне, скрываясь за перелеском.

«Что же тут худого?» – подумал я и стал осматривать лиственницу.

Это было старое дерево, толстое, сучковатое, но без каких-либо подозрительных примет. Около него было сухо, ровно, лучшего места для привала тут не найти. На краю леса я увидел несколько полусгнивших пней и обломок дерева, вероятно от долбленой лодки, да остатки костра, уже наполовину покрытые мхом. Видимо, когда-то, давным-давно, сюда на марь заходили лесные кочевники. Так я и не разгадал, что же встревожило проводника.

Уходя, я еще раз тщательно осмотрел лиственницу и решил, что старику что-то померещилось или просто почему-то не понравилось это место.

Улукиткан остановился сразу за перелеском. Когда я пришел туда, он уже развьючивал оленей.

– Напрасно ушел от лиственницы, лужайка там сухая, без кочек. Чего испугался?

Он вскинул на меня печальные глаза и, медленно выговаривая слова, сказал:

– Слушай: тому надо бояться, кто плохо видит, а я смотрел шибко хорошо. Там покойник есть. Как ты не заметил? Старики раньше говорили: плохо делать огонь около могилы, стучать топором, топтать землю ногами – нехорошо напоминать умершему о земных делах. Понимаешь?

– Да ведь я, Улукиткан, просмотрел там все, даже признаков могилы нет. Откуда ты это взял?

– Эко смотрел! Слепой, пока не пощупает рукой и не попробует языком, не скажет, что кушает, так и ты! – упрекнул он меня. – Ладно, чай пьем, потом смотреть пойдем…

Я верил в необычайную наблюдательность и прозорливость старика, но на этот раз усомнился. Вместе с тем мне очень хотелось, чтобы Улукиткан оказался прав и сейчас.

Пока он развьючивал оленей и отпускал их на корм, я притащил дров. Вспыхнул костер, зашумел чайник.

Улукиткана не покидало грустное настроение. Заметно уменьшилась его подвижность. Он ушел в себя, стал неразговорчив, на лоб наплыли складки раздумья.

– Как твои глаза? – спросил я осторожно.

– Мало-мало стало лучше, однако, совсем хорошо не будет. Стар я. Скала вон какая крепкая, а время ломает и ее.

– Вечером сделаем примочку. Может быть, глаза у тебя устали и требуют более продолжительного покоя, нежели одна ночь. Давай задержимся на Чайдахе дня на два, на три, пока совсем не выздоровеешь.

– Что ты, торопиться надо! – решительно возразил он, и тень невысказанной тревоги легла на его морщинистое лицо.

Мы закусили медвежьим мясом, напились чаю. Олени разбрелись по кочковатой мари в поисках зеленого черноголовника. Солнце косыми лучами грело тайгу.

– Пойдем смотреть, кто умер, да надо ехать, до ночевки еще далеко, – сказал Улукиткан.

У лиственницы старик остановился, потоптался, посмотрел вокруг и подошел к кострищу. Оживились, забегали его глаза, чуть слышно зашептали что-то губы. В напряженном раздумье он чесал затылок.

– Люди, которые тут были, шли куда-то дальше, да болезнь надолго задержала их тут, – сказал он спокойным голосом. – Видишь, какой большой очаг остался, много сгорело в нем дров.

– Почему ты думаешь, что людей задержала именно болезнь? Разве они не могли выбрать это место для длительного отдыха?

– Нет. Ворон далеко летает, однако селится там, где корм есть. Посмотри, кругом ягеля совсем нет, чем будет тут кормиться олень?

– А разве черноголовник плохой корм?

– Его олень ест только весной, пока он сочный, но все равно оленю каждый день нужен ягель. Да и эвенку тут делать нечего, место худое: стланик, чаща, россыпь – в такой тайге зверь не держится. Только шибко больной люди могли жить тут – ведь река Чайдах рядом, а там и мясо можно достать, и ягель есть, да, видно, туда сил не хватило доехать. Теперь понимаешь?

Улукиткан осторожно, словно боясь нарушить чей-то покой, подошел к пням. Его сухое старческое лицо стало снова сосредоточенным.

– Однако, я ошибся, тут было два покойника. Наверно, отец с ребенком, мальчик или девочка – теперь не узнать, много лет прошло. Они умерли одно время, может, от одной болезни, а похоронила их женщина маленького роста, – тихо рассуждал старик, как бы сам с собою.

Я стоял, с недоумением глядя то на старика, то на пни: пни как пни, самые обыкновенные, какие встречаются повсюду в тайге, без всяких надписей и условных меток.

– Как ты смотрел и не видел? Плохо, когда не понимаешь, что видят глаза, – сказал старик, успев заметить мои сомнения. – Тогда слушай, хорошо слушай… Видишь, четыре пня стоят попарно, как ножки кровати, это лабаз был сделан для покойника. Деревья срубила маленькая женщина, смотри, какие низкие пни…

– Почему женщина? Их мог срубить и невысокий мужчина…

Улукиткан рассмеялся тихим, беззвучным смехом:

– Надо понимать, как дерево срублено. Топор кругом ствола ходил – так рубит только женщина. Мужчина рубит с двух сторон.

Приглядываясь к пням, я заметил, что деревья действительно были срублены как-то не по-мужски, нетвердой рукой.

Улукиткан продолжал объяснять:

– По длине лабаза разве не понимаешь, что большой люди тут лежал, а по ширине его делали на два человека. Этот кусок дерева видишь? Он от корыта, в котором раньше хоронили детей. – И Улукиткан вывернул ногою полусогнутый обломок. – Теперь как думаешь, старик правильно сказал?

Под обломком корыта мы увидели несколько бабок, позеленевших от времени, изъеденных сыростью. Они были различной величины, от крупных и мелких зверей, и лежали горкой.

– Э-э-э… – протянул нараспев старик, утвердительно закачав головою, – не дочь, а сын был похоронен. Это его игрушки, их под лабаз положили. Вот и все.

– Я бы ни за что не догадался.

Старик улыбнулся и шепотом сказал:

– Тебе еще рано все знать. Мать дает жизнь, а годы – опыт. Теперь пойдем отсюда, нельзя долго тревожить умерших, – закончил он еще тише и, согнувшись, торопливо зашагал к перелеску.

У меня под ногой громко хрустнул сучок. Улукиткан испуганно оглянулся и неодобрительно погрозил пальцем…

Мне оставалось только подивиться сочетанию в этом человеке многолетней проницательности, мудрости с наивным, первобытным суеверием…

В пять часов мы покинули стоянку и двинулись через марь. Моему проводнику и оленям привычно ходить по марям, я же передвигаюсь с большим трудом. Высокие кочки из торфа, туго переплетенные корневищами осоки, не выдерживают тяжести моего тела, пружинят. Ноги скользят. Но падать нельзя – меж кочек прячутся предательские ямы, наполненные водой. Иду, словно на высоких ходулях, ступаю очень осторожно, и все же вскоре сапоги мои наполняются водой.

За марью меня поджидал Улукиткан. Я выжал портянки, и мы продолжали путь.

Когда вышли на отрог, солнце заканчивало дневной путь. Ветерок набрасывал прохладу. Улукиткан слез с оленя и, опершись грудью на палку, долго смотрел вперед на широкую долину.

– Большой Чайдах, – сказал он задумчиво, не отрывая взгляда.

Сквозь темно-синий сумрак уходила на восток к Мае широкая долина, сдавленная с боков плоскими горами. Темная тайга, перехлестнув отроги, стлалась рваным покрывалом. По ней вяло ползли тени обтрепанных ветром туч. На дне долины в густых ельниках вилась небольшая река. От пологих берегов и до вершины соседнего отрога полосами взбирались сплошные заросли стланика; виднелись выступы полуразрушенных скал. На более крутых склонах гор лысинами лежали каменные осыпи да старые гари. Долина, казалось, отдыхала в безмятежном покое.

Мы спускаемся. Ночь быстро опережает нас. Над головами смутно замерцали звезды. В лесу стало глухо и тревожно: кусты, деревья, пни порой кажутся живыми существами, передвигающимися вместе с нами. Идем на ощупь.

Вдруг справа послышался подозрительный шорох. Улукиткан задержал караван. Снова тишина, и снова треск…

«Ух-ух-ух…» – совсем близко послышался крик удаляющегося медведя.

– Однако, еще жить будет Улукиткан: амикан[46] боится меня, – сказал старик серьезно.

– Что, опять неладно с глазами? – спросил я, увидев, что он прикладывает платок к глазам.

– Малость вижу, не беспокойся. Ночевка близко, дойдем, там, может, лучше будет…

– Значит, глазам хуже стало?

Старик не ответил; молчание его усилило мои опасения. Снова в голове зашевелились тревожные мысли, и, как бы в доказательство моей страшной догадки, он молча вложил мне в руку поводной ремень своего оленя. Я посмотрел ему в лицо и все понял…

А темнота сгущалась. В долине все уже уснуло или затаилось, и только мы одни продолжали пробираться сквозь лиственничное редколесье, освещенное бледным мерцанием звезд. Я шел впереди, за мной шагал старик, держась одной рукой за хлястик моей телогрейки. Следом тянулись усталые олени. Где-то недалеко шумел Чайдах, да позади тревожно кричала отставшая Майка.

Вот и берег. Мы вышли на небольшую поляну, окруженную с трех сторон высоким лесом. Под толстой елью я остановил караван.

– Совсем темно или я плохо вижу? Это ель? – спросил Улукиткан, показав на дерево.

– Ель.

– Тода хорошо. Может, смотреть буду. Эту ель знаю. Место тут сухое, корм близко, ночуем.

Мы развьючили оленей. Я притащил дров, и, пока я ходил за водой, старик разжег костер. Нужно было немедленно принять какие-то меры, не дать старику совсем ослепнуть, но моих скудных познаний в этой области, конечно, было недостаточно, да и не имелось никаких средств под руками. Я предложил сделать на ночь согревающий компресс.

– Не надо, – ответил он спокойно. – Если утром я не увижу солнца, значит конец, пора Улукиткану отправляться к своим предкам. Для слепого тут дела нет. Тот, кто ел жирное оленье мясо, не захочет жевать сыромятный ремень. – Он на минуту задумался, и его лицо стало болезненно-грустным. – Неужели тут, на Чайдахе, оборвется мой след? – снова заговорил Улукиткан. – Куда ты один пойдешь, без меня? Место глухое, тайга, незнакомому человеку трудно выпутаться из нее, а до жилухи далеко, ой как далеко!..

– Зачем ты думаешь об этом, Улукиткан?! Допивай чай и ложись спать, отдохни. Что бы ни случилось с тобой, мы будем вместе, – попытался я успокоить его, но голос мой прозвучал неуверенно.

Тяжелый вздох вырвался из его груди. Проводник не надеялся на меня, на мой опыт. Да и горько было ему сознавать свою беспомощность.

Ужинали молча. Шел двенадцатый час. В таинственной тиши ночи слышны были шаги оленей, собиравших по берегу прошлогодние листья тальника. За перекатом тихо гоготали перелетные гуси. Еле уловимый ветерок лениво перебирал густые кроны елей. А вокруг лежала безлюдная, необъятная глушь, лесные дебри, полный неизвестности путь.

Догорал костер. Старик, отодвинув от себя чашку, собрал с колен хлебные крошки и бросил их в рот.

– Где спать будешь? – спросил я.

---

[46] *Амикан* – медведь.

– У огня. Пусть тело греется. Теперь уже немного остается моих костров в тайге, – ответил он и, добравшись на четвереньках до багажа, стал на ощупь искать свою постель.

Сердце мое сжалось от боли…

Я подбросил в костер дров. В чаще пугливо ухнул филин. С неба свалилась спелая звезда.

Забираюсь в спальный мешок, но сон откачнулся от меня. Тщетно пытаюсь разобраться во всем случившемся. Еще хочется верить, что Улукиткан не ослепнет и мы продолжим свой путь.

Плохо спал и старик. Он часто ворочался, затяжно стонал и что-то бормотал на родном языке.

Постепенно дремота овладела мною, я уснул, но и во сне тревожные события продолжали нагромождаться одно на другое, как деревья в таежном завале. Когда я проснулся, в небе гасли Стожары, но еще было темно. Настороженно-чутко дремали лесные дебри. У огнища, прикрытого холодным пеплом, сидел старик. Поношенная, в латках дошка, старенькая от ветра и бурь, туго обтягивала его сгорбленную спину. Маленькая голова с взлохмаченными волосами покорно свалилась на согнутые коленки. Складки тревоги стянули нависшие брови. Босые ноги, припухшие от вздутых вен, посиневшие, были влажны от изморози. Улукиткан, видимо, забыл про ночь, не замечал холода. Грустное раздумье целиком захватило его… В его позе и потухшем костре, в тяжелом молчании – непоправимое горе.

Я выбрался из спального мешка. Старик, услышав шорох, устало приподнял голову. Его лицо стало еще более сумрачным. Напрасно искал он меня открытыми глазами… Они потухли. Во тьме растворились знакомая ель, костер, звездное небо.

– Я видел страшный сон, будто мы с тобою кочевали на Большой Чайдах. На хребте нас застала тьма. Ты сказал, что солнце совсем потухло. Правда это?

– Мы с тобою, Улукиткан, ночуем на Чайдахе.

– Если это верно, тогда правда другое: для меня солнце потухло.

– Ты бы лучше уснул, Улукиткан.

– Спать хорошо зрячему, а слепому думать надо, что делать дальше.

– Что делать? Поживем тут, на Чайдахе, дня три – может, твои глаза поправятся – и тогда уйдем своей дорогой, – ответил я, стараясь придать голосу как можно больше бодрости.

– Нет. Как нельзя оторваться от своего следа, так нельзя вернуть мне солнце. За что такой конец пришел мне? Уходить надо от этих мест. Один день нельзя тут жить… Ты разожги костер, садись рядом, близко ко мне, будем говорить, нельзя в горе терять голову.

Вспыхнул огонь. Я сходил с чайником за водой. В долине стояла предрассветная тишина, только недалеко шумливо плескался перекат да где-то за береговым лесом мелодично позванивал колокольчик на олене.

Улукиткан смотрел на огонь печальными глазами, тускло отражавшими отсвет красного пламени. Еще глубже морщины вспахали его лоб. Мне вдруг стало дорого все: и его латаная дошка, и пальцы, изувеченные подагрой, и шрам на затылке, и все, до чего он дотрагивался и о чем вспоминал!.. Не знаю, какой бы ценой я заплатил, чтобы только вернуть ему зрение!

Улукиткан устало приподнял голову и сказал:

– Слушай старика, хорошо слушай. Я уже не человек. Упавшей скале не подняться. Часто, шибко часто у Улукиткана не оставалось оленей и все добро помещалось в котомке. Я не горевал, не завидовал тем, у кого были стада оленей, лабазы со всяким разным добром, нарядные чумы. Я жил лучше всех, мое богатство – здоровье. Оно мне давало мясо, одежду и спокойный сон. Я не боялся пурги, перекатов, холода, меня не держала тайга, кругом была дорога. Здоровому человеку и горе кажется радостью. Теперь, ты видишь, Улукиткан потерял глаза – у него не стало ни рук, ни ног, ни воли. Однако, я не должен бросить тебя здесь, на Чайдахе, так далеко от людей. Такого закона нет в тайге. Умирать подожду. У Улукиткана есть память, слух и руки, чтобы показывать путь. Как-нибудь доберемся до устья Джегормы, к своим, и

тогда я спокойно отправлюсь к прадедам. Это мой последний аргиш. Мы не пойдем на Лючи, это совсем далеко. Нам надо идти на заход солнца. Дорога будет длинной, тяжелой: горы, стланики, дурные речки. Под ногами не будет тропы. Место тебе тут чужое, все одно что слепой, а в такой дурной тайге даже зрячему нехитро заблудиться. Если солнце не потухло, оно покажет нам путь; птицы, деревья, ветер помогут не заблудиться. Идти надо скоро. Нас может догнать худой погода – дождь, туман, – тогда как поведешь аргиш?..

– Боюсь, Улукиткан, как бы хуже не получилось. Здешняя тайга мне незнакома, не знаю, где броды, где перевалы, заберемся в дебри – погибнуть можем. Лучше вернуться на вчерашнюю стоянку и догонять своих, – перебил я его.

– Что ты, оборони бог! Тот путь другой хуже, нам с тобою не пройти, да и слепому не догнать зрячего.

– Но ведь наши прошли?

– Николай два-три раза ходил там, хорошо проведет, а мы пойдем тут. Не бойся, человек в нужде море переплывет, – ответил он, расстегивая дошку и грея у огня костлявую грудь.

В его хриплом голосе прозвучала такая уверенность в успехе, что и мои сомнения рассеялись.

Еще ночь, густая, властная. С реки льется сонная прохлада. В лесу затянувшийся предрассветный покой.

Жизнь, казавшаяся утром доверчивой, понятной, вдруг одичала, вздыбилась, стала недоступной. Кто знает, какой удел и мне готовит судьба в этот день? Только бы не потерять спокойствия, а главное – сберечь силы в этой неравной борьбе с непокорной природой. Они нужны мне были теперь на двоих.

Мысли снова и снова возвращаются к Улукиткану. Сузился его круг желаний. Ненужными стали котомка, тропа, бердана. И только сучковатый посох с примятым концом останется при нем да слепая, ничем не оправданная надежда на выздоровление.

– Уже утро, слышишь – дыргивки[47] летят, – сказал Улукиткан. – Сегодня обязательно хороший день будет. Река внизу шумит, надо торопиться.

– Сейчас напьемся чаю, я пойду за оленями, а ты маленько уснешь.

Старик покачал головой:

– Сон убежал от меня, как олень от выжженных мест. Пока ты ходишь, надо бы вьюки наладить, да, видишь, как случилось: руки здоровые, а работу найти не могут; ноги есть, а куда идти, не знают. Худо слепому, кругом худо.

Он подсунул на ощупь в огонь головешки. Его глаза бесцельно смотрели в пространство. Костра он уже не видел…

На кровавую зарю иззубрился четким контуром хребет. В безоблачном небе одна за другой гасли звезды. Ветерок, чистый, прохладный, тянулся в просвете леса и, шевеля чащу, будил в ней пернатых музыкантов. С гор веяло спокойствием и глубоким миром.

Непривычному человеку трудно в тайге разыскать оленей. Не любят они кормиться на одном месте. Даже сплошные заросли ягеля не могут «спутать» ноги этим животным. Разбредутся олени по полянам, по чаще, и не так-то просто собрать их.

Более двух часов я потратил на поиски оленей и все же одного не нашел.

– Эко беда! – досадовал старик. – Олень без следа не ходит, как не нашел?

Он поднялся и пошатнулся, как ребенок, делающий первые шаги. Земля казалась ему текучей, он не знал, куда поставить ноги, что делать руками в темноте. Дрогнул его подбородок, скупая слеза пробороздила жесткую щеку.

---

[47] *Дыргивки* – дрозды.

Я взял его за руку и подвел к оленям. Животные, как обычно, были связаны друг с другом. Старик поочередно ощупал твердыми, как деревяшки, пальцами у каждого рога, спину, уши и на минуту задумался.

– Самого старого нет, – сказал он грустно. – Много лет этот орон[48] ходил со мною по тайге, а теперь, видать, не хочет: кому нужен слепой Улукиткан!

Старик перевязал всех оленей по-своему, в том порядке, как они шли вчера.

– Помни: нужно за сильным привязывать слабого, за слабым – опять сильного, и так всех, тогда хорошо ходи, – пояснил он.

Затем Улукиткан положил седла на оленей и сказал, чтобы я запомнил, какое из них на каком олене лежит; помог вьючить. Все это он делал на ощупь, но быстро. Руки его не утратили прежней ловкости. Только глаза теперь не следили за работой, они с печальным безразличием смотрели в пространство.

– Огнище не забудь залить водой: как бы пал не пошел.

Через час караван был готов тронуться в далекий, неизвестный мне путь. Улукиткан снял колокольчик со своего ездового оленя и надел его на мать Майки, идущую последней в связке.

– Так буду слышать, все ли олени идут сзади, не потерялся ли какой.

С сутулых хребтов на тайгу сползал тяжелым маревом туман, а за ним томилось в огненном накале солнце. В долине тишина.

Улукиткан подал мне свою закоченевшую руку. Откинув назад голову, он смотрел невидящим взглядом на небо. Солнечные лучи текли в его открытые глаза. Весенний ветерок ласково взмахивал над нами невидимыми крыльями, как бы пытаясь согнать с лица слепого безысходную скорбь.

– Покажи, где сейчас живет солнце? – спросил наконец он, но сейчас же поправился: – Однако, мне пора забыть его – зачем беззубому думать о костях!

Я поднял его руку в сторону солнца. Он забеспокоился:

– Промешкали, ишь куда убежало! Как думаю, вершина Чайдаха там будет? – И он отбросил руку в противоположную сторону.

– Да, там, – подтвердил я.

Улукиткан навалился грудью на посох, нахмурился, потупив невидящий взгляд в землю. Он вспоминал местность, по которой лежал наш путь, и, вероятно, думал: как ему, слепому, направить зрячего по нужному пути?

– Ты поведешь аргиш через Чайдах на другой берег и потянешь след вверх по реке. Впереди будут ключи – хорошо смотри, не торопись, – на устье одного из них увидишь лиственницу с гнездом рыбака[49], там и сворачивать будем к перевалу. Ладно понял?

– Как не понять, все ясно.

– Теперь завяжи мне платком глаза, они не нужны, а ветка ударит – лишняя боль.

Твердая, неукротимая воля прозвучала в его спокойном голосе. Глядя на него в этот момент, трудно было поверить, что он слепой, что его окружает беспросветный мрак, и еще более невероятным было то, что он берется провести по тайге караван до Джегормы, так далеко от Большого Чайдаха!

Никогда не забыть мне этих первых шагов со слепым проводником! С трудом верилось в благополучный исход нашего путешествия. Не хотелось думать о завтрашнем дне. Судьба свела меня в неравный поединок с дикой и беспощадной природой, предстояла затяжная и сложная борьба за жизнь. Я мог рассчитывать только на свои силы и опыт. Хватит ли их у меня, чтобы найти проход через Джелтулакский перевал, пробиться сквозь незнакомую тайгу? Спасу ли я

---

[48] *Орон* – олень.

[49] *Рыбак* – хищная птица, скопа.

слепого проводника? Я со всей ясностью чувствовал свою привязанность к Улукиткану, этому лесному милому человеку, и тем тяжелее мне было видеть его безутешное горе.

Теперь наш караван представлял довольно странное зрелище: я шел впереди, ведя в поводу крупного ездового быка, на котором комочком сидел слепой старик с берданой за плечами, с посохом в руке и с завязанными глазами. А следом за ним тянулись гуськом завьюченные олени. Унылый звон колокольчика сопровождал наше шествие.

Перебрели Чайдах. На противоположном берегу нас встретил молчаливый сумрак старой лиственничной тайги. Чувство тревоги и волнения охватило меня, как только я вошел с караваном под свод гигантских деревьев.

Идем напрямик, как звери. Живая и отмершая растительность мешает двигаться вперед. Под ногами бурелом, трухлявые пни, сучковатый валежник, прикрытый мягким зеленым мхом. Стланиковые крепи неохотно выпускают нас из своих цепких объятий. Эти препятствия обычны в экспедиционной жизни, без них невозможно представить себе путешествие по тайге, но сейчас, кажется, и валежник, и пни, и чаща враждебно восстали против нас. Мое внимание теперь не привлекают рябчики, бурундуки, белки. Слух не замечает пения птиц и весенней суеты. Какое-то безразличие к окружающему овладевает мною. Все внимание сосредоточено на одном настойчивом желании двигаться вперед.

Через час лес поредел. Расступилась чаща. В широкие просветы заглянуло солнце. Справа шумит река. День на редкость мягкий, теплый, идти становится легче. Наконец совсем посветлело, и я увидел впереди бугристую марь. А за ней полукругом раздвинулись плосковерхие горы, прикрытые черной шубой отогретых лесов.

– Ладно ли след тянешь? Пошто солнце в щеку греет? Держи его сзади, – слышу голос старика.

– Болото обхожу.

– Э-э-э… тогда ладно. А я думаю, сбился с пути…

За болотом потянулись еловые перелески. Занырял караван по замшелым буграм, зашлепала под ногами оленей черная маристая вода.

– Поправь след, подожмись к речке: однако, там суше, прямее пройдешь. Да ладно ли вьюки лежат? Не намять бы оленям спины, – беспокоится Улукиткан.

Подходим к берегу. Пара вспугнутых куличков-перевозчиков низко проносится над водою.

«Ти-ли-ти-ти… ти-ли-ти-ти…» – перекликались птицы.

Я остановил караван, стал поправлять вьюки. Улукиткан устало слез с седла и с трудом расправил онемевшие конечности, потоптался. Земля под ногами теперь казалась ему чужой, неустойчивой. Передвигался он по ней неуверенно, по-детски переставляя худые ноги. Непривычные к безделью руки искали опоры. В складках высохших губ гнездилась печаль.

По-над рекой идти действительно легче и суше. Береговая почва не задерживает на поверхности весеннюю воду. Но здесь нас опять окружила молчаливая лесная чаща. Я видел перед собой только поросль молодого леса вперемешку со стлаником да густое сплетение еловых крон. У второго ключа мы снова вышли на болото. За ним продолжалась все та же широкая долина Чайдаха, запертая с трех сторон пологими сопками, на склонах которых видны пятна тающих снегов. Меня удивляют контрасты этой местности: то мы с трудом пробираемся сквозь навевающий уныние лес, то наш путь перехватывают кочковатые мари, залитые водой и представляющие в это время безрадостное зрелище.

Как только мы опять вышли из леса, я увидел лиственницу с большим гнездом на сломанной вершине, сплетенным из толстых веток.

– Гнездо вижу! – крикнул я обрадованно.

– Что, на болото вышли? – спросил Улукиткан.

– Да.

– Сворачивай к гнезду.

Звериная тропа, на которой заметны старые следы сохатого, помогает нам обойти болото и добраться до ключа. Усаживаю старика возле пня, а сам развьючиваю оленей, разжигаю костер, принимаюсь за приготовление обеда. Теперь все дорожные хлопоты лежат на мне. На остановке работы всегда много. Ко всему этому теперь прибавилась забота о слепом проводнике.

Костер разгорается медленно. По синему весеннему небу плывет раскаленное солнце. Где-то высоко над волнистой стайкой мелких облачков с еле слышным криком несутся к северу журавли. Сюда, в долину, уже прилетело множество молодых птиц. Все они сразу же стали вить или ремонтировать свои гнезда, будто понимая, что в их распоряжении слишком короткое лето и что нужно торопиться.

Улукиткан сбросил с себя дошку, стащил с худого тела рубашку, хотел повесить ее на сучок, но обнаружил, что сидит возле пня. Встал, ощупал его кругом, повернул к костру голову.

– Беда слепому! – сказал он с досадой. – Пока рука не найдет или ухо не поймет, сама память не подскажет. Этот пень, однако, я рубил восемь лет назад. Тогда тут, на Чайдахе, мы со старухой белковали. Наш чум стоял на устье ключа. Ходи смотри, не лежит ли там медвежий череп. Зверь тут меня немного когтями пахал. – И старик, повернувшись ко мне спиной, показал глубокие шрамы на затылке. – Хотел меня кушать, да не успел: старуха убила его. Сходи посмотри…

На устье ключа я нашел еще хорошо сохранившиеся палки от чума, сваленные в беспорядке на землю, остатки брошенных, уже сгнивших тряпок и костяные рогульки от вьючного седла. Близ лиственницы с гнездом, на высоком, квадратно обтесанном пне, лежал череп крупного медведя.

– Все нашел, Улукиткан: и череп, и огнище, и палки от чума, – доложил я старику, вернувшись на стоянку.

– След человека в тайге долго живет, – сказал он.

– Медведь, видно, крупный был. Говоришь, жена убила?

– Вместе его промышляли. Я ему глаза портил, а она стреляла.

– Как это – глаза портил?

Старик отодвинулся от костра, спрятал под себя ступни согнутых в коленях ног и, как всегда в раздумье, стал щипать заскорузлыми пальцами жиденькую бороденку. В его поседевших нерасчесанных волосах рылся теплый ветерок.

Я снял ложкой с кипящего супа ржавую мясную накипь и подсел к старику.

– Медведь этот шатун был. Знаешь такого? – продолжал он начатый разговор.

– Знаю, да не все.

– Тогда слушай. Который медведь сала к зиме не припасет, больной или старый, он не ляжет в берлогу. Зимой туда-сюда шатается, пока не околеет. Его и называют «шатун». Понимаешь? Такой зверь шибко сердитый, оборони бог встретиться. Людей совсем не боится, олень ловит, собак ест, в чум лезет, дурной делается… Жили мы тут во время первых холодов[50], пушнину добывали. Как-то пришел я на табор рано, собаки убежали за сохатым. Старушка стала в чуме белок свежевать, а я раздул огонь под лиственницей – чаю захотелось. Дождался, когда вода закипела, снял котелок, к чуму идти повернулся, да вижу – большой медведь на пути стоит, откуда взялся – не знаю. Хотел я за дерево спрятаться, да не успел, догнал он меня. Я и плеснул ему в морду кипятком. Зверь заревел, придавил меня к земле, хрустнула кость, и больше ничего не помню… Проснулся, чума близко не видно, место вроде незнакомое, тело болит, парка в крови. Вижу – поволока по снегу, значит медведь меня сюда притащил, хотел спрятать. Пришла жена, говорит: «Убила амикана, он от кипятка ослеп, ходил по лесу, как

[50] Первый холод – в ноябре.

пьяный, на дерево, на пни натыкался… Худой зверь, говорит, шибко худой, мяса кушать не могу. Собаки тоже не ели… Настоящий шатун был…»

Над марью просвистел ястреб, отбросив в полете угловато согнутые крылья. Возле леса он вдруг взвился высоко свечой, и в его когтях я увидел серенький комочек – только что пойманную птицу. Холодный ветер всколыхнул стальную гладь болота. Пестрыми хлопьями копились в небе облака, и по долине лениво ползли их причудливые тени.

– Суп готов, – определил Улукиткан по запаху, – кушать надо да ходить будем. Ладно ли ты поведешь след?

– Расскажи, как идти.

– Тут тесок мой был: сохатого под перевалом тогда убил, метку на деревьях делал, старушка по ним мясо вывозила. Только редкие они, да и затянуло их теперь корой. Тебе не увидеть.

– Пойдем без затесов…

– Хорошо. Поставь меня на полдень и направь мою руку на вершину ключа… Правее видишь голую сопку?

– Вижу.

– Перевал под нею справа. Идти нужно ключом до первой разложины справа и по ней подниматься до сопки, а там хорошо увидишь проход.

– Неужели ты все это помнишь? – спросил я старика.

– Как не помнить, если тут был, – спокойно ответил он. – Говорю, человеку надо раз посмотреть – навсегда запомнит. Беспамятному тут все равно, что ночью.

Счастье наше, что у старика такая чудесная память, иначе я не представляю, что делал бы со слепым в этой глуши…

Мы пообедали. Солнце за полдень. Я пошел собирать оленей, а Улукиткан взялся мыть посуду. Это была его первая попытка найти себе дело – оно было ему крайне необходимо, чтобы облегчить существование в окружившей его темноте.

Караван медленно пробирался вдоль безымянного ключа на юг. Мы шли по мари, затянутой редколесьем. Низкорослые и горбатые деревья росли здесь клоками, местами образуя довольно широкие перелески. Какими жалкими кажутся эти деревья, вступившие в борьбу с заболоченной почвой! Вершины у них засохшие, стволы дупляные, растут деревца, склонившись набок и с трудом удерживаясь корнями в мягкой моховой подушке.

– Держи солнце в правом глазу! – кричит мне всякий раз Улукиткан, когда я сворачиваю с нужного направления, чтобы обойти препятствия.

Старик напряженно следит за мною, проверяя направление по солнцу, которое он ощущает на своем лице; местность же, по которой мы идем, он хорошо представляет по памяти.

С трудом пробираемся до первого распадка. Здесь я поправляю вьюки на оленях, выжимаю портянки и, не задерживаясь, веду караван дальше. Теперь наш след идет на запад.

Сразу с места начался подъем. На смену марям с гор спустились стланики. Под ногами – толстый слой зеленого мха, в котором тонешь до колен. Олени тоже идут тяжело. Из открытых ртов свисают влажные языки. От учащенного дыхания у животных раздуваются бока.

Улукиткан слез с седла, идет пешком, держась рукой за поводной ремень переднего оленя.

– Солнце не теряй, иди за ним, пока не выйдешь наверх, – напоминает слепой.

Но вот мхи остались позади. Мы вступили в молодой лиственничный лес, который прикрывает подгольцовую зону гор. Здесь, помимо стлаников, растет большими кустами ольховник. Почва каменистая, идти по ней легко…

Как только кончился подъем и мы оказались на верху отрога, старик не замедлил напомнить:

– Теперь опять держи солнце в правом глазу. Скоро должна быть та гора, что я показывал тебе с табора.

Действительно, когда через час мы вышли из леса, километрах в двух впереди я увидел затянутую россыпями сопку. Правый склон ее врезался глубоко в отрог, образуя широкую перевальную седловину, за которой виднелись далекие горы. Теперь сомнения, все еще терзавшие меня, казалось, окончательно исчезли, и я без колебаний доверил себя слепому проводнику.

Пробираясь косогорами к сопке, мы неожиданно натолкнулись на звериную тропу и по ней легко вышли на перевал. По моим расчетам, мы достигли водораздельной линии главного Джугдырского хребта, и я, конечно, не могу удержаться, чтобы не взглянуть на хребет, тем более что необходимо было разобраться в местности, по которой меня вел Улукиткан. Я оставил караван с ним на седловине, а сам поднялся на верх сопки.

Солнце клонилось к закату. Воздух был неподвижен, царила тишина. На юг и на север тянулась волнистая линия Джугдырского хребта. Ничего в этих горах не привлекало взора: все было серо и пустынно. Странным было бы услышать в этом мертвом покое крик птицы или увидеть зверя. Хребет, убегая далеко на юг, терял высоту и, расплываясь по широкому горизонту, исчезал в синеющей дали. Отсюда более отчетливо открывался бассейн реки Купури, через которую лежал наш путь. Непрерывные цепи гор в хаотическом беспорядке заполнили там видимое пространство. Место дикое, мрачное. Справа горбились заснеженные сопки. Под ними смутно чернели узкие входы в глубокие ущелья. А левее лежали руины развалившихся гребней, крепко заплетенные стлаником.

Я долго всматривался в незнакомые очертания гор, преградивших нам путь. Кажется, никогда не сгладятся в памяти мрачные хребты, застывшие грозными контурами у горизонта, пугающая чернота лесов, пасти провалов. Не забыть и раздумий над всем этим диким величием. Болезненной раной воскрес все тот же вопрос: куда идти? Даже опытному глазу трудно разобраться в этом сложном рельефе. Казалось невероятным, что слепой проводник сможет провести караван через этот лабиринт гор и сумеет обойти подстерегающие нас препятствия. «В горе нельзя терять голову», – вспомнилось мне, и я, отбросив сомнения, спустился с сопки.

– Хорошо ходил? – спросил Улукиткан, когда я подошел к каравану.

– Видел горы, тайгу, а где проход лежит, не мог определить. Как бы не сбиться нам с пути…

Слепой улыбнулся:

– Эко боишься! Старый люди не заблудятся. Лишь бы речку Купури перебрести, а потом ладно пойдем. Это время воды много в ней, где найдешь брод?.. – сказал он уже тревожно.

Звериная тропа ведет нас за перевал и там неожиданно теряется. По каменистому склону, прикрытому ржаво-красным мхом, спускаемся к ключу и по нему выбираемся в ущелье. Нас встречает холодная струя воздуха.

Оказывается, дно ущелья покрыто прозрачно-синеватой наледью. На поверхности толстого, пятиметрового льда торчат одни лишь вершины деревьев.

Как только мы вышли на лед, олени заупрямились, начали падать, путаться в ремнях, сбрасывать вьюки. Пришлось свернуть к берегу и пробираться чащей.

День кончался. Опустилось солнышко за черную полосу лиственничного леса. В ногах накопилась усталость. Глаза давно ищут место для ночевки, но старик настаивает на том, чтобы пройти наледь.

Олени едва плетутся. Впереди тяжело клубится дымчато-серый туман. Черными сугробами встают перед нами береговые кусты. На тайгу сошла тишина. Но вот справа прорвался шум реки. Мы сворачиваем на него и выходим на широкую поляну. Наледь осталась позади.

Ищем место для стоянки. Старик помогает мне развьючить оленей, разжечь костер. Ужинаем у огня. После утомительного перехода кружка горячего чаю кажется чудесным напит-

ком. Улукиткан устало жует лепешку, прикрыв сомкнутыми веками глаза. Сутулый, черно-пепельный, он кажется совсем стареньким, но таким близким мне – неотъемлемой частью моей жизни!

– Ты сразу спи, – говорит он. – Волку голод, а человеку сон дает силу. Смотри утро не прозевай. У меня остается совсем мало дней, идти надо скорее: чего доброго, пропаду до Джегормы – горя наберешься.

Голос Улукиткана звучит глухо, чуть слышно. Он зябко вздрагивает, накидывает на плечи дошку и снова отдается тяжелым думам. Он не видит звездного неба, склонившихся над ним деревьев, бивака, костра, для него все утонуло в непроницаемом мраке. Теперь только слух связывает старика с окружающим миром. Прошумит ли ветерок, пискнет ли пробудившаяся птица или булькнет вода, старик настораживается, на лице сейчас же появляется выражение пытливости, старания разгадать, что обозначает этот звук. Всякий раз, когда я задерживаю взгляд на старике, жгучая обида подступает к сердцу. Природа одинаково беспощадна ко всем, однако хочется, чтобы этому человеку, чья любовь к ней была превыше всего, она уготовила более легкий конец.

Над биваком сгустилась тьма. От оврагов несло заплесневелой сыростью отпотевшего льда, отогретым мхом и мокрой древесной корою. Улукиткан уснул раньше меня. По его спокойному дыханию и появившейся улыбке на суровом обветренном лице, да и по тому, как вольно лежит его уставшее маленькое тело на меховой подстилке, можно догадаться, что сон отвлек старика от мрачных дум.

Ночь, холодная, немая, промчалась незаметно.

– Вставай! Слышишь, вставай!.. Дятел долбит, скоро утро, – бормотал надо мной Улукиткан.

Я открыл глаза, поднялся и замер от удивления: на костре варился суп, на вертеле жарилось медвежье мясо; чашки, ложки, соль были разложены на брезенте и ждали нас. Старик дорезал лепешку. Меня осенила радостная мысль: проводник прозрел!.. Я вскочил, хотел было крикнуть от радости, но вовремя удержался. Ничего не изменилось. Слепой смотрел в сторону, не глядя на то, что делали руки. Я удивился: как мог он принести воду, найти дрова, развести костер, приготовить завтрак?

На земле лежал тонкий ременный маут. Им Улукиткан ловил непокорных оленей. Одним концом маут был соединен сейчас с длинной веревкой, привязанной к дереву близ костра. Мне стало все ясно. Слепой брал в руки второй конец маута и шел с ним к ключу за водой, собирал дрова и возвращался по веревке к стоянке. Таким образом он без посторонней помощи мог уходить метров на сорок от костра. Улукиткан понимал, что нельзя ему долго оставаться в бездействии, наедине со своими мрачными думами.

– Почему же ты не разбудил меня? Мне легче принести воды и приготовить завтрак.

– Тебе легче, это правда, но старику обязательно что-нибудь надо работай, чтобы смерть не застала без дела.

– Ты, видимо, опять не спал?

– Пошто не спал? Даже во сне видел день, солнце, тайгу, медведя большого стрелял, только сон обманул меня… – И его надтреснутый голос дрогнул. – Не надо мне спать.

– Не отчаивайся. Нам бы добраться до Джегормы, там вызовем доктора, он, может, вернет тебе зрение, и мы еще пойдем с тобою на Становой…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.